

Л. В. Архипова, А. И. Варшавская, О. В. Емельянова,
А. В. Зеленщиков, Н. О. Магнес, А. А. Масленникова,
А. Г. Минченков, Е. С. Петрова, В. Н. Пилатова,
И. В. Толочин, Е. Г. Хомякова

РИТОРИКА МОНОЛОГА

Под редакцией А. И. Варшавской



ХИМЕРА

**Санкт-Петербург
2002**

Авторы:

Зеленщиков А. В.	— гл. 1;
Варшавская А. И.	— гл. 2;
Хомякова Е. Г.	— гл. 3;
Магнес Н. О.	— гл. 4;
Минченков А. Г.	— гл. 5;
Архипова Л. В.	— гл. 6;
Емельянова О. В.	— гл. 7, 8;
Петрова Е. С., Пилатова В. Н.	— гл. 9;
Масленникова А. А.	— гл. 10;
Толочин И. В.	— гл. 11.

Редколлегия:

д.ф.н., проф. А. И. Варшавская (отв. редактор), д.ф.н., проф. А. В. Зеленщиков, к.ф.н., доц. Е. Г. Хомякова, к.ф.н., Л. В. Архипова (отв. секретарь).

Рецензенты:

д.ф.н., проф. О. И. Бродович (СПбГУ, кафедра английской филологии и перевода), к.ф.н., доц. О. В. Бокий (С.-Петербургский университет экономики и финансов).

Риторика монолога / Под ред. А. И. Варшавской. — СПб.: Химера трэйд, 2002. — 240 с.

Р55 Риторический подход к монологу предполагает описание данной формы дискурса, ориентированное на Человека Говорящего как автора речемысли (речи и мысли) с его интенцией прежде всего сказать что-то и воздействовать сказанным, высказаться, в его единственности и его смысловом единстве со словом и Другим. Монолог рассматривается в диалектическом отношении взаимовключенности с диалогом; анализируются языковые средства и категории, характерные для разных видов монологического дискурса.

Для филологов — научных работников, аспирантов и студентов старших курсов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов	4
Глава 1. Монолог о монологе	7
Глава 2. Говорящий как творец монолога	24
Глава 3. Риторика эгоцентрического пространства текста	48
Глава 4. Риторико-метатекстуальные особенности устного бытового повествования	75
Глава 5. Частицы как средство когезии монолога	93
Глава 6. Риторический аспект дискурсивного приема автоинтерпретации	109
Глава 7. Чужое слово во внешней речи	133
Глава 8. Чужое слово во внутренней речи	161
Глава 9. Риторика множественного отрицания	179
Глава 10. Соотношение монологической и диалогической составляющих текста	196
Глава 11. Монолог и речевая деятельность	212
Литература	223
Принятые сокращения	235

ОТ АВТОРОВ

Авторы монографии продолжают разрабатывать проблематику, заявленную в двух томах «Диалектики текста», в частности проблему коммуникативных отношений по оси автор–читатель как одной из координат метапространства описания текста (Диалектика текста, 1999, т. 1), но с бóльшим уклоном в сторону *автора* как творца слова и мысли, или речемысли, и как писателя–рассказчика на материале разных речевых жанров в контексте дискурс–повествование. В качестве исходной принимается трактовка монолога как предметно–направленного типа слова, как «выражение последней смысловой инстанции говорящего» (Бахтин, 1994: 92), а также то положение Ю. М. Лотмана, что риторика как наука в целом ориентирована на говорящего (Лотман, 1996). Внимание к монологической форме речепроизводства не является ее противопоставлением диалогу. Оно продиктовано стремлением вернуться к описанию и проанализировать с новых позиций одну из двух форм вербального общения, которая играет не менее важную роль в жизни, культуре и коммуникации человека в обществе и, вероятно, бóльшую в информационных процессах не только современного общества. Диалектический подход предполагает рассмотрение проблемы взаимосвязи монолога и диалога. В разных главах исследуются такие виды речи, как «диалогизированный монолог» или, напротив, «монологизированный диалог».

Риторика изучает говорящего человека как создателя не только речи, но и мысли. Ю. В. Рождественский так пишет о задачах риторики в период современного *информационного* общества: «Первая задача риторики состоит в умении быстро воспринимать речь во всех видах слова и извлекать нужные смыслы для принятия оперативных решений, не давая себя увлечь, сбить на деятельность, невыгодную себе и обществу. Вторая задача риторики есть умение изобретать мысли и действия и облекать их в такую речевую форму, которая отвечает обстоятельствам. Это значит уметь создавать монолог, вести диалог и управлять им, управлять системой речевых коммуникаций в пределах своей компетенции»

(Рождественский, 1997: 3). Как представляется, в приведенной цитате из работы Ю. В. Рождественского «Теория риторики» в краткой форме изложена программа широкого диапазона риторических исследований.

Поскольку риторика изучает говорящего человека не только как автора вербального оформления, но и как творца мысли, то в монографию включены главы или разделы, посвященные и словесной форме, или языковым средствам, и разделы, посвященные внутреннему монологу и знакотворчеству, проблеме понимания.

Построение монографии ориентировано в направлении от творца монолога, от явно монологических форм речи (главы 1, 2) к формам, постепенно подключающим диалогическую составляющую.

В первой главе автор считает, что даже диалог является формой монолога, который первичен, поскольку начальным этапом является соединение звука и мысли.

Во второй главе «Говорящий как творец монолога» показано, что многие языковые факты, в частности, большинство речеактовых глаголов, функций языка, многих грамматических явлений, речемыслительный акт знакоприсвоения, и даже составляющие «идеализированного» диалога ориентированы на говорящего, что и может служить основанием монологического речетворчества.

В главах «Чужое слово во внешней речи» и «Чужое слово во внутренней речи» рассматривается функционирование такой формы чужой речи и одновременно риторического приема, как повтор во внешней и внутренней речи соответственно. Основная масса повторов чужого слова во внешней речи представляет собой непосредственную и всегда экспрессивно окрашенную реакцию на высказывание собеседника. Воспроизводя инициальную реплику (или ее фрагмент), говорящий вкладывает в нее свою, новую интенцию, используя в иных по сравнению с исходным высказыванием коммуникативных целях: уяснения услышанного, выражения непонимания, несогласия и самых разных (главным образом отрицательных) эмоциональных реакций, вызванных такими параметрами воспроизводимой речи, как истинность, обоснованность, уместность, выбор слов и выражений.

Повтор чужого слова во внутренней речи — это чаще всего спонтанный мысленный (т. е. по каким-то причинам не произнесенный вслух) эмоциональный отклик, своеобразная переключка с внешними, произнесенными собеседником словами, наполненная, однако, как и во внешней речи, новыми, часто противоположными интенциями и получающая в мыслях персонажа особый, отличный от исходного акцент. Часто чужое слово дает тол-

чок более или менее развернутому внутреннему монологу, выступая в качестве его зачина. Дистанцированный повтор, отделенный от исходной ситуации некоторым текстовым пространством, характерен для ситуаций воспоминания.

В главе «Риторический аспект дискурсивного приема автоинтерпретации» на материале научного текста рассматриваются такие вопросы, как «человек, действующий словом» как предмет риторики, речь как способ самовыражения автора, способ упорядочения мыслей в монологе. По линии автор–читатель изучается убеждение как основная цель использования риторических приемов, в частности приема идентификации, а также риторическое изобретение мысли и автоинтерпретация как развитие мысли по «общим местам».

В других главах показаны текстообразующая, прагматическая и риторическая функции отдельных языковых фактов. В главе «Частица как средство когезии монолога» анализируется функционирование английских частиц. В главе «Риторика множественного отрицания» рассматриваются различные функции множественного отрицания в высказываниях одного лица, т. е. в контексте монологизированного диалога.

Автор последнего раздела рассматривает место монолога в речевой деятельности и соотношение монолога и диалога, и считает необходимым четкое разделение речевой деятельности на две сферы: сферу монолога, являющуюся способом осуществления самопознания, и сферу диалога, представляющую собой использование языка для сотрудничества индивидов в процессе воздействия на вещественную реальность.

ГЛАВА 1

МОНОЛОГ О МОНОЛОГЕ

Одним из вопросов, которым занималась и будет заниматься лингвистика (наряду с другими науками), является вопрос о соотношении знака, его «тела» (или физического, воспринимаемого слухом, или зрением, или осязанием) объекта, ставшего вдруг способным воплощать в себе или через себя некую идею или смысл, с самим смыслом или некой мыслью, местом бытия которой является на первый и непосредственный взгляд мое – говорящего и понимающего – сознание. По традиции, идущей еще от Аристотеля, наиболее общие определения естественного языка так или иначе опираются на факт существования теснейшей связи между звуком (словом) и мыслью. Так, Дж. Локк подчеркивал, что «существует постоянная связь между звуком и идеей, и звук предназначен обозначать идею» (Локк, 1985: 465), а А. А. Потебня полагал, что «понятие языка исчерпывается известного рода сочетанием членораздельного звука и мысли» (Потебня, 1910: 23). В современных теориях, по существу, та же идея содержится в представлениях о языке как знаковой системе. Н. Д. Арутюнова прямо указывает, что, «хотя язык конвенционален, а человек органичен, в саму природу человека внедрена возможность семиозиса, а в природу языка – органическое единство звука и смысла, в котором берет свое начало языковой знак» (Арутюнова, 2000: 8). Р. Лангейкр, сторонник когнитивной грамматики, также считает, что язык как символическое образование «предоставляет говорящему – для личного или коммуникативного использования – открытое множество лингвистических знаков или выражений, каждое из которых связывает некоторую семантическую репрезентацию с фонологической репрезентацией» (Langacker, 1987: 11). Н. Хомский при всей оригинальности его концепции убежден в том, что язык следует рассматривать

как «подсистему сознания/мозга», способную устанавливать определенное отношение между звуками, которые сами по себе не несут в себе никакого значения, и собственно значением, т. е. некими абстрактными ментальными репрезентациями, не зависящими от каких-либо физических форм. Задача лингвистики при этом состоит в том, чтобы установить характер отношения и связи между этими сущностями, принадлежащими другим – отличным от языковой – когнитивным системам, или, иначе говоря, описать языковой – вычислительный – механизм, отображающий звук в значение и наоборот (Chomsky, 1990).

Достаточно простая, опирающаяся на очевидность, мысль о том, что язык оперирует звуками, которые каким-то образом ассоциированы со смыслом, мыслью или «идеей», является, конечно, только констатацией некоторого эмпирического и всем известного факта, но никак не объяснением того, почему и как эта связь возникает, осуществляется и используется человеком. Впрочем, любой осознанно воспринимаемый звук так или иначе интерпретируется и обычно идентифицируется по его возможному источнику. Мы слышим скрип двери, лай собаки, грохот проходящего трамвая, шум ветра и т. п. В этом отношении звуки речи не отличаются от других естественных звуков, приходящих к нам из внешнего мира: любой звук должен получить свою интерпретацию в воспринимающем сознании. Отличительная особенность именно звуков речи состоит в том, что они «складываются» в систему, которая предназначена для целенаправленного использования как средство экспликации всевозможных смыслов. Поэтому, в частности, вопрос о связи звука и мысли оказывается частью более широкой проблемы, а именно проблемы отношений между мышлением и языком.

Проблема эта на протяжении веков интересовала ученых, и ее решение приводило к возникновению различных школ и направлений в науке. Пожалуй, единственным положением, которое принимается всеми исследователями и на основе которого, собственно, и ставится сама проблема, является положение о том, что мышление и язык каким-то сущностным образом связаны друг с другом. При этом, не ставя обычно под сомнение утверждение, что язык невозможен без мышления, лингвисты и философы основное внимание уделяют рассмотрению вопроса о зависимости или независимости мышления от языка и определению характера и природы мышления в его связи с языком.

На вопрос, возможно ли мышление без языка, можно дать два ответа – «да» или «нет». Но оба эти ответа, по-видимому, оказываются крайними точками зрения, которые, как обычно,

существенно упрощают суть дела. Сторонники отрицательного ответа на вопрос, утверждающие, что мышления без языка не существует, не могут дать приемлемого объяснения факту существования различных — образно-символических — типов мышления и связанных с ними явлений интуиции, озарения, мысли во сне, знания, превышающего опыт, и др. В свою очередь те, кто поддерживает тезис о независимости мышления от языка, вынуждены либо отрицать информационную природу перечисленных явлений, либо согласиться с тем, что язык они понимают только как словесно-знаковую систему, реализуемую в речи через высказывания.

Более конкретно этот вопрос можно сформулировать и так: либо мысль первична и определяет выбор слов, либо без слов никакая мысль не может быть даже помыслена, не то чтобы быть выраженной. Мысль выражается, объективируется в слове или же слово творит саму мысль? Мысль порождается в сознании индивидуума при посредстве слова, которое социально по своей природе, или же слово с его конвенциональным значением выбирается сознанием для «оформления», «упаковки» субъективной мысли? Предназначен ли язык для того, чтобы «делать известными для других невидимые идеи, из которых состоят мысли» (Локк, 1985: 461–462), или же «идеи», мысли создаются при использовании всем известных слов, т. е. имеет место ситуация, в которой возможен вопрос: «Откуда я знаю, что я думаю, если я этого еще не сказал?»

Принятие тезиса, что мысль выражается в слове, может означать, что слово является лишь меткой некоторой мысли, своего рода простым ярлыком, служащим для удобства обозначения или указания на присутствие в сознании определенного комплекса представлений. Так, например, Н. Г. Чернышевский не сомневался в том, что «теперь едва ли кто-нибудь из людей, пишущих о языке, не знает, что человек мыслит представлениями, что когда он мыслит посредством слов, он делает это по удобству заменять многосложное простым, но что под каждым словом, которое он мыслит, является в его мышлении представление, и слово лишь свидетельствует ему, что являющееся ему представление уж было подробно рассматриваемо им много раз и что теперь нет надобности тратить время на новое рассматривание этого представления, можно смело пользоваться им, как уж хорошо знакомым» (Чернышевский, 1951: 146). Первичность мысли относительно слова может также интерпретироваться как основание для утверждения существования «личного» языка. По крайней мере, именно так можно понять Дж. Локка, утверждав-

шего, что «то, знаками чего являются слова, — это идеи говорящего, и слова в качестве знаков никто не может употреблять непосредственно ни для чего, кроме как для своих собственных идей» (Локк, 1985: 462) и что «человек не может сделать свои слова знаками свойств в вещах или знаками таких понятий в уме другого, которых нет в его собственном уме. Пока человек не имеет некоторых собственных идей, он не может предполагать, что они соответствуют понятиям другого человека, и не может употреблять для последних никаких знаков, ибо такие знаки были бы знаками того, чего он не знает, т. е. фактически знаками ни для чего» (Там же: 462–463). Роль слова в такой концепции можно было бы сравнить с ролью имени файла в компьютере: выбрав имя, вполне произвольно данное пользователем какому-либо им созданному документу, на экране получим тот самый документ, содержание («идея») которого полностью зависит только от его автора. Возражения против описанной точки зрения найти довольно просто. Действительно, если слова есть знаки идей, принадлежащих только говорящему, то нет никаких гарантий того, что слушающий понимает то, что сообщает ему говорящий, — ведь у него нет доступа к «идеям» последнего. Но тогда невозможно достичь и той цели, которую перед языком ставит сам Локк — «делать известными для других невидимые идеи», и следовательно, нет никакой уверенности в том, что речевая коммуникация вообще может быть успешной. Как видно, подобные возражения связаны прежде всего с неспособностью критикуемой теории отразить тот всеми признаваемый факт, что использование языка, как правило, обеспечивает нормальное общение между людьми — мы обычно понимаем то, что говорят на нашем языке другие люди, и обычно знаем или «видим», что другие понимают нас. Поэтому защита тезиса «мысль выражается словом», органично связанного с представлением об индивидуальности, субъективности или, иначе, в широком смысле — о монологичности мысли, требует, чтобы была учтена коммуникативная функция языка. Если ограничиваться утверждением, что высказывание есть выражение мысли, причем мысли, содержание которой определено личным опытом говорящего, его намерениями и интенциями и отражает текущее состояние его сугубо индивидуального сознания, то утрачивается возможность говорить о столь важной характеристике высказывания, как его направленность на адресата — партнера автора высказывания по коммуникативному акту. Один из возможных способов теоретически сохранить высказывание как речевую единицу общения между людьми заключается в том, чтобы допустить, что значением слова

не может быть «идея» или ощущение, принадлежащее исключительно только одному говорящему субъекту. Л. Витгенштейн, настаивая на коммуникативной функции языка, полагал, что слово «боль» не означает той боли, о которой никто, кроме говорящего, ничего не знает, ибо все люди ощущают одно и то же и ведут себя подобным образом, когда ощущают одну и ту же боль. Ведь я обозначаю свои ощущения, «связывая слова, передающие мои ощущения, с естественными проявлениями этих ощущений», и «в таком случае мой язык не является «приватным». Другой может понять его так же, как я» (Витгенштейн, 1994: 174). Несколько иное решение проблемы состоит в том, чтобы, отвлекаясь от «естественных проявлений», принять наличие у собеседников общего знания языка, т. е. такого знания, которое позволяет адресату вывести содержание из произнесенного говорящим высказывания и дает говорящему надежду и уверенность в том, что адресат его понимает. Это знание, по-видимому, обеспечивает умение коммуникантов идентифицировать значения слов, устанавливать высказанную пропозицию, оценивать ее относительно текущего контекста произнесения высказывания и выводить имплицированный смысл, скрытый за произнесенными словами. Когда я, входя в учебную аудиторию, произношу: «Ваш преподаватель заболел», то в зависимости от контекста это высказывание будет интерпретироваться и пониматься по-разному. Так, если намеченную по расписанию лекцию должен читать не я, а другой человек, то студенты могли бы понять, что подобную или иную лекцию буду читать я, или ожидать с надеждой, что лекцию отменят вообще. Если же назначенную лекцию должен прочесть я, то мое высказывание останется непонятым, поскольку неясно, какого же преподавателя я действительно имею в виду. Из этого следует лишь то, что, ограничившись произнесением этой фразы, я был недостаточно эксплицитен в выражении своей интенции сообщить что-то студентам. Но это, в свою очередь, означает, что понимание высказывания зависит от совпадения содержания (смысла) моей интенции сказать что-либо с тем смыслом, который можно вывести из моих слов на основании знания языка и контекста. Иначе говоря, чтобы понимание состоялось и мое речевое действие оказалось успешным, необходимо в состав контекста включить и содержание моего интенционального состояния.

Так, по мнению Грайса, при нормальной коммуникации говорящий рассчитывает на то, что своим речевым действием, высказыванием Р, он вызовет у адресата осознание его — говорящего — интенции сказать, что Р (Grice, 1957). Например, исполь-

зую декларативное высказывание для выражения своего мнения, что Р, говорящий добивается того, что адресат полагает, что говорящий думает, что Р имеет место. Однако очевидно, что такая коммуникативная интенция еще не обеспечивает понимания адресатом собственно содержания сказанного. В самом деле, интенция говорящего использовать высказывание как означающее что-либо должна осознаваться в качестве таковой теми, кому это высказывание предъявляется для интерпретации, но не гарантирует адекватного результата этой интерпретации. Поэтому, с точки зрения Дж. Серля, более важным фактором, чем таким образом понимаемая коммуникативная интенция, оказывается стремление говорящего репрезентировать в речи свои внутренние психологические состояния (желания, мнения, убеждения, надежды и т. п.), которые являются проявлением общего фундаментального свойства ментальной и психологической организации человека — интенциональности.

Интенциональность определяется как «свойство многих ментальных состояний и событий, посредством которых они направляются на объекты и положения дел внешнего мира» (Searle, 1983: 1). В структуру интенционального состояния $S(p)$ входит психологический модус S , в котором заключено пропозициональное (репрезентативное) содержание p . Одной из основных функций психологического модуса интенционального состояния в теории Дж. Серля является детерминация «условий искренности» речевого акта, а содержание интенционального состояния репрезентирует некое положение дел, о котором идет речь в высказывании. Сам речевой акт обладает только «производной» интенциональностью в том смысле, что высказывание выражает некоторое интенциональное состояние, репрезентируя его в результате выполнения интенции выразить это состояние в словах. Иными словами, интенциональность реализуется на двух уровнях — на уровне психологического состояния, определяющего условия искренности высказывания, и на уровне интенции значения, который включает, в свою очередь, интенцию репрезентации и собственно коммуникативную интенцию. На первом уровне формируется психологическое состояние говорящего — убеждение, мнение, надежда, опасение и т. п. — как условие, определяющее искренность говорящего, выражающего в своем высказывании соответствующий смысл. Рассогласование состояния и выражаемого смысла фиксируется в известном парадоксе Мура, в соответствии с которым высказывания типа «Идет дождь, но я не верю, что идет дождь» являются очевидно некорректными. На втором уровне — уровне интенции значения — реализуется интенция говоря-

шего репрезентировать свое интенциональное состояние $S(p)$ в высказывании. Интенция репрезентации является интенцией, с которой, собственно, и совершается речевой акт, представляющий данное интенциональное состояние в высказывании с определенным иллокутивным — ассертивным, экспрессивным, декларативным и т. д. — статусом (силой). Так, в высказывании-утверждении выражается некоторое мнение (первый уровень реализации интенциональности) и совершается иллокутивный акт утверждения (второй уровень реализации интенционального состояния). Утверждение, как и другие речевые типы высказываний, служит для репрезентации интенционального состояния говорящего и поэтому должно обладать определенной иллокутивной силой, соответствующей психологическому модусу или условиям искренности интенционального состояния говорящего, и представлять его пропозициональное содержание. Таким образом, данное интенциональное состояние «переводится» в высказывание и составляет его, высказывания, содержание, состоящее в условиях его выполнимости (например, условия истинности для утвердительных высказываний), представленных с определенной иллокутивной силой, отражающей данное психологическое состояние говорящего. По мнению Дж. Серля, только в результате интенции репрезентации и, следовательно, в результате своего рода «дублирования» условий выполнимости интенционального состояния в высказывании речь как физический объект приобретает значение. «Ключ к проблеме значения состоит в том, чтобы увидеть, что при осуществлении речевого акта разум интенционально накладывает на физическое выражение ментального состояния те же условия выполнимости, которыми характеризуется само данное ментальное состояние» (Searle, 1983: 164). Двойная репрезентация условий выполнимости (в интенциональном — ментальном — состоянии и высказывании с определенной иллокутивной силой) оказывается, тем самым, основным требованием, выполнение которого необходимо для того, чтобы речевое высказывание обладало значением. Собственно коммуникативная интенция — стремление довести иллокутивный акт до адресата, оказав на него определенное воздействие, — составляет вторую и, очевидно, не основную часть интенции значения.

Как видно, и в теории Серля мысль, «идея», ментальное, интенциональное состояние, включающее содержание, отражающее некоторое положение дел, принимается заданным до формирования самого высказывания. Только через «отдельную» интенцию — интенцию репрезентации как части интенции значе-

ния – это содержание выводится вовне, объективируясь в форме высказывания. К тому же «человек говорящий» далеко не всегда бывает искренним или правдивым в своих высказываниях, и едва ли возможно представить в иллокутивном статусе высказывания все тончайшие оттенки психологического модуса ментального состояния говорящего, не говоря уже о том, что собственно содержание сказанного далеко не всегда совпадает с тем, что имел говорящий в виду.

Г. П. Грайс, расширяя свою собственную теорию значения, основанную на понятии коммуникативной интенции, предложил считать, что общение между людьми должно регулироваться неким Принципом Кооперации, охватывающим ряд постулатов, в соответствии с которыми и строится нормальный дискурс. Нарушения этих постулатов общения часто мотивируют адресата высказывания создавать свой смысл, выходящий за пределы сказанного говорящим и «объясняющий» причины таких нарушений. Предполагается, что этот смысл (имплицатура) и является тем основным смыслом, выражение которого было первичной целью говорящего (Грайс, 1985). Хотя это элегантно (пусть и частичное) решение проблемы возникновения имплицитного смысла действительно может в ряде случаев считаться вполне адекватным, сам Грайс не мог не согласиться с тем, что в каждой конкретной ситуации можно предположить, по крайней мере, несколько подобного рода имплицатур: «...конкретных предположений такого рода может быть много, и их список будет представлять собой дизъюнкцию таких предположений; и если список открыт, то понятие коммуникативного имплицата получает как раз ту степень неопределенности, какой многие реальные имплицаты, по-видимому, обладают на самом деле» (Там же: 287).

Как видно, включение интенциональности в контекст высказывания и определение Принципа Кооперации, в идеале регулирующего ход нормального общения, не дают полной гарантии совпадения смысла, который говорящий вкладывает в свое высказывание, и смысла, который может быть выведен адресатом на основе общего знания языка и интерпретации текущего контекста. Если контекст содержит то, что «имеет в виду» говорящий, то для полной картины он, видимо, должен также включать в себя и то, что «имеет в виду» адресат. Можно даже сказать, что контекст, по сути, есть вся та совокупность условий, которая формирует точку зрения или установку интерпретирующего субъекта, с позиций которой и осуществляется определение смысла сказанного. Но адекватное понимание этих условий может быть результатом ментальных «усилий» обоих коммуникан-

тов, каждый из которых в принципе обладает лишь только своим собственным видением ситуации общения, и, следовательно, определенность в детерминации содержания высказывания теоретически в принципе не может быть достигнута. Неопределенность (или, точнее, недоопределенность) смысла может быть установлена в результате оценки коммуникативной ситуации внешним наблюдателем (каковым может стать и любой из непосредственных участников общения) и является следствием того, что формирование высказывания в текущем контексте неизбежно сопряжено с ограничением личного смысла, с оставлением некоторой его части (сколь угодно неопределенной самой по себе) «за кадром» используемого предложения, с одной стороны, и с процессом образования *другого* смысла как результата интерпретации¹ и понимания всех компонентов контекста — с другой. Еще А. А. Потебня подчеркивал, что «чтобы думать, нужно создать (а так как всякое создание есть собственное преобразование, то преобразовывать) содержание своей мысли, и таким образом при понимании мысль говорящего не передается, но слушающий, понимая, создает свою мысль. Думать при произнесении известного слова то же самое, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою; поэтому понимание в смысле тождества мысли говорящего и слушающего есть иллюзия, в которой действительным оказывается только некоторое сходство, аналогичность между ними, объясняемые сходством других сторон человеческой природы» (Потебня, 1910: 32).

Тезису «мысль выражается в слове», который до сих пор принимается многими, уже давно противопоставлен иной тезис, согласно которому слово является инструментом образования мысли. Очевидно, это положение соответствует представлению, что мышление без языка не существует, что язык определяет все мои мыслительные процессы, которые, по существу, являются *рече-мыслительными* процессами, управляемыми категориями моего языка, данного мне тем обществом, в котором я появился и живу. Здесь можно в этом положении обнаружить, по крайней мере, три аспекта. Во-первых, тот звуковой язык, который я освоил (не ясно пока, каким именно образом) в первые годы своей жизни, использовался другими до меня и будет использоваться другими и после меня. Я не являюсь его собственником и не могу, подобно Шалтаю-Болтаю, считать, что я его хозяин.

¹ Можно напомнить, что в герменевтике интерпретация представляет собой взаимодействие между «горизонтом» (значением), задаваемым текстом, и «горизонтом», который привносит сам интерпретатор.

Я его принял от других и в том виде, в котором он мне был дан. Постепенно с годами его формы и значения входили в мое сознание, определяя характеристики той языковой картины мира, которая присуща всему моему социуму, пользующемуся этим языком. Язык, таким образом, опосредуя отношение человека и общества к окружающему миру, сам по себе обладает определенным мировоззрением, по-своему «видит» мир и вынуждает всех, кто им пользуется, строить свое представление о действительности в соответствии с его формами и категориями. В свое время В. фон Гумбольдт, для которого язык порожден силой человеческого духа и является в своей внутренней форме отражением духовного своеобразия народа, считал, что «каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступишь в другой круг» (Гумбольдт, 1984: 81). Это положение стало, в частности, основой разработки теории лингвистической относительности, авторы которой, Э. Сепир и Б. Уорф, на материале языков американских индейцев показали их своеобразие и отличие от европейских языков, отличие не столько в фонетической или даже в синтаксической системе, сколько в наборе, составе и содержании тех категорий, которыми обладают и пользуются эти языки для организации внешнего и внутреннего опыта своих носителей. Язык, таким образом, способен изначально придавать форму моему мышлению и, соответственно, моему поведению, вынуждая меня смотреть и «видеть» (интерпретировать) мир через свои «очки». Он управляет становлением логики мыслительных процессов, определяет формы культуры данного общества и на основе своих норм строит тот «реальный» мир, каким его представляют люди, говорящие на этом языке. По существу, он неизбежно оказывается силой, задающей как форму всех человеческих мыслей, чувств и желаний, так и структуру деятельности всех институтов общества.

М. Хайдеггер, также опираясь на концепцию В. фон Гумбольдта и расширяя ее, иначе определяет существо языка. Он оставляет в стороне такие общие представления, как деятельность, энергия, работа, духовная сила, мировоззрение, которые были ведущими понятиями в теории Гумбольдта, но развивает положение последнего о том, что существо языка заключено в речи. С его точки зрения, если «с-казать — значит показать, об-явить, дать видеть, слышать» (Хайдеггер, 1993: 265), то существо языка есть в целом «сказ», который в свою очередь есть указание, выявляющее бытие указываемой вещи, который выбирает ее из смысловой пустоты и наделяет содержательной осоз-

нанностью. Говоря словами Хайдеггера, «Сказ, который, показывая, дает сущему явиться в свое *это есть*», «вводит присутствующее в его присутствие», поскольку «сказ и бытие, слово и вещь неким прикровенным, едва продуманным и неизмыслимым образом взаимно принадлежат друг другу» (Там же: 312).

Философская герменевтика, рассматривая отношения языка и мира, полагает, что «не только мир является миром лишь постольку, поскольку он получает языковое выражение, — но подлинное бытие языка в том только и состоит, что в нем выражается мир» (Гадамер, 1988: 513). Отношение человека к «окружающему миру» (Umwelt), общему для всех живущих существ, характеризуется как раз тем, что благодаря языку человек обретает свободу от этого окружающего его мира и отделяет от него то, что может стать содержанием высказывания. Мир человека, то, что мыслится в качестве сущего, становится таковым, лишь получая в высказывании, в слове языковое выражение. «В языковом оформлении человеческого опыта мира происходит не измерение или учет наличествующего, но обретает голос само сущее в том виде, в каком оно в качестве сущего и значимого являет себя человеку» (Там же: 527). Все это является, конечно, развитием идеи В. фон Гумбольдта, что язык есть способ видения мира, но важно подчеркнуть собственно герменевтический аспект проблемы, состоящий в том, что мир этот возникает и раскрывается только в процессе «языкового взаимопонимания». Если вспомнить, что в процессе интерпретации и понимания неизбежен герменевтический круг, суть которого заключается во взаимной обусловленности нашего знания и нашего понимания, то следует сказать, что понимание языка невозможно без знания мира, но и понимание мира невозможно без знания языка. Мы понимаем предложения языка потому, что мы понимаем мир, в котором мы живем, но и мир мы понимаем потому, что понимаем наш язык. Но и язык и мир мы постигаем через деятельность и общение с другими, через достижение взаимопонимания с окружающими нас людьми, и только мир, выражающийся в языке, и язык, формирующий мир, когда слово и вещь «взаимно принадлежат друг другу», делают это возможным.

Здесь открывается другой аспект положения, в соответствии с которым слово создает мысль. Если слово должно быть понято, то, следовательно, «слово ориентировано на собеседника, ориентировано на то, *кто* этот собеседник» (Бахтин, 1993: 93). То, что фундаментальным принципом речи, высказывания, дискурса (текста) является развернуто изученная М. М. Бахтиным диалогичность, сейчас, по-видимому, признается практически все-

ми исследователями. Действительно, нельзя не согласиться с тем, что язык выполняет коммуникативную функцию, обеспечивая взаимопонимание людей и тем самым свое собственное существование. Не подлежит сомнению и социальная природа человека, его обусловленность культурой, идеологией и в целом атмосферой окружающей его общественной жизни. Поэтому и слово, высказывание в этом контексте представляется «двусторонним актом», осуществление которого определяется как говорящим, так и адресатом. Как знак высказывание получает свою определенность и значимость исключительно в пределах существующих в данный момент социальных отношений; оно оказывается отражением условий, заданных способом жизни коллектива, к которому принадлежат участники общения. Даже структура высказывания всецело и «изнутри» определяется «ближайшей социальной ситуацией и более широкой социальной средой» (Там же: 94). Более того, полагают, что «структура высказывания и самого выражаемого переживания – социальная структура» (Там же: 103), поскольку «ведь нет переживания вне языкового воплощения. Не переживание организует выражение, а наоборот, выражение организует переживание, впервые дает ему форму и определенность» (Там же: 93). Если под «переживанием» понимать то, что говорящий стремится представить в своем высказывании, то оказывается, что без формальной определенности в слове, без ориентации на другого, оно, это «переживание», является, по существу, ничем, пустотой, лишенной всякого содержания и смысла. Но в этом случае и сознание в целом, частью которого является конкретное переживание, становится сугубо социальным, диалогическим явлением. Как утверждает М. М. Бахтин, «мышление вне установки на возможное выражение и, следовательно, вне социальной ориентированности этого выражения и самого мышления – не существует» (Там же: 98). Иначе говоря, коммуникативная установка рассматривается не столько как цель, обуславливающая технику речи, сколько как внутренний конститутивный признак самого мышления, как фундаментальная составляющая сознания вообще. Высказывание организуется, таким образом, не во внутреннем мире говорящего индивидуума, но в процессе социального взаимодействия, в диалоге, в конкретной ситуации общения, которая в свою очередь является проявлением сложившихся на данный момент условий существования всего социума, говорящего на данном языке. Любое высказывание (слово, текст) является социальным, диалогическим событием, которое обретает свое значение, значимость и смысл только в «идеологическом» пространстве, создаваемом, по меньшей мере, двумя

лицами-собеседниками. Если диалогичное по своей природе высказывание направлено на другого, то и понимание оказывается диалогичным, так как «понимание противостоит высказыванию как реплика противостоит реплике в диалоге» (Там же: 113).

Значение слова есть общее достояние членов социума в том смысле, что оно опосредует отношения между ними. Оно конвенционально и, входя в систему языковых значений, получает свою определенность через свое отличие от других значений в языке. По мнению Ф. де Соссюра, языковые знаки диакритичны по своей сути, и любой знак выражает что-либо только потому, что существует на фоне других знаков и лишь через свое отношение к ним. Говорящий человек, используя язык, использует слова и выражения, данные ему другими, и в тех значениях, которые обусловлены как собственно системой языка, так и нормами и правилами употребления языковых знаков, принятыми в данном языковом коллективе. В конечном счете язык в целом как посредник между говорящими способен выполнять эту определяющую его функцию, поскольку составляющие его знаки и значения являются в принципе известными, общими, себе тождественными (хотя и исторически изменчивыми) формами из-явления смысла. А смысл, как уже было сказано, возникает вместе с высказыванием и, следовательно, не монологичен, ибо рождается как результат социально детерминированного взаимодействия двух (нескольких) сознаний, двух голосов в диалоге. Как только язык начинает применяться, на конвенциональность его знаков накладываются сильные ограничения: язык, давая возможность выразить бесконечно много мыслимых содержаний, не может выполнять эту роль без интерпретаций, осуществляемых как говорящим, так и слушающим. Слово в речи обладает значением, которое не может быть полностью тождественным его значению, определенному и закрепленному в системе языка. Смысл слова в речи каждый раз оказывается новым, произведенным интерпретационной деятельностью обоих коммуникантов в их диалоге.

Положение «мысль порождается словом» имеет еще один, третий, аспект рассмотрения. Это положение может иметь основания считаться справедливым не только потому, что видение языка есть наше видение мира, и не только потому, что высказывание и язык в целом — явление социальное. Важно еще показать, каким же образом слово создает мысль в моем, индивидуальном (или, скажем, взятом отдельно от других), сознании. Ясно, что этот вопрос имеет непосредственное отношение к проблеме внутренней речи.

Л. С. Выготский полагал, что в филогенезе мышления и речи отчетливо вырисовывается доречевая фаза в развитии интеллекта и доинтеллектуальная фаза в развитии речи. Только в возрасте примерно около двух лет, т. е. в том возрасте, который Ж. Пиаже обозначил как начало следующей за сенсомоторным интеллектом стадии дооперационного мышления, в отношениях между мышлением и речью наступает критический переломный момент: речь начинает становиться интеллектуализированной, а мышление — речевым. Признаками наступления этого перелома в развитии обеих функций являются быстрое и активное расширение ребенком своего словарного запаса и столь же быстрое, скачкообразное увеличение коммуникативного словаря. Ребенок впервые открывает для себя символическую функцию речи и обнаруживает понимание того, что в слове скрыто обобщение, и начинает одним и тем же словом называть разные предметы. Решая какие-либо задачи, он начинает рассуждать вслух, используя речь уже не только как средство общения, но и мышления. Процесс усвоения значений слов как обобщений, так же как и процесс обретения умения использовать их в своей речи, продолжается вплоть до подросткового возраста. Как подчеркивает Л. С. Выготский, «внешняя сторона речи развивается у ребенка от слова к сцеплению двух или трех слов, затем к простой фразе и к сцеплению фраз, еще позже — к сложным предложениям и к связанной, состоящей из развернутого ряда предложений речи. Ребенок, таким образом, идет в овладении физической стороной речи от частей к целому. Но известно также, что по своему значению первое слово ребенка есть целая фраза — односложное предложение. В развитии семантической стороны речи ребенок начинает с целого, с предложения, и только позже переходит к овладению частными смысловыми единицами, значениями отдельных слов, расчлняя свою слитную, выраженную в однословном предложении мысль на ряд отдельных, связанных между собой словесных значений» (Выготский, 1996: 306-307). Более того, ссылаясь на Ж. Пиаже, Л. С. Выготский отмечает, что ребенок раньше овладевает структурой придаточных предложений с союзами «потому что», «несмотря на» и др., чем теми смысловыми структурами, которые этим предложениям соответствуют. «Грамматика в развитии ребенка идет впереди его логики» (Там же: 308). Если развитие смысловой и звуковой сторон речи идет, как видно, в противоположных направлениях, то, по Выготскому, из этого следует, что речь не может рассматриваться как простое выражение некой уже готовой мысли. Напротив, «мысль не выражается, но совершается в слове» (Там же: 308). Однако правиль-

ное понимание природы отношения мысли к слову, с его точки зрения, невозможно без понимания сущности и структуры внутренней речи как особого вида речевой деятельности.

Определяя внешнюю речь как «речь для других», как «процесс превращения мысли в слова, ее материализация и объективация», Л. С. Выготский рассматривал речь внутреннюю как «речь для себя», «процесс, идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль» (Там же: 317). И, что особенно важно, постепенное развитие внутренней речи как «постепенная индивидуализация, возникающая на основе внутренней социальности ребенка» оказывается главным направлением детского становления, превращения ребенка во взрослого человека (Там же: 320). Речь, становясь внутренней, «испаряясь в мысль», приобретает свои особые функции и соответственно особые формы. Основной особенностью ее синтаксиса является ее принципиальная предикативность, проявляющаяся в ее отрывочности, сокращенности, фрагментарности и бессвязности, поскольку внутренняя речь, как говорит Л. С. Выготский, «есть в значительной мере мышление чистыми значениями» (Там же: 354) и играет роль своего рода внутреннего, мысленного черновика как для письменной, так и для устной внешней речи. Именно во внутренней речи смысл как динамическое образование, как изменчивая совокупность моих представлений, ассоциаций и психологического состояния по поводу того, о чем я собираюсь что-либо сказать, превосходит константное языковое значение слова. Мысль поэтому всегда оказывается существенно более содержательной, чем значение отдельного слова. Она не представляет собой собрание или сумму слов. Более того, можно сказать, что мысль, как и внутренняя речь, монологична в том смысле, что только я знаю, о чем я думаю, только мне доступна работа моего сознания, вырабатывающего мысль. И только я, зная, что я сам хочу *из-явить* в своем высказывании, могу создать из имеющегося у меня арсенала значений такую комбинацию, которая удовлетворительным для меня (и, разумеется, для моего адресата, как я его понимаю) образом воплотила бы в себе результат моих поисков формы моего смысла. Этот монологический процесс из-явления мысли в своей своеобразной манере описывает Л. Витгенштейн: «Как я нахожу “правильное” слово? Как я выбираю его среди других слов? Иногда это может происходить так, словно я сравниваю тончайшие оттенки запахов: *это* чересчур и *это* тоже слишком — а *вот* то, что нужно. — Но при этом не всегда нужно выносить оценки, объяснять. Нередко можно лишь сказать: “Это просто еще не подходит”. Я неудовлетворен и продолжаю поиск. Наконец ко мне

приходит то самое слово: “*Вот оно!*”» *Иногда* я могу сказать почему. Просто поиск здесь выглядит вот так, находка – так» (Витгенштейн, 1994: 306). Этот процесс нужен мне не только для того, чтобы передать мою мысль другому, но и для меня самого, чтобы снять сомнения в том, что эта мысль и есть то, что скрыто в моем желании мысли. Мысль опосредуется значениями, и явление мысли во внутренней речи и в самом внешнем высказывании становится самой мыслью. Однако совершение мысли в слове вовсе не отменяет или уничтожает положение, что мысль индивидуальна, монологична. Может быть, напротив, сам процесс построения мысли, поиск и выбор (нередко нелегкий) нужного значения и «затем» подходящего, правильного слова – все это еще раз показывает, что высказывание, даже мотивированное извне, в диалоге является собственным «творением» говорящего.

Впрочем, собственно мысль, как в заключении своего исследования замечает Л. С. Выготский, «еще не последняя инстанция во всем этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции» (Выготский, 1996: 357). Можно даже полагать, что моя сигнификативная интенция – интенция мысли – есть некое «пустое желание», ничем как будто не наполненное, но именно в этом смысловом вакууме и содержится то принципиально невыразимое, и потому неуловимое ни для адресата, ни для ученого-лингвиста, содержание, тотальность которого и составляет бесконечность еще не реализованных возможностей порождения смысла, того единственного и неповторимого смысла, ради выражения которого я и прилагаю столько усилий. В этом, по-видимому, и состоит подлинная монологичность порождения мысли. Ведь опыт моего сознания заключается в его непосредственном, интуитивно-личностном переживании и созерцании, в осознании того, «что и прежде, хотя и не будучи схвачен в восприятии, всегда уже существовал, *заранее был дан себе*, как предмет первоначального созерцания (в широком смысле этого слова)» (Гуссерль, 1998: 201). Этот опыт не может быть во всей его полноте представлен в речевом высказывании, поскольку при подобной экспликации он оказывается во внешней для себя сфере, обусловленной множеством социально-языковых факторов. «Его судьба – просвечивать сквозь артикулированные мысли (именно потому подобные слова-мысли всегда имеют символическую природу), которые появились благодаря смыслопорождающей способности опыта сознания.

В принципе, такой опыт и составляет подлинную уникальность человека, которая как раз поэтому обладает свойством некоммуникабельности» (Дорофеев, 1997: 157–158). Если слово, высказывание социально и диалогично, то мысль как поступок, как процесс осознания моей мысли индивидуальна, монологична. Поэтому монолог можно представить как процесс смыслопорождения или, иначе говоря, как процесс диалогизации смысла.

Одно замечание в заключение раздела. Вероятно, можно сказать, что, несмотря на название раздела, все здесь написанное является, в сущности, диалогом, ибо и использованные цитаты, и вся идея раздела свидетельствуют как раз о том, что автор, используя и свою и чужую речь, отвечает на поставленный кем-то (в частности, и им самим) вопрос. Я не спорю. Хочу только сказать, что этот «диалог» есть форма того моего смысла, который я, надеюсь, сумел в этой форме представить, хотя и не уверен, что эта форма оказалась именно той формой, которая наилучшим образом явила то, в чем заключалась моя мысль.

ГЛАВА 2

ГОВОРЯЩИЙ КАК ТВОРЕЦ МОНОЛОГА

В данной главе отношения между говорящим, его вербальной и знаковой деятельностью и фактами языка рассматриваются как возможные предпосылки монологического речетворчества.

1. Монолог на фоне диалога. Две формы речетворчества — монолог и диалог — взаимно предполагают друг друга. Однако традиционно в лингвистике они исследуются отдельно или недифференцированно. После повышенного внимания к диалогическому слову во второй половине прошлого века, что связано в первую очередь с именем М. М. Бахтина, а также с разработкой проблематики и теории речевых актов, проблем коммуникации и др., кажется интересной задача посмотреть с позиции того, что наработано в области исследования диалога, на природу, особенности, свойства монологической формы речи. Говорить о монологическом, также как и о диалогическом начале, можно применительно не только к слову, тексту, высказыванию как единицам лингвистического описания, но и в общем культурно-философском плане применительно к Слову, Тексту или Слову-Тексту, Тексту-Слову как явлениям культуры, духовной и интеллектуальной жизни человека и знаковой деятельности в целом.

С точки зрения традиционной риторики монологическая речь — деятельность говорящего, ратора (оратора), и она должна быть обращена к аудитории или слушателю, поскольку главной функцией риторики считается функция убеждения, а убедить можно лишь кого-то. Это один вид монолога — и, вероятно, наиболее широко представленный и понятный. К этому типу монолога относится, в частности, научная проза. С точки зрения современной риторики, риторики как общефилологической дисциплины, можно говорить, по крайней мере, еще о двух видах монолога: монологе, обращенном к самому себе, в котором принято усматривать черты диалогизма, и монологе, обращенном «в никуда» или «ни к кому», который можно считать способом самовыраже-

ния. (Литературные примеры монолога, а также произведений оперного и инструментального искусства достаточно хорошо известны, и, вероятно, нет необходимости приводить их здесь.)

Обратимся к первому виду монологической речи, имея в виду то, что мы смотрим на него со стороны говорящего – творца речи и субъекта языка, используя это как своего рода риторический прием. Поскольку монолог и диалог – две формы единого речетворческого процесса, то охарактеризовать монолог можно через его отношение к диалогу. По поводу взаимоотношения монолога и диалога Ю. В. Рождественский пишет следующее: «Развитие теории монолога – достояние, оставшееся в наследие от греко-римской античности. Хотя теоретически обосновать структуру монолога вне структуры диалога нельзя, античные авторы сумели разработать теорию монолога на примерах лучшего гражданского и судебного красноречия» (Рождественский, 1999: 121). Можно сказать, что: 1) монолог противопоставляется диалогу; 2) диалектически связан с диалогом: может быть частью диалога, реализоваться в условиях диалога; 3) может объединять, сводить воедино диалогический дискурс; 4) может быть диалогизован, 5) монологическое в некоторых проявлениях равно индивидуальному, субъективному и как бы не предназначено для общения с другими, но может быть охарактеризовано и через коллективное начало.

В оппозиции, точнее в соотносительной паре, монолог : диалог монолог является немаркированным членом, и, согласно закону универсалий, по объему он должен в монологическом пространстве занимать большую часть, чем диалог.

Для более полной характеристики монолога можно, хотя бы условно, попытаться провести некоторую границу между монологом и диалогом, посмотреть, можно ли определить, где кончается одна форма речи и начинается другая. Для этого можно ввести схему идеализированного (прототипического) диалога. Отступление от этой схемы должно будет означать ступени перехода к монологу. Так, идеализированная схема диалога должна удовлетворять следующим условиям: 1) предполагается, что в диалоге принимают участие два или более лица; 2) один – в роли говорящего, пишущего (адресанта), другой (другие) – в роли слушающего, читающего (адресата); 3) должны быть общая тема и цель разговора; 4) сказанное адресантом должно быть обязательно понято адресатом и 5) должно быть понято так, как этого хотел адресант; 6) адресат принимает роль говорящего и 7) должен ответить на то, что им понято; 8) первый адресант должен понять ответ и 9) принять или не принять ответ; 10) в случае принятия

диалог на заданную тему прекращается договоренностью – единством мнения в достижении цели. В случае непринятия диалог потенциально может продолжаться. Очевидно, что реальный диалог предполагает, что у собеседников при наличии общей темы могут быть разные мнения или хотя бы частичное несходство мнений, понимания обсуждаемой темы. Кроме того, важен целый ряд других условий, сформулированных и описанных в основополагающих работах, посвященных принципам и постулатам речевого общения Г. П. Грайса (Грайс, 1985) и Дж. Лича (Leech, 1983), и целом ряде исследований, посвященных отдельным частным вопросам диалогического общения. Можно отметить в отечественной лингвистике исследования Тверской (Калининской) школы. В свете принятого в данной монографии риторического подхода к описанию монолога определенные требования, предъявляемые к участникам диалога, например принцип вежливости Лича, принцип релевантности Грайса и др., естественно, могут быть предъявлены и к творцу монолога, говорящему, ответственному за свой речевой поступок, как адресанту, так и адресату. Одним из наиболее важных условий диалогического общения является наличие у собеседников общего фонда знаний. Как пишет Ортега-и-Гассет, чтобы беседа состоялась, у собеседников должен совпадать фонд базовых понятий, на основе и в рамках которых они «живут, движутся и существуют». Философ считает также, что механизм беседы может состояться только на фоне того, что умалчивается, и что сказанное теряет всякий смысл, если отсутствует то, что умалчивается. А умалчиваются понятия, которые глубоко и активно действуют в нашем сознании и «имеют настолько элементарный базовый характер, что мы даже не отдаем себе отчета в том, что они есть» (Ортега-и-Гассет, 1997: 56). Однако в схеме идеализированного диалога эти важные характеристики можно опустить, поскольку они определяют указанное (пункт 3) требование единства темы. Кроме того, в свете принятого в работе подхода к описанию монолога, а именно в свете его ориентированности на творца речи, ответственного за свой речевой поступок, оппозиция адресант : адресат должна быть представлена более конкретно через их функциональные составляющие, а именно через их реверсивную схему: адресант (= говорящий / понимающий / молчащий / слушающий) : адресат (= слушающий / молчащий / понимающий / говорящий). Если нарушается одно из принятых 10 условий, то имеет место отклонение от диалога в сторону монолога, псевдомонолога, псевдиалога, или диалогизованного монолога. Что касается реверсивной схемы идеализированного диалога, следует отметить, что функциональ-

ные составляющие его участников неравноправны. Так, если говорящий может быть (даже обязан быть) одновременно и понимающим, он не может быть при этом молчащим или даже слушающим, хотя практически, вероятно, можно одновременно говорить и слушать. Можно одновременно слушать, молчать, понимать; одновременно молчать и понимать. Следует отметить, что молчание не есть безучастность в диалоге. Приведем слова Хайдеггера, сказанные им о говорении и молчании: «Сказать и говорить – не одно и то же. Человек может говорить; говорит без конца, но так ничего и не сказал. Другой, наоборот, молчит, он не говорит, но именно тем, что не говорит, может сказать многое» (Хайдеггер, 1993: 265). Конечно, молчание, как и слушание (вслушивание), имеет философский смысл. А. Н. Портнов пишет, что «молчание и вслушивание понимаются Хайдеггером не только как особые формы речевой деятельности (*Modus des Redens*), но и как вполне самостоятельные формы или состояния субъективности» (Портнов, 1994: 133). В этом суждении для нас важны два момента: во-первых, то, что молчание включено в обычную языковую деятельность, и во-вторых, то, что это форма или состояние субъективности. Последнее положение позволяет отнести соответствующие функциональные составляющие к характеристикам «монологического» творца речи. Как отдельная составляющая выделяется в схеме «понимающий», которая в успешном диалоге и содержательном монологе, т. е. в нормальной языковой деятельности, «сопровождает» другие составляющие.

2. Говорящий и факты языка. Обратимся теперь к языковым фактам, свидетельствующим о том, что человек обычно говорит о монологе и диалоге, о говорящем и слушающем (адресате) не только в специальном научном контексте, но и в повседневном общении. В лексической системе английского языка, вероятно и других языков, имеется ряд существительных и глаголов, которые обозначают ситуацию вербального общения. Прежде всего, сами существительные *dialogue* и *monologue* (поскольку монолог может быть частью диалога); затем такие существительные, как *colloquy*, *conversation*, *interlocution*, *interview*, *chat*, *conference*, *discussion*, *parley* etc. В их семантике не содержится указания на различие ролей участников беседы. Но есть также существительные, обозначающие участника вербального общения: *interlocuter*, *converser*, *interviewer*, которые пресуппозитивно указывают на то, что есть и другой участник в ситуации общения, но лишь последнее, *interviewer*, указывает на функцию «спрашивающий»-

адресант и пресуппозитивно на адресата. Однако имеются существительные, обозначающие речевую ситуацию, в которой обязательным является лишь говорящий-адресант, а вторая сторона, адресат (участник или аудитория), предполагается, но в реальной ситуации может отсутствовать: *speech, address* (речь, письменное обращение), *oration*. Большую группу составляют существительные-имена говорящего-создателя речи как такового, или говорящего-адресанта. В основном это существительные, образованные от глаголов речевой деятельности и, в частности, от речеактовых глаголов. Поскольку число речевых действий достаточно велико (и классификация их по предложенному критерию может быть предметом специального исследования), приведем лишь наиболее простые и, вероятно, наиболее частотные слова. Для краткости рассмотрим параллельно глаголы и соответствующие существительные, если таковые имеются: *to say – saye*?, *to speak – speaker, to talk – talker* (He is a good/great talker), *to tell – teller* (story-teller), *to utter – utterer*. В ситуации непосредственного вербального общения, в диалоге, второй коммуникант-адресат производит определенные речевые действия-реплики на обращенную к нему речь. Эти действия обозначаются глаголами-конверсивами, указывающими пресуппозитивно на речевые действия адресанта: *to ask, to inquire, to answer, to reply, to respond*. Конверсная пара английских существительных, озаглавливающих категориальную ситуацию вербального общения, хорошо известна: *speaker – hearer*. Заметим, что конверсивы – существительное *hearer*, а также *listener*, глаголы *to hear, to listen* – не указывают на вербальную реакцию и в строгом смысле на говорящего как творца речи. Существительные, обозначающие адресата – *answerer, replier*, как и существительное *saye*, даются только в больших толковых словарях и без толкования их значений (в отличие от *teller*). В заданной выше схеме идеализированного диалога они соответствуют, прежде всего, а иногда только, первой функциональной составляющей адресата – «слушающий». Отметим, что в исследованиях проблем коммуникации и вербального общения используются термины, которые ориентированы на понятия участников коммуникации без уточнения ее вербального характера, например, продуцент : реципиент, указывающие скорее на направление определенных действий, не обязательно речевых, в отличие от таких пар, как адресант : адресат или автор : читатель, указывающих прямо на вербальный, устный или письменный, способ коммуникации. Нет необходимости говорить о том, что введение новых и разнообразных терминов, что часто используется как риторический прием, не

всегда способствует прояснению рассматриваемой проблемы или четкости изложения, удачный же термин помогает вскрыть суть проблемы. Это как раз один из тех риторических приемов научного речетворчества, за который творец термина несет ответственность перед научной общественностью. Возвращаясь к глаголам, обозначающим речевые действия, точнее речевые акты, отметим, что из всех глаголов, приведенных в работе Дж. Остина (приблизительно 180 единиц) лишь о 12 глаголах можно с большей или меньшей долей определенности, учитывая варианты их значений, сказать, что они выражают действие, направленное от адресата: to answer, to rejoin, to deny, to accept, to withdraw, to agree, to object, to adhere, to correct, to interpret, to revise, to demur to (Остин, 1986: 120–128). Однако среди интерактивных РА, которые выделяет А. Г. Поспелова и которые характеризуют каждый РА наряду с его иллокутивной силой, можно указать три интерактивных акта, которые имеют направление от адресанта (информирование, запрос, побуждение), и четыре акта с направлением от адресата (комментарий, восприятие, ответ, реакция на побуждение). Следует отметить, что комментарий имеет двойственный ретроактивный характер, т. е. сам говорящий может возвращаться к своей реплике и комментировать ее (Поспелова, 1992: 74–75). Таким образом, можно сказать, что те лексические единицы, которые обозначают речевые действия и творца речедействия, содержат в структуре своего значения указание главным образом на адресанта и реже на адресата, т. е. интенционально и интенсинально в их семантике скорее указывается говорящий безотносительно к его роли адресанта или адресата. Естественно, это truизм, что и те и другие указывают на говорящего (*homo loquens*), субъекта, творца речи, и в обоих случаях речь может иметь как монологическую, так и диалогическую форму, монолога в диалоге или диалогизованного монолога. Однако не truизм, а важное свойство языка, и в частности рассматриваемых языковых единиц, — указывать прежде всего на говорящего-адресанта. Это, как представляется, может служить свидетельством и того, что для слова важно в первую очередь быть сказанным, что в свою очередь может быть скорее основанием для монологической речи. Если вновь обратиться к речевым актам, то нельзя не заметить, что первой начальной составляющей каждого РА является локутивный акт, «что грубо соответствует произнесению определенного предложения с определенным смыслом и референцией» (Остин, 1986: 92) — намерению что-то сказать. В семантическом словаре А. Вежбицкой (Wierzbicka, 1987), который, по нашему мнению, может служить если и не-

беспорным, то весьма авторитетным источником языкового материала, анализируется 37 групп речеактовых глаголов, включающих 230 единиц в перечне групп, плюс варианты отдельных глаголов в тексте словаря, всего 270 единиц, согласно указателю в конце словаря. Глагол *to say* задается как элементарный, он не определяется и входит наряду с другими элементарными компонентами в толкование семантической структуры (в семантическую формулу) всех рассматриваемых автором глаголов. Предварительный выборочный анализ 37 групп показывает, что направленными от адресата можно считать действия, выраженные глаголами группы 35 (The ANSWER GROUP) – глаголы *to answer*, *to reply*. Их значение также эксплицируется через глагол *say* в семантическом компоненте формулы I say: X, который соответствует ответу адресата и который в иерархической структуре значения следует после нескольких предваряющих компонентов. Первый компонент сформулирован так: I know you said something to me (Ibid.: 371). Также группа 7 (The ARGUE GROUP) – глаголы *to argue*, *to disagree*, *to refute*, *to dispute*, *to contradict*, *to counter*, *to deny* (сказанное), *to recant* (отказаться от высказанного мнения), *to retort*, *to quarrel* (в значении «опровергать», «оспаривать»). Можно отметить некоторые глаголы из других групп, например глаголы *to consent*, *to accept*, *to agree* из группы 6 (The PERMIT GROUP), которые содержат в семантике компонент «сказанное». Всего 13 глаголов. Мы не утверждаем, что это полный список глаголов, обозначающих ответное (на «сказанное») речевое действие. Вероятно, для каждого речевого действия, даже являющегося непосредственно реакцией на невербальное действие, можно установить цепочку действий, ситуаций, в которых это невербальное действие было когда-то словесно обозначено.

Глаголы нескольких групп выражают явную направленность речевого акта на адресата со стороны адресанта, что указывает на их место в диалогическом дискурсе. Это группы: 1 (The ORDER GROUP), 2 (The ASK GROUP), 8 (The REPRIMAND GROUP), 18 (The THANK GROUP), 19 (The FORGIVE GROUP) (Ibid.: 34–35). Всего приблизительно 50 единиц и плюс отдельные глаголы из некоторых других групп, семантическая структура которых эксплицирована в цитируемом словаре. В семантической структуре некоторых глаголов разных групп содержится компонент с указанием неопределенного адресата (someone), на аудиторию (people, them) или на факт (something happened). Так, например, признать (*to acknowledge*) можно факт ошибки, получения письма, при этом говорящий более заинтересован в при-

знании факта, чем в адресате (Ibid.: 315). Указание на неопределенного адресата (someone, people) или аудиторию содержится в семантической структуре глаголов группы 25 (The TELL GROUP): to narrate, to recount, to report, to relate, to describe, to lecture и др. (Ibid.: 286–301). Как пишет А. Вежбицкая, глагол to narrate предполагает аудиторию или потенциально заинтересованную аудиторию (Ibid.: 294), т. е. не обязательно конкретное лицо-адресата. В целом все глаголы этой группы в большей или меньшей степени ориентированы на то, что сказать, а не кому сказать. Вероятно, такие глаголы скорее, хотя не обязательно, будут оформлять монологическую речь. Добавим, что обращение даже к конкретному адресату не означает обязательного ответного речевого действия. Так, на совет или приглашение можно ответить действием, даже не выразив согласия кивком головы. Тот факт, что произнесенное слово может остаться без ответа, закреплен в пословицах: «Собака лает – ветер носит»; «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Известно, что в пословицах находит отражение вековая народная мудрость. Они состоят из предложений-суждений, построенных из слов с обобщенным категориальным значением. Они не принадлежат отдельному говорящему-автору, находятся в общем пользовании, «деавторизованы». Человек, произнесший пословицу, говорит как бы не только от своего имени, но и от имени некоего «коллективного» автора. Вероятно, это наиболее яркий вид деавторизованной, «отчужденной», словесности, используемой в повседневном общении. (Наиболее популярные сказки в современном обществе, как правило, принадлежат авторам.) Человек выступает в них и в роли говорящего, и в роли слушающего. Безусловно, все сказанное здесь о первичности локутивного акта не отрицает того, что каждое слово стремится быть услышанным, «взыскует ответа» (Бахтин). Мы хотим лишь подчеркнуть – чтобы быть услышанным, слово должно быть сказанным. А слово может сказать многое. Даже тот факт, что оно приходит к говорящему нагруженным связями и коннотациями, свидетельствующими о его бесчисленном (уже состоявшемся и еще возможном) употреблении, не лишает его монологического начала, а возможно, наоборот, говорит о его самодостаточности, поскольку оно несет сведения о многочисленных ассоциирующихся с ним ситуациях. Вряд ли можно сказать об этом лучше, чем Х. Л. Борхес. Считаем возможным привести здесь хотя бы не полностью его суждение, учитывая философскую нагруженность его слов: «“Что за изречение, – вопрошал я себя, – может содержать в себе абсолютную истину?” И пришел к выводу, что даже в человеческих

наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю вселенную целиком; сказать “тигр” – значит вспомнить о тиграх, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшем на свет землю. И я осознал, что на божьем языке эту бесконечную переключку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно, и не поочередно, а разом» (Борхес, 1994: 214). Кроме того, слово не всегда предназначается для того, чтобы быть услышанным другим. Как уже отмечалось выше, оно может служить лишь средством самовыражения, хотя следует заметить, что в стремлении к «чистому» самовыражению есть доля, и часто большая, лукавства, что-то от риторического приема. Но об этом стремлении к самовыражению безотносительно к аудитории можно довольно часто слышать от представителей разного вида искусства, что можно считать свидетельством в пользу третьего типа монолога – речи, направленной «в никуда». При этом не следует забывать как начальное слово, так и ответное могут быть в форме монолога и в форме диалогических реплик. Как показывает краткий анализ глаголов речевых действий (и некоторых существительных), в их семантике содержится указание на то, что говорящий знает, что кому сказать, что кому и как сказать, зачем сказать, – это уже риторика речевого поведения и риторика мотивов речевых действий. В семантике некоторых глаголов содержится указание на цель речевого действия и характер речевой ситуации, описываемой соответствующим речеактовым глаголом. Так, например, глаголы *to chat*, *to gossip* группы 37 (The TALK GROUP), как пишет А. Вежбицкая, в отличие от глаголов группы 36 (The DISCUSS GROUP), с которыми у них есть и общие семантические черты, обозначают довольно бесцельную и праздную деятельность, и если у этой деятельности есть цель, то это собственное удовольствие; это способ приятно провести время (Ibid.: 125). Нельзя, как нам кажется, не согласиться с А. Вежбицкой в том, что «основной функцией речеактовых глаголов является интерпретация речевых актов, совершаемых людьми, а не совершение речевых актов» (Ibid.: 16). А интерпретация речеактовых глаголов свидетельствует о том, что риторическое начало заложено в самих языковых единицах, на что указывает их семантика, и связано, в первую очередь, с говорящим-каузатором речевой ситуации. Нельзя также не заметить, что в семантике глагола *to gossip* (сплетничать, судачить) содержится и риторический компонент убеждения, направленного на участника «беседы», выполняющего в какой-то момент роль слушающего: вероятно, не имеет смысла обсуждать кого-то, не пытаясь убедить

собеседника в своем мнении. О различии в тактике осуществления речевых действий (с нашей точки зрения, их риторике) А. Вежбицкая говорит при обсуждении семантических особенностей, например, глаголов *to beg* и *to implore*. В отличие от *implore*, действие *beg* предполагает уничижение со стороны говорящего-адресанта, лесть, заискивание перед адресатом. Очевидно, что такое отношение требует определенных риторических приемов. Убеждение, вероятно, всегда требует определенных стратегий и тактик: говорящий может взывать к совести или чувствам адресата, к чувству долга перед страной, людьми, родительского долга и др. Он может говорить «многие вещи» (*many things*), приводить различные причины, уверяя адресата при этом в своем бескорыстии, незаинтересованности в том, что он просит его (их) сделать, и эти моменты находят отражение в толковании семантики глагола *to persuade* – убеждать (*Ibid.*: 62), глагола, который обозначает, что очевидно, не только речевой акт, но и основную функцию риторики – убеждения (англ. *persuasive function*). Кроме того, семантика глаголов речевой деятельности с полной очевидностью указывает на «природу адресованности» (*addressed nature*) риторики (*Burke, 1969: 38*), через компонент адресата (*you, people* и др.) в структуре значений речеактовых глаголов, согласно их описанию А. Вежбицкой.

Следует отметить, что все сказанное выше о семантике лексических единиц и свидетельствах ее связи с риторической функцией и ориентацией вербального общения, как можно предположить, согласуется и с другим положением К. Берка. Рассматривая проблему отношения риторики и примитивной магии (*primitive magic*), он пишет: «Риторика как таковая не уходит своими корнями в какие-либо прошлые состояния человеческого общества. Ее корни лежат в главной функции самого языка, функции, которая всецело реалистична и которая непрерывно возобновляется, – использовании языка как символического средства для установления сотрудничества между существами (*inducing cooperation in beings*), которые в силу своей природы реагируют (*respond*) на символы» (*Burke, 1969: 43*). К этому положению Берка мы вернемся ниже. Напомним, однако, что адресованность речи не исключает того, что слово в первую очередь должно быть сказано.

Известно, что свидетельства о присутствии творца речи (*homo loquens*), говорящего, имеются не только в лексической, но и в грамматической системе языка. Говорящий и слушающий (как первые функциональные составляющие оппозиции адресант : адресат в заданной выше схеме диалога) отражены в системе грамматического дейксиса, в противопоставлении личных (и соотно-

сительных с ними притяжательных и возвратных) местоимений; говорящий — в указательных местоимениях, в единицах вторичного дейксиса, в шифтерных категориях времени и наклонения, в категории модальности. В синтаксической структуре предложения говорящий — адресант и адресат — выступает в роли субъекта соответствующего речевого действия — сказать/ответить — и в роли подлежащего предложения. При некоторых глаголах речи адресат выступает в функции косвенного дополнения (They told me / said to me) или подлежащего при пассивной форме глагола (I was told). (Однако это не специфический способ маркировки исключительно адресата речевого действия.) О говорящем свидетельствуют все виды Я-предложений (экспрессивных высказываний): I am cold; оценочные Я-предложения, перформативные высказывания. Как считает И. Бехерт, такой ряд грамматических категорий языков номинативного строя, как «одушевленная именная группа — подлежащее — агент (как семантический актант) — определенная / обобщенная (родовая) именная группа — тема — динамический глагол — настоящее время — несовершенный вид», согласно принципу «избирательного сродства», указывает на свойства говорящего (Бехерт, 1982: 420–421). Особую роль в указании на говорящего выполняет глагол to say. Как известно, он вводит прямую речь, организует (как и другие глаголы, обслуживающие логос — мыслительно-языковую деятельность) синтаксические структуры с that и с wh-clauses, структуры с неопределенным или неопределенно-личным субъектом-говорящим They say..., It is said... Здесь важно подчеркнуть то, что глагол указывает не только на категорию говорящего, но, возможно, в большей степени на категорию «сказанного», хотя отделить говорящего от сказанного трудно, т. к. они взаимно определяют друг друга: все сказанное сказано кем-то. Этот факт важен в плане лингвистических исследований, поскольку лингвист, как правило, имеет дело со сказанным, переведенным в письменную знаковую форму, в текст, масштабность чего оценить и переоценить вряд ли возможно.

Безусловно, свидетельством того, что говорящий выполняет функцию инициатора, создателя речевой ситуации, служит его роль как автора текста любого жанра, и особенно стиль, те языковые средства, в которых автор проявляется как языковая личность. Существует достаточно обширная литература о говорящем как языковой личности, но нас здесь, как мы пытались показать, интересует лишь языковой, не личностный, аспект говорящего автора. Следует признать, что арсенал языковых средств, используемых автором, достаточно велик. Если расширить его,

добавляя все новые языковые явления, что возможно в силу системной взаимосвязи языковых элементов, то можно прийти к тому, с чего, хотя и негласно, мы начали: язык — определяющая черта человека, человек является субъектом речевой деятельности, языка в целом. Круг замыкается. Такой порочный круг — характерная черта, по крайней мере, лингвистических описаний, что можно объяснить той же системной взаимосвязью, взаимообусловленностью языковых явлений. То, что такой круг не всегда эксплицитно очерчивается или признается — эвристическая уловка, риторика научного описания и характеристика автора описания.

Указание на говорящего как инициатора речевого общения можно усмотреть в системе общих функций языка. Возьмем три функции, которые выделяет К. Бюлер, — экспрессию, апелляцию, репрезентацию. Только одна функция — апелляция (обращение) — содержит указание на функцию говорящего как адресата и, более того, на коммуникативную функцию языка как лишь на одну из трех. В связи с этим уместно привести здесь мнение Э. Сепира, высказанное им по поводу преувеличения коммуникативной функции языка. В качестве аргументов в поддержку своего мнения Э. Сепир приводит аутическую детскую речь и наличие ситуаций общения без явных речевых действий (*overt speech*). Основными функциями языка Сепир считает, кроме коммуникативной, символическую функцию в сфере мышления и экспрессивную (*expression-выражения*) (Sapir, 1966: 15). Кроме того, Сепир говорит о функциях языка, которые он называет производными от основных; это функции идентификации, т. е. связи человека со средой, социальной или «психологической», культурной группой, и функция накопления, хранения и передачи культурного наследия (*Ibid.*: 16–19).

3. Виды монологического речетворчества. Вероятно, здесь (в нашем монологе о монологе) нет необходимости перечислять все жанровые типы монолога. Виды словесности, тяготеющие, по нашему мнению, к монологическому речетворчеству, даны в работах по риторике (Рождественский, 1999; Зарецкая, 1999). Остановимся лишь на некоторых чертах научного письменного текста, характеризующих его с риторической точки зрения. Вероятно, нельзя отрицать, что мы имеем дело здесь с монологом. О монологическом характере речедеятельности свидетельствуют такие языковые элементы, как *mono*, *solo*, *uni*, *auto* (*author*). Напомним, что мы говорим о монологе в его отношении к диалогу в ситуациях обычного вербального поведения человека в при-

сутствии или при отсутствии других людей. Нельзя отрицать также, что автор научного труда рассчитывает на контакт (диалог) с читателем, с аудиторией, с коллегами. В таких случаях, естественно, проявляются некоторые психологические особенности человека, его склонность в первую очередь к монологической форме речетворчества. Если автор написал за свою, пусть даже не очень короткую, научную жизнь более 1000 работ или десятков значительных книг (а художник, например, 6000 картин, поэт – тысячи стихотворений или песен), то можно предположить, что он творец монолога, даже если в процессе создания работ он (она) много общался с коллегами и рассчитывал на контакт с аудиторией. Однако в ходе научного творчества, дискурсивного упорядочения содержания и его языкового оформления автор общается, как считается, прежде всего с самим собой. Такой вид общения не исключает свойства речи «быть адресованной», о чем говорит К. Берк: «But a modern post-Christian rhetoric must concern itself with the thought that, under the heading of appeal to audience, would also be included any ideas or images privately addressed to the individual self for moralistic or incantatory purposes. For you become your own audience, in some respect a very lax one, in some respect very exacting, when you become involved in psychologically stylistic subterfuges for presenting your own case to yourself in sympathetic terms» (Burke, 1969: 38–39). Представляется, однако, что диалог с собой и тем более с другими через письменную речь можно рассматривать в таких, а также и других ситуациях как средство, но не форму речетворчества, как способ проверить научное качество своих работ, как риторический ход доказать или подтвердить их научную ценность. Очень характерный риторический прием, который используется практически всеми авторами научных работ любого жанра, хотя и в разных вариантах, – это прием идентификации, отождествления себя (автора) с другими через цитацию, упоминание и т. п. Для разных авторов эти другие тоже бывают разными: для одних классики, греческие философы, только известные ученые (в лингвистической сфере – лингвисты), для иных – просто иностранный автор. Еще один риторический прием, достаточно часто используемый, во всяком случае в лингвистических работах, – это отсылка к неавторизованному безличному мнению, формулируемому таким образом: «Считается, что», «Существует мнение» и др. И далее автор развивает свою мысль в соответствии с предложенным мнением или приводит аргументы против него. Данный прием не следует отождествлять с отсылкой к общепринятому мнению или общеизвестным фактам, сколь бы относительной их общеизвестность

ни казалась. Как считает Л. Витгенштейн, есть знания, в которых мы совершенно не сомневаемся, независимо от того, как мы их получили: из собственного опыта или из сказанного кем-то, на чье мнение мы полностью полагаемся (Витгенштейн, 1994: 325 и др.). Так, вероятно, в пределах разумного никто не будет сомневаться в достоверности утверждения Э. Сепира, что все известные сообщества людей обладают даром речи и хорошо сложенным языком (Sapir, 1966: 3). Отметим, что в научном обиходе прием идентификации оформился и закрепился как общее место при написании диссертационных работ в виде рубрики «актуальность», где согласно требованию автор обязан идентифицировать себя как принадлежащего к соответствующему направлению научных исследований (например, риторике). Важным моментом и, вероятно, также общим местом в условиях современной научной парадигмы является идентификация с междисциплинарными направлениями исследований.

Указанные способы идентификации связаны с организацией тематического плана текста. Другой путь идентификации идет по оси автор—читатель, заключается в идентификации автора с читателем и связан с проблемой понимания текста читателем, с целью и желанием автора убедить читателя в правоте своих взглядов, научной ценности работы и, возможно, заинтересовать его. Арсенал средств, используемых автором, достаточно велик. Это и способы дискурсивной организации и оформления содержания, и стилистические приемы, особое использование отдельных языковых единиц, слов, предложений, через которые и реализуется основная риторическая функция речи, в частности научной, — убеждения (Варгина, 1995). Для этой цели автор использует дискурсивные приемы экземплификации, уточнения, сравнения, пояснения, переформулировки и др. (Следует напомнить, что все дискурсивные, стилистические приемы, риторические уловки используются автором и для собственного удовольствия и самовыражения.) Одним из наиболее интересных моментов идентификации автора с читателем является его идентификация с тезаурусом, фондом знаний читателя, благодаря чему автор и может рассчитывать на понимание читателем своих идей, результатов научной работы и их признание. В таких случаях часто говорят о диалоге автора с читателем. Однако диалог имеет место лишь в том случае, если автор учитывает то, что у читателя может быть свое мнение по рассматриваемому им вопросу или «предмнение», «ожидания в направлении того или иного смысла» (Гадамер, 1991: 75 и др.). Но в качестве наиболее явной диалогической составляющей, в качестве ответа на все

авторские приемы и стремление убедить, можно считать лишь читательское признание (своего рода перлокутивный эффект), на которое автор и рассчитывает. Хотя о собственно диалоге можно говорить, вероятно, только тогда, когда такое признание выливается в форму открытой научной дискуссии и предпочтительно не очень острой критики.

Известно, что прием идентификации наиболее ярко проявляется в ораторской политической речи, особенно во время избирательных кампаний, когда претендент на то или иное место во властных структурах идентифицирует (отождествляет) свои интересы с интересами избирателей. Найти примеры политической идентификации, вероятно, не составит труда в цитированной выше работе Берка (Burke, 1969: 55-65). Берк говорит об идентификации политических взглядов, интересов не только отдельных лиц, но и партий, общественных политических движений. Речь здесь идет о риторике не просто слова, а о риторике мотивов и в конечном счете о риторике поступка. Естественно, что идентификация может использоваться и используется в диалогическом общении, например как риторический прием самооценки по принципу, формулируемому как «принадлежать» (англ.: to belong) к определенной социальной группе или классу людей. Причем такой прием может использоваться для повышения общественного престижа даже идентификацией представителями «высших» слоев общества с «низшими». Так, Дж. Купер, британская журналистка и писательница, в своей книге о классовой системе (точнее, системе классов) Великобритании пишет, что в 70-е годы прошлого XX века в Англии в среде аристократов (upper class) и средних классов (middle classes) наблюдалась тенденция «быть демократичным», проявлять интерес к рабочему классу (working classes), и считалось хорошим тоном вести себя как простые люди (Cooper, 1999: 39, 92). Монологический вид речетворчества можно довольно часто наблюдать и в повседневной жизни людей разных социальных и профессиональных групп, что связано и объясняется нормами психологического порядка. Хорошо известно, что среди людей есть разговорчивые и молчуны, что с возрастом человек становится разговорчивее. (Выше была отмечена аутистическая речь детей.) Такие люди склонны к монологическому виду речетворчества, даже молчуны или слушающие. Оксюморон «монологический молчун» отражает реальную ситуацию мысле-речетворчества, поскольку молчащий может думать «о своем» (риторический логос предполагает не только речедействие в буквальном смысле, но и мыслетворчество) и фактически не быть участником диалога. В этом случае мы имеем дело с явным отступлением от схемы идеализированного

диалога в сторону монолога, как и в случае, когда разговор монополизирует «монологическая» личность. Можно считать, вероятно, что молчание является участием в диалоге, если собеседник «умеет слушать», проявляя заинтересованность в услышанном хотя бы кивком головы, взглядом. Наверное, каждый был свидетелем или даже участником, адресатом или даже адресантом «монологического общения» в ситуации, когда незнакомый человек незнакомому попутчику стремился высказать свое самое наболевшее, поведать о своих житейских проблемах, не ожидая ответной реакции в какой-либо форме. Можно заметить, что умение слушать и слышать собеседника – важная составляющая нормального успешного диалога. Нарушение условий нормального успешного, даже не идеализированного, диалога имеет место и тогда, когда формально каждый из участников, двух или более, говорит, но каждый говорит о своем. Так, вероятно, нельзя считать диалогом тот вид беседы, когда мы не слушаем собеседника и в ответ на каждое его высказывание стремимся сказать что-то свое, показать, как мы сами остроумны или умны, что мы уже знаем то, что он хочет сказать, отвечаем своей шуткой на его шутку и т. п.

Приведем пример такого диалога из романа австралийской писательницы Н. Като «Все реки текут» (*All Rivers Run*). Поясним, что героиня книги и ее семья живут на небольшом судне, курсирующем по рекам Австралии, и время от времени она с дочерью Мег уезжает в город. Приводимый отрывок показателен тем, что автор сама комментирует характер разговоров между женой и мужем: «But by January she and Meg were free to go; ...Brenton made no objection. He was so absorbed with running the steamer again himself that he scarcely seemed to notice them. When Delie tried to tell him about the house... and her painting class, he let run on without interruption but without once replying or asking a question. Their conversations were quite unconnected; as soon as she stopped speaking he would revert to some problem of his own, saying: “I wonder how long this water’ll last? I’d like to go another run up to Rufus before low river. It’s the snow-water coming down, and when that passes I’m afraid she’ll drop to blazes.” Delie: “You won’t mind if Meg and I stay down at the lake till the end of the holiday?” Brenton: “We’re putting away a steady hundred a week at present clear profit. It can’t last, and that’s why I want to keep going... long as I can.” Delie: “We’ll get the train at Morgan tomorrow then”» (Cato, 543). Достаточно обычной формой общения является «диалогизованный» монолог. Здесь мы приведем пример из пьесы Б. Шоу «Пигмалион»:

Higgins: Why have you begun going on like that? May I ask whether you complain of your treatment here?

Liza: No.

Higgins: Has anybody behaved badly to you? Colonel Pickering?

Liza: No.

Higgins: I presume you don't pretend I have treated you badly.

Liza: No.

В данном диалоге, как пишет А. Г. Поспелова, из работы которой мы заимствовали пример, все реплики профессора Хиггинса, следующие за первой, носят вспомогательный характер, так как фактически конкретизируют первую. Они объединены единой темой и перлокутивной целью. «Тактика выяснения не меняется под влиянием ответов второго коммуниканта» (Поспелова, 2001: 19–20). Для нас важен здесь не только сам пример исследователя, занимающегося (занимающейся) целенаправленно диалогичностью вербального общения, но и ее комментарий, указывающий на монологичность диалога. Диалог здесь – средство, форма, но не цель общения, почему мы и рассматриваем его как вид «диалогизованного» монолога. В художественной литературе такой прием диалогизации авторского монолога используется достаточно часто. Ярким примером может служить рассказ О. Генри об актуальном для нашего времени предмете – менеджменте – «On Behalf of the Management». Если считать, что автор и повествователь – один говорящий, то в рассказе представлен монолог в виде «диалога» пяти лиц, участников, говорящих: автора, героя-рассказчика, Салли Магуна, который рассказывает о знакомом менеджере, мужчине (последнее важно с точки зрения Магуна) Денвере Галлоуэе, и двух лиц, с которыми менеджер Галлоуэй ведет дела, а рассказчик, С. Магун, приводит их «диалоги», что называется *verbatim*. На протяжении всего рассказа Магуна автор лишь вводит рассказчика и произносит одну короткую реплику в конце рассказа, предваряющую итоговую реплику рассказчика о судьбе менеджера. В результате мы, читатели, имеем дело с авторским рассказом – монологом о двух героях.

О диалогизованном монологе, как нам кажется, можно говорить в тех случаях, когда реализуется так называемая фатическая функция языка. К. Берк считает, что понятие фатического общения – *phatic communion* – ввел антрополог Б. Малиновский для обозначения разговора ради разговора, а не ради того чтобы

сказать что-то. Со ссылкой на автора истории риторики и поэтики Ч. С. Болдуина (Charles Sears Baldwin) К. Берк замечает, что, кажется, бывало такое, когда люди говорили с тем большим удовольствием, чем меньше им было что сказать (there seem to be times when, the less men had to say, the greater was delight in the saying) (Burke, 1966: 295). О таком виде разговора в связи с социализирующей функцией языка писал Э. Сепир (Sapir, 1966: 17). Незнакомые или малознакомые друг другу люди, собравшиеся вместе по какому-либо поводу или случайно, разговаривают, не заботясь о теме, о согласии, чтобы избавиться от неловкости молчания (почему-то молчать в обществе не принято) или чтобы скоротать время. (Смотри выше трактовку семантики глаголов to chat, to gossip у А. Вежбицкой.)

4. Монологизм акта знакоприсвоения (означивания). Известно, что человек постоянно, ежедневно, ежечасно совершает акты знакоприсвоения, т. е. понимает, «интерпретирует» артефакты, природные объекты, природные явления, бытовые и политические ситуации и положения дел, поступки и поведение человека в частной и общественной жизни и т. п. как знаки чего-то другого, а не того, что эти объекты обычно, изначально представляют собой. Это не означает, что окружающий нас мир полностью «состоит» только из знаков. Вещи, артефакты, явления природы остаются такими, какими они есть или какими их обычно видят, воспринимают и используют люди. Однако время от времени, а с нашей точки зрения довольно часто, чаще, чем мы замечаем, они значат для нас что-то еще. Возможно, это то, что осталось нам в наследство от нашего далекого прошлого. Возможно, верным является допущение Э. Сепира, высказанное им об истоках языка. Не считая убедительными некоторые ранние теории происхождения языка (теорию выкриков и подражания), Сепир пишет, что истоки речи, вероятно, коренятся в способности высших обезьян решать некоторые из своих задач, извлекая из деталей конкретной ситуации общие формы или схемы; привычка первобытного человека принимать определенные части в ситуации как знаки желаемого целого могла привести к неясному ощущению символического (Sapir, 1966: 14). И совершенно определенно, как нам кажется, способность к означиванию (интерпретировать что-то как знак чего-то другого) принадлежит ментальной деятельности, которую К. Леви-Строс называет «неприрученной мыслью» (Леви-Строс, 1994). В предисловии к книге Леви-Строса «Первобытное мышление» А. Б. Островский так определяет «неприрученную мысль», или дикую

мысль: «Понятие “неприрученная мысль” означает совокупность характеристик мыслительной деятельности, изначально (точнее, со времени неолита) присущих ей, что сохранилось более явно в менталитете традиционных обществ и присутствует также в ткани нашего мышления, сосуществуя с формами научной мысли» (Там же: 9). К. Леви-Строс сравнивает способность, пронизательность, с которой представители традиционных обществ интерпретируют явления природы, со способностью хорошего водителя нашего технологизированного общества. Он пишет: «Американский индеец, расшифровывающий след с помощью невоспринимаемых признаков, австралиец, идентифицирующий без колебаний отпечатки следов, оставленных каким-либо членом его группы (Meggitt), действуют так же, как и мы, когда ведем автомобиль и с одного лишь взгляда — по легкому повороту колес, флуктуациям в работе двигателя или даже по угадываемому во взгляде намерению — оцениваем момент, чтобы обогнать другую машину или уклониться от столкновения с ней». И далее: «Их намерения, подобные нашему, передаются знаками, которые мы постоянно расшифровываем, ибо именно знаки вызывают процесс мышления» (Леви-Строс, 1994: 288). Таким образом, знаковая деятельность человека охватывает не только словесное творчество. Поскольку риторический логос предполагает не только чистое словесное творчество, но и мысль, а знаковая деятельность есть мыслительная деятельность, то мы считаем возможным рассмотреть некоторые ее аспекты в риторическом ключе, тем более что для постороннего человека (для лингвиста в том числе) она бывает очевидной, лишь когда словесно выражена. Как уже упоминалось выше, основной риторической функцией признается убеждение, а убедить, что очевидно, можно кого-то в чем-то. Убедить адресата (собеседника, аудиторию) в чем-то — значит заставить его посмотреть и увидеть, понять некоторое положение дел, ситуацию так, как хочет адресант, как он видит и понимает положение дел, что должно удовлетворять требованию идеализированного диалога. Однако в то же время это предполагает, что адресант (и всякий говорящий) допускает априори естественную возможность у адресата или непонимания (незнания) положения дел, или иного понимания, что и имеет место в реальной жизни, в реальном общении, является само собой разумеющимся, принимается и реализуется «по умолчанию». Ю. М. Лотман считает, что и в случае автокоммуникации происходит трансформация сообщения (Лотман, 1996), но нельзя допустить, что в таком случае имеет место непонимание (хотя, конечно, возможны варианты понимания). Таким же само собой

разумеющимся фактом является способность человека означивать вещи, артефакты, природные явления, т. е. присваивать им функцию знака чего-то другого, и следовательно, по закону знакового отношения они значат для наблюдателя что-то еще кроме того, чем являются по существу, а в случае поступка — способность человека видеть не то, ради чего совершается поступок. Как пишет К. Бюлер, закон знакового отношения гласит: «Что-то стоит вместо другого» (*aliquid stat pro aliquo*), и этой формулой схоласты, занимавшиеся философией языка, отмечают важную особенность понятия «знак» (Бюлер, 1993: 44). Если вербализованная речь считается адресованной, даже если она адресована самому себе (см. выше мнение К. Берка), что можно легко себе представить, то адресованность акта знакоприсвоения, совершаемого часто автоматически, представить труднее, хотя определенно можно сказать, что он в первую очередь адресован самому себе. О знаковой деятельности рассматриваемого вида говорили многие. В принципе знаковую составляющую, по нашему мнению, следует считать одной из наиболее важных в структуре личности наряду с составляющей «мыслящий» (*homo sapiens*) и, вероятно, важнее составляющей «говорящий» (*homo loquens*). Значительные сферы человеческой деятельности являются, по существу, знаковыми, даже если не учитывать языковую деятельность. Знаковыми являются наука, искусство, медицина (в первую очередь, диагностика), криминалистика и деньги, которые, кроме своей первичной знаковости (*par excellence*), приобрели в современном обществе «артефактовую» значимость, по которой оценивается значимость человека в обществе. Трудно представить себе, если вообще возможно, каким было бы общество без этих сфер деятельности. Можно заметить, что между двумя последними сферами деятельности (медициной и криминалистикой) есть некоторое различие: в медицине по знакам-симптомам ищут «смысл» — вид заболевания, в то время как в криминалистике «смысл» — преступление — известен, и устанавливаются, отыскиваются знаки-улики, позволяющие подтвердить или объяснить этот смысл. Соответственно творцами знаков, интерпретаторами и присваивающими знаковую функцию определенным, скажем, соматическим проявлениям в медицине являются врачи-диагносты; в криминалистике — следователи, детективы. В криминалистике знаком-уликой может стать любой предмет, поступок, который не предназначен изначально служить знаком чего бы то ни было. В своей повседневной жизни человек сочетает эти два направления знаковой деятельности. Для нас интереснее второй вариант знакоприсвоения, поскольку в круг зна-

к творчеству вовлекаются самые разнообразные предметы, артефакты, природные творения — деревья, цветы, произведения искусства, поступки человека и др., тем более что подобные ситуации знакоприсвоения достаточно реалистично и «предметно» описываются в детективах, т. е. оказываются вербализованными популярно, а не научным медицинским или юридическим языком, что важно для лингвистического анализа. Так, цветок шиповника (*wild rose*) в петлице персонажа во время его пребывания в Нью-Йорке послужил для частного детектива в произведении Р. Стоута (*R. Stout*) свидетельством того, что герой мог быть в лесу на месте преступления, поскольку в Нью-Йорке, как считал детектив, цветы шиповника не продаются. В нашей повседневной практике мы совершаем более простые (а иногда и достаточно сложные) акты знакоприсвоения, и совершаем их автоматически, не замечая. Это свидетельствует (выполняет функцию знака) о том, что знаковая деятельность является естественной для человека. Мы постоянно задаем вопрос по поводу самых разных ситуаций: «Что это значит?» И при этом не видим в этом вопросе ничего особенного, он кажется нам столь же обычным, как и другие вопросы, если он не задается как уловка показаться непонимающим, что, следует признать, случается достаточно часто. На практике знаковая деятельность не всегда вербализуется, но, как представляется, в каком-то аспекте она непосредственно связана с языком, что проявляется в процессе общения, взаимодействия людей. Мы постоянно сообщаем другим результаты нашего акта знакоприсвоения, наше понимание того или иного явления, ситуации, поступка человека и др., если нам это нужно, прагматически релевантно, как и в случаях вербального общения.

В схеме идеализированного диалога можно выделить комбинацию составляющих, которая соответствует акту знакоприсвоения. Это комбинация составляющих «слушающий», а точнее «услышавший» или «увидевший» (вариант читающего), и составляющих «понимающий» и «молчащий». Акт знакоприсвоения часто совершается молча человеком наедине с собой, «про себя». Конечно, достаточно часто акт знакоприсвоения совершается и в присутствии других. Тогда его результат может быть эксплицитно вербализован. Именно в такой ситуации может иметь место «непонимание» другими означиваемого объекта как знака чего-то другого в чисто прагматических или риторических целях. Но тем не менее и в этом случае акт знакоприсвоения совершается «про себя». Можно предположить, что в такой ситуации, поскольку совершается и акт понимания, интерпретации предмета-

знака как чего-то другого, т. е. знака некоторого смысла, бывает задействована внутренняя речь. Возможно, это совершается на уровне акустических, зрительных образов слов и определенных отношений между ними, что и позволяет при необходимости вербализовать полученный смысл или как-то иначе прагматически использовать его, например, совершив какой-либо поступок. Отношение акта присвоения какому-либо объекту знаковой функции и возможности вербализации получаемого смысла можно рассмотреть следующим образом. Хорошо известно положение о том, что слово приходит к человеку уже нагруженным практикой его употребления в различных контекстах, о чем уже упоминалось выше. Следует добавить, что частично, если не в большей степени, эта нагруженность обеспечивается его отношением к объекту, который слово обозначает. Вероятно, не может вызывать серьезных возражений то, что коннотативная вариативность слова, определяемая его употреблением в различных ситуациях, не является беспредельной, а разумно ограничена некоторым числом этих ситуаций, которые соответствуют фонду знаний говорящего. Следовательно, можно считать, как это делает К. Берк, что слово некоторым образом озаглавливает (entitle) соответствующие ситуации и части ситуаций (Burke, 1966: 359–379) и, более того, обозначенные словом объекты могут указывать на соответствующие ситуации и их вербальное выражение. Как нам кажется, человек в силу его естественного «пребывания» в знаковой среде может одинаково понимать, осмысливать факт и сказанное о факте, объект и его обозначение-слово. Кроме того, сами слова, выражения, тексты приобретают своего рода «артефактовую» функцию и могут служить знаком не в силу своей первичной природы, а как любой другой артефакт. Нечто сказанное может быть знаком доблести, трусости, низости человека не благодаря своему содержанию, а в силу того, что это было сказано, имел место факт сказывания. Представляется, что это свидетельствует о том, что смысл, получаемый в акте знакоприсвоения, в акте интерпретации, понимания объекта (артефакта, явления природы, поступка, сказанного и др.), лежит если не в сфере действия механизма вербализации, то очень близко к ней, на ее границе. Это тем более справедливо, что хотя бы часть тех ситуаций, в которых объект «участвовал», была вербализована и, следовательно, связана с данным объектом через слово. Показательным в плане знакотворчества, понимания и интерпретации окружающей обстановки является роман М. Форстер «Горничная» (Forster M. Lady's Maid). Девушка из провинции попадает в лондонскую аристократическую семью горнич-

ной к поэтессе Е. Браунинг (Браунинг — фамилия ее будущего мужа поэта Р. Браунинга), где ей все кажется совершенно новым и необычным. Автор романа через внутренний монолог девушки передает то, что она видит и как понимает отношения в семье, между слугами, свои взаимоотношения с ними, поведение членов семьи и слуг и т. п. Прежде всего, она не совсем понимает, почему ее мать так настойчиво хотела, чтобы она заняла это место в Лондоне, и «предлагает» три варианта: «Wilson could not understand mother's urgent pleas to take this London situation. Did she want to be rid of her? Did she not want her near?» Но затем она признает, что причина — желание матери пристроить выгодно всех своих дочерей (Forster, 6). Вероятно, желание, потребность понять причины поступков окружающих составляют важную часть нашего собственного поведения и определяют во многом отношения между людьми.

Приведем еще один пример, в котором описывается, как девушка расценивает внешность молодого человека, оказавшегося в том же доме. «He was always smart and clean and alert and the smile Wilson had admired from the very first proved to be no superficial grin, to be switched on and off at will, but a sign of his warmth and own contentment... There was no restless talk, no evidence that he wanted to be up and off» (Forster, 59). В этом примере горничная (а для нас «говорящий» или интерпретирующий), «означающая» внешность молодого человека, использует через автора вербальные показатели знаковой деятельности, а именно слова sign, evidence. Поскольку человек означает не только поведение других, но и свои поступки, то очевидно, что знаковая деятельность непосредственно связана с самооценкой, положительной или отрицательной. Это в свою очередь связано с психологией или риторикой самообмана, поскольку человек может видеть, понимать свои поступки по-разному и не всегда адекватно. Примером в данном случае может служить то, что называется у нас в России медвежьей услугой, когда и цель и сам поступок расцениваются совершающим его как благо, как знак доброты или благородства. Для того чтобы еще раз указать на важность знаковой, символической деятельности в жизни человека, напомним о его знаковом отношении с природой, что определяло, и сейчас определяет, целые культурно-исторические эпохи, культурные пласты жизни человека: миф и поэзию. Приведем пример отношения с природой художника, героини уже упоминавшегося выше романа Н. Като (поскольку сама автор тоже художник, то ее словам можно верить): «No more heroic canvases and wide prospects: a snake's skin, a burnt stump, a few buttercups in the cleft of

limestone – she could look at these until they became charged with symbolic meaning and her mind reeled with the power of that vision. To make others to see it too – that was the labour and the task for which she had been training her hand and eye for fifty years: And a Heaven in a Wild Flower. To see a World in a Grain of Sand» (Cato, 616).

В каком бы аспекте человек ни рассматривался, он проживает жизнь, как считает Р. Харрэ, в двух мирах: материальном и символическом (Harre, 1998: 176). Самая совершенная из символических систем – язык, осмелимся предположить, отражает и закрепляет символически же особенности этих миров через структуру двух полей, если следовать теории К. Бюлера, поля дейксиса и символического поля (Бюлер, 1993).

Формально знаковую деятельность можно представить в виде схемы, или фрейма: мыслительный акт знакоприсвоения, объект, которому присваивается функция знака (что часто совершается автоматически, без осознаваемого намерения что-то «разгадать»), и результат осмысления объекта – смысл, который не обязательно сообщается кому-то. Если воспользоваться понятиями риторики, то, вероятно, можно сказать, что здесь имеет место изобретение мысли. Поскольку каждый человек может «осмысливать» объект-знак по-своему, а иногда весьма неожиданным образом, то имеет место «оригинальная» мысль, тем более что знакоприсвоение совершается всеми людьми, а не только теми, кто участвует, как говорит И. В. Пешков, «в походе по знанию», что не способствует появлению собственных оригинальных мыслей, а лишь экстенсивно загружает оперативную память (Пешков, 1998: 150). В схеме идеализированного диалога «означивающий», или интерпретатор, занимает двойственное положение: адресата, поскольку он получает некоторый смысл, и адресанта, поскольку он этот смысл создает. Фактически функции адресата и адресанта здесь совмещаются в символической функции смыслопроизводства, понимания, что свойственно человеку «монологически». В своем знаковом общении с миром, физическим и социальным, по-разному означивая предметы и поступки людей, человек «прочитывает» этот мир как текст, но он, естественно, живет тем и с тем, что прочитывает. Это часть его действительной жизни, которая организуется, ограничивается или расширяется у современного человека (*homo loquens*) более мощным символическим механизмом языка.

ГЛАВА 3

РИТОРИКА ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТА

1. Вводные положения. Такое сложноструктурированное и информационно насыщенное речевое произведение, как текст, стало предметом серьезных научных исследований уже вместе с освоением ораторского искусства в Древнем Риме и Греции. Умение овладеть вниманием аудитории, аргументированно передать свою мысль, сделать себя правильно понятым — только некоторые из целей, к которым естественно стремится творец всякого речевого произведения и достижению которых призвана способствовать риторика, ориентированная на слушателя, ибо известно, что слово всегда адресно: рождается говорящим во имя и ради слушателя. В этом смысле можно утверждать, что текст всегда *риторичен* по своему характеру, поскольку всякое текстовое пространство создается в расчете на то, чтобы быть воспринятым и понятым определенным адресатом или группой адресатов.

Если античная риторика в качестве основных включала в себя разделы об источниках и приемах красноречия: систематизации и композиционной связности материала, его упорядоченности и искусстве подачи, то «становление риторики нового типа вызвано в первую очередь лингвистическими факторами, через которые она включается в круг семиотических дисциплин и в сферу культурологических проблем» (Топоров, 1998: 417). Эти вопросы становятся, на наш взгляд, особенно актуальными в настоящее время, отмеченное, как известно, всеобщей антропоориентированностью гуманитарных дисциплин. В лингвистике это находит отражение, в частности, в поиске новых подтверждений взаимодействия таких концептов, как, например, человек и язык, язык и мышление, язык и культура.

В работах представителей всевозможных лингвистических школ в разное время с различной интенсивностью изучались такие параметры текстового произведения, как его смысловое содержа-

ние, функционирование и структура. Поскольку текст является результатом речемыслительной деятельности индивидуума, подобную трехмерность текстового пространства в первую очередь принято связывать с говорящим. Целиком признавая *эгоцентричный* характер речемыслительной деятельности индивидуума, мы тем не менее считаем важным подчеркнуть социальную природу языкового знака, без которой на самом деле едва ли можно говорить и о его индивидуальном характере, предопределяющем его эгоцентризм. В этом смысле наиболее отчетливо проявляется двойственный характер языкового знака, который определяет его лингвистический дуализм. Тесно взаимодействуя с индивидуальным, социальная природа языкового знака обуславливает его востребованность данным социумом. Именно последний в значительной степени влияет на формирование и функционирование таких существенных признаков языкового произведения, как его семантика, синтаксис и прагматика. Вращаясь в определенной социальной среде и адресуя текст конкретному адресату, индивидуум сообщает текстовому пространству определенную риторику. Иными словами, в соответствии с адресатом тексту задаются соответствующие параметры в плане синтаксических, семантических и прагматических характеристик.

Прагматические, или в нашей терминологии *эгореференциальные*, параметры текстового произведения как основные из трех показателей эгоцентризма речемыслительной деятельности говорящего в первую очередь связаны с участниками ситуации, говорящим и адресатом. Они соотносятся с наивысшей стадией развития языкового сознания индивидуума, а именно его самосознанием, и представлены в языке целым набором определенных маркеров, проявляющихся на уровне слова, предложения и собственно текста. Семантические, или в нашей терминологии *номинативные*, параметры текстового произведения, составляющие следующий из трех признаков его эгоцентризма, передают взаимодействие говорящего и окружающего его мира. Номинативные способности индивидуума раскрываются уже на начальном этапе его развития. На уровне сформировавшейся языковой личности говорящий хранит в своем сознании опосредованный образ номинируемого им фрагмента окружающей его действительности и осознает себя ее частью. Однако и номинативные параметры текстового пространства, проявляющиеся на уровне слова, предложения и собственно текста, также связаны с феноменом адресата, модифицируясь при реализации в речи в соответствии с его личностными характеристиками, культурной принадлежностью, опытом, наконец, его фоновыми знаниями.

Синтаксические, или в нашей терминологии *предикативные*, параметры текстового пространства, недостаточно изученные к настоящему времени по сравнению с эгореференциальными и номинативными, тесно взаимодействуют с номинативными и отвечают, по нашему мнению, за адекватность информации об окружающем мире, адресованной слушателю говорящим.

И эгореференциальные, и номинативные, и предикативные параметры текстового образования представляют, на наш взгляд, своеобразную парадигму эгоцентризма речемыслительной деятельности говорящего, репрезентированную на уровне текста. Текст, ориентированный на адресата, является результатом речемыслительной деятельности говорящего, который выстраивает его трехмерное пространство в соответствии с нормами риторики как науки об искусстве речетворчества. В процессе речемыслительной деятельности говорящий, в свою очередь, также наделяет текстовое пространство определенной риторикой как соответствующим образом аранжированной информацией об окружающем мире, воздействующей на адресата.

Если таким адресатом информации является *Я-получатель*, то можно говорить о монологической форме речетворчества; если это *не-Я-получатель*, то — о диалогической. Исходя из постулата об эгоцентрическом характере всякого текстового образования (в совокупности эгореференциальных, номинативных и предикативных параметров) и соответственно о его константной адресованности, мы скорее склонны говорить о присутствии в тексте двух тесно взаимодействующих базовых ориентиров, отражающих гносеологическую природу языкового знака. Речь идет о монодиалогизме текстового образования, т. е. о присутствии в нем как монологического, так и диалогического признаков, в каждом из которых отчетливо прослеживаются и индивидуальные, и социальные аспекты речемыслительного творчества языковой личности.

В данном разделе коллективной монографии предполагается подробнее остановиться на эгореференциальных, номинативных и предикативных параметрах текстового образования, попытаться выявить их взаимосвязь и, если так можно выразиться, степень их «риторичности». Иными словами, мы собираемся показать, что эгоцентризм речевой деятельности индивидуума способствует формированию трехмерного полотна языкового пространства, его риторической наполненности. Будучи отсубъектно-ориентированным, оно всегда направлено на адресата, открыто и доступно для его интерпретации, а следовательно, и связано непосредственно с задачами риторики.

2. Взаимодействие эгореференциальных, номинативных и предикативных параметров текстового образования. В отличие от эго-референции, понятия номинации и предикации хорошо и давно известны лингвистам, несмотря на неоднозначность в толковании многих связанных с ними положений. Достаточно устоявшейся является и область их узуальной закрепленности: так, номинативным характеристикам отводится обычно «зона» слова, а предикативным – предложения. Тем не менее предпринимаемую нами попытку использования для описания языковых единиц категорий, которые уже традиционно закреплены за какими-то другими единицами языка, можно считать вполне своевременной и отвечающей современным тенденциям развития научной мысли на сегодняшний день. С. А. Мегентесов пишет, в частности, по этому поводу следующее: «Восходящий к аналитике Аристотеля системный подход к исследованию языковых и “околоязыковых” явлений – в том виде, в каком он сложился в соссорианском и постсоссорианском языкознании – при всех его бесспорных достижениях страдает существенным недостатком: в нем утрачивается онтологическая целостность объекта исследования. Система языка мыслится при этом в виде обособленных и внеположенных друг другу аспектов – лексики и грамматики, морфологии и синтаксиса, синхронии и диахронии и т. д., и каждое языковое явление рассматривается лишь в рамках своего аспекта или уровня. В настоящее время – в гуманитарных науках пробиваются ростки принципиально иного подхода, при котором исследуемое явление вовлекается в многомерный контекст возможных манифестаций, что позволяет обнаружить взаимодействия системно дистанцированных аспектов, увидеть принципиальные параллели в их организации, при анализе частных явлений не упускать из виду скрытой за ними сложноорганизованной целостности» (Мегентесов, 1994: 85). Говоря о формирующемся на соответствующих принципах методологическом подходе, С. А. Мегентесов вслед за Д. И. Руденко и Ю. И. Сватко (1993) определяет его как эйдетический. Он пишет, что эйдетическая установка «начинается уже с того, что бытующие в какой-либо научной области термины и понятия, часто лишь в силу традиционного употребления ограниченные той или иной денотативной сферой, открываются для творческого развития и переосмысления; ориентиром в этих процессах выступает внутренняя сущность явления, но не буква научной традиции (ср. динамически развертывающееся понимание имени – имя-слово, имя-высказывание, имя-текст (Руденко, Сватко, 1993: 40 и след.). – Е. Х.). Факты неоднозначной трактовки некоторого понятия, его использова-

ния в различных смыслах и в разных понятийных контекстах могут служить для эйдетики сигналом того, что за этими разными употреблениями скрывается единая сущностная основа, объединяющее начало, а множественность его проявления обусловлена условиями реализации в разнокачественной субстанциональной среде» (Мегентесов, 1994: 85–86). Автор также отмечает связь эйдетики с общей семиотикой, которая ставит своей задачей выявление глобальных закономерностей организации знаковых систем и ориентируется на поиск единых начал и структур независимо от того, в какого рода системах они реализуются. Именно поиск единого объединяющего начала позволяет нам говорить о наличии определенного параллелизма функционирования разноуровневых языковых единиц, какими являются слово, предложение, текст. Именно на эйдетической основе мы пытаемся представить динамику развития обсуждаемых здесь процессов номинации, предикации и эгореференции, которые, как мы смеем утверждать, релевантны, хотя и не в равной степени, для каждого из этих уровней, т. е. слова, предложения и текста.

Исходя из положения о том, что номинативные, предикативные и эгореференциальные параметры являются сущностно значимыми в порождении феномена эгоцентризма речемыслительной деятельности, непосредственно воздействующего на репродукцию риторического полотна текстового пространства, рассмотрим подробнее роль и значение названных параметров в функционировании каждого из перечисленных уровней. Номинативные параметры на уровне слова и предикативные – на уровне предложения, несомненно, являются первостепенными и играют, соответственно, определяющую роль в формировании эгоцентризма речемыслительной деятельности индивидуума. Мы также считаем, что в тексте основная роль принадлежит эгореференциальным параметрам, актуализации которых в свою очередь способствуют слова и предложения, входящие в его состав. Таким образом, на уровне слова доминируют номинативные, на уровне предложения – предикативные и на уровне текста – эгореференциальные параметры. Периферийными, вторичными для слова выступают, следовательно, предикативные и эгореференциальные параметры, для предложения – номинативные и эгореференциальные, а для текста – номинативные и предикативные.

Периферийные, вторичные, параметры не являются, на наш взгляд, однородными. Среди них можно выделить вторичные с «зависимой репрезентацией» и вторичные с «самостоятельной репрезентацией». Понятие *зависимой* репрезентации предполагает то, что языковые единицы (слово, предложение, текст), наде-

ленные этими характеристиками, не могут их реализовывать самостоятельно, т. е. функционируя вне единиц более высокого ранга. В то же самое время следует подчеркнуть, что единицы, наделенные зависимыми параметрами, функционируя в составе единиц более высокого ранга, способствуют актуализации их доминирующих параметров, т. е. выполняют, если так можно выразиться, вспомогательную роль. Понятие *независимой* репрезентации предполагает, что языковые единицы, наделенные этими параметрами, могут актуализировать их самостоятельно вне единиц более высокого ранга. Так, эгореференциальные параметры, доминирующие для текста, являются вторичными с зависимой репрезентацией для слова и предложения. Подобное проявление зависимой репрезентации связано с тем, что и слово, и предложение как единицы менее высокого ранга, чем текст, реализуют свои зависимые вторичные параметры (эгореференциальные) только в составе текста, способствуя тем самым актуализации его эгореференциальных параметров. В этом отношении они зависимы от текста, его смыслового содержания и прагматической установки. Вне конкретного контекста установить эгореференциальные характеристики и слова, и предложения достаточно сложно, если, конечно, слово или предложение не выступает в качестве самостоятельного, законченного текстового произведения. Предикативные параметры, доминирующие для предложения, являются вторичными с зависимой репрезентацией для слова и вторичными с независимой репрезентацией для текста. Дело в том, что в предложении слово способствует передаче его предикативности, а употребленное изолированно как самостоятельная лексическая единица оно не несет предикативных характеристик. Номинативные параметры являются доминирующими для слова, которое может их реализовать самостоятельно, и вторичными с независимой репрезентацией для предложения и текста.

Следовательно, слово и предложение являются теми существенными составляющими текста, без участия которых было бы невозможно передать его эгореференциальные параметры.

3. Эгореференциальные параметры текста. Эгореференциальным параметрам текста в первую очередь принадлежит заслуга передачи риторической картины языкового полотна, поскольку именно они призваны актуализировать роль творца речевого произведения и его воздействие на адресата. Как уже отмечалось в параграфе 1, они актуализируются с помощью слова и предложения. Эгореференциальные характеристики слова в полной мере

реализуются именно в составе текстового произведения. С помощью слова передаются такие грамматические категории, как, например, категория модальности, чему способствуют модальные слова и модальные глаголы, категории наклонения и времени, представленные соответствующими словоформами и формантами, категории лица и числа. На лексическом уровне – это слова, указывающие на место происходящих событий и локализацию объектов в пространстве, оценочная лексика, притяжательные, возвратные и личные местоимения, артикли в артиклевых языках. При рассмотрении эгореференциальных параметров предложения речь идет скорее о высказывании, чем о предложении. Соответственно особое значение приобретают модальные характеристики высказывания – время, наклонение. Следует учитывать также и такие характеристики высказывания, которые реализуются в коммуникативной ситуации в процессе общения (типы речевых актов и их воздействие на слушателя).

Все названные эгореференциальные характеристики слова и предложения, вторичные с зависимой репрезентацией, подчинены, как мы помним, эгореференциальным параметрам текстового образования, которые являются для последнего доминирующими. То, что объединяет текст в единое целое с общей авторской коммуникативной установкой, гармоничной структурой, конкретным содержанием, заложено в самом процессе его порождения. Первопричиной такого положения является то, что текст неотделим от своего создателя, эгоцентрирующего текстовое пространство относительно себя, своего эго. Говорящий, который наделен определенными знаниями и опытом, осуществляет свою речемыслительную деятельность в определенное время, в определенном месте, с определенной целью, ориентируя ее на определенного получателя. Следует подчеркнуть, что, по-разному реализуясь в различные периоды становления индивидуума, эгоцентризм речемыслительной деятельности достигает вершины своего развития вместе с завершением формирования его самосознания. В этот период индивидуум сознает себя частью окружающего его мира, средоточием его координат, в соответствии с чем он постигает, творит этот мир и себя своей мыслью и словом. Эгореференция после становления номинативной и предикативной стадий языкового сознания естественным образом завершает формирование эгоцентризма речемыслительной деятельности индивидуума и наделяет особым смыслом процессы номинации и предикации как существенные составляющие эгоцентризма ставшего индивидуума.

Таким образом, именно говорящий, который ориентирует текстовое пространство относительно своей точки видения мира,

точки его репрезентации, наделяет текст субъективностью. Это положение считается достаточно известным и различается обычно в работах разных авторов в плане используемых ими терминов. Так, У. Чейф, в частности, пишет: «В дискурсе говорящие и пишущие всегда определяют свою точку зрения, исходя из которой они говорят или пишут» (Chafe, 1994: 132). Поскольку всякое высказывание соотносимо с некоторым субъектом, а именно говорящим, то оно субъективно в самом буквальном смысле, т. е. связано с точкой зрения субъекта (Sanders, Spooner, 1997: 85). Субъективность, по их мнению, может реализовываться двумя путями: как связь с говорящим, именуемая в этом случае субъективизацией, или как связь с абстрактным или конкретным лицом, не являющимся говорящим. В этом случае она именуется перспективизацией (Ibid.). Понятия перспективы (или перспективизации) и субъективности (или субъективизации) в настоящее время считаются основными составляющими когнитивной лингвистической модели, полностью отвечая требованиям развития современной лингвистической мысли. Перспектива или точка зрения взаимодействуют с двумя другими тесно связанными понятиями, введенными Р. Лангакером (Langacker, 1987), — «преимущественная позиция» и «ориентация». Понятие преимущественной позиции представляет собой метафорическое истолкование понятия референциальной точки, которую, согласно Р. Лангакеру, следует понимать как концептуализацию одной сущности с целью установления ментальной связи с другой (Langacker, 1993: 1). Все эти понятия рассматриваются, как правило, в рамках интерпретации высказывания и связываются с категорией модальности (Lyons, 1977; Coates, 1983; Nuyts, 1993). Модальность, как известно, отражает устанавливаемое говорящим отношение высказывания к действительности, является средством репрезентации в высказывании позиции говорящего, способ его видения мира, т. е. способствует таким образом реализации эгореференциальных параметров высказывания.

Все сказанное выше о высказывании можно, вне всякого сомнения, считать релевантным также и для текстового образования. Дело в том, что, как известно, в определенной ситуации речевого общения высказывание можно считать эквивалентом текстового образования. Категорию модальности соответственно можно считать релевантной не только высказыванию, но и его расширенному варианту, т. е. текстовому образованию, и рассматривать как одно из основных средств актуализации эгореференциальных параметров текста. С точки зрения обоснования правомерности рассмотрения таких существенных категорий

высказывания, как, например, категория модальности и времени в отношении текста, уместным представляется привести мнение А. В. Зеленщикова. Так, в частности, предлагая свою модально-темпоральную классификацию текстов, он пишет следующее: «Подобно единичному положению дел, составляющему базовое содержание простого предложения, множество положений дел, репрезентируемое содержанием дескриптивного текста, может быть представлено, с одной стороны, как объект, существующий независимо от его описания, т. е. как критерий, используемый для установления истинностного значения соответствующего множества высказываний. С другой стороны, совокупность положений дел может рассматриваться как сложный объект, потенциально создаваемый в соответствии с условиями, заданными креативным текстом, истинность которого в одном из возможных миров принимается а priori» (Зеленщиков, 1998: 29). Исходя из сказанного будем считать, что модальность можно рассматривать как категорию, реализующуюся на уровне не только высказывания, но и текстового образования.

Известно, что речемыслительная деятельность протекает в определенной ситуации речевого общения, т. е. в коммуникативной ситуации, что находит непосредственное отражение в текстовом произведении, являющемся результатом этой деятельности. Коммуникативная ситуация, как правило, предполагает наличие источника информации (говорящего или пишущего), места и времени осуществления этой деятельности и получателя информации (слушающего или читающего). Фактор слушающего, хотя и не всегда эксплицитно представлен в тексте, постоянно учитывается говорящим (пишущим), сколь абстрактным он бы для него ни был. Он, в сущности, является первопричиной, стимулом порождения всякого речевого произведения, мерилom его истинности и целесообразности.

С точки зрения выявления и изучения механизмов воздействия эгореференциальных параметров на риторику текстового образования, реализацию ее задач и установок, важно рассмотреть взаимосвязь ситуации его порождения, т. е. коммуникативной ситуации, и ее составляющих, с одной стороны, и ситуации, номинируемой текстовым образованием, т. е. номинативной ситуации — с другой. Иными словами, речь идет о сопоставлении эгореференциального и номинативного планов текста (хотя более подробно к рассмотрению последнего мы обратимся в следующем параграфе). Текст как линейное образование находит свое динамическое развитие во времени (не ограниченном строго какими-либо рамками), и в этом отношении временные параметры — это величина

значительно менее постоянная, чем пространственные параметры коммуникативной ситуации. Время и место порождения текстового образования, т. е. коммуникативной ситуации, соотносимы с его автором — говорящим или субъектом коммуникативной ситуации. Время и место номинируемых событий, т. е. номинативной ситуации, ориентированы в свою очередь относительно субъекта номинируемой ситуации. Однако в то же самое время они находятся в определенной зависимости и от субъекта коммуникативной ситуации, времени и места его речевой деятельности. Именно такая связь способствует, на наш взгляд, созданию общей целостности текста в пространстве и времени. Изучение пространственно-временного полотна текстового пространства предполагает, следовательно, учет взаимодействия коммуникативного и номинативного планов текстового образования. Это можно проиллюстрировать на примере высказываний, представляющих собой самостоятельные, ограниченные по протяженности текстовые образования: (a) *I'm the only person here who knows the truth.* В (a) говорящий осуществляет номинирование некоторого положения дел или внеязыковой ситуации, центром которой является субъект *I* (субъект номинируемой ситуации), совпадающий с *I* коммуниканта, т. е. говорящим (субъектом коммуникативной ситуации). «Номинируемое настоящее» в данном примере совпадает с «коммуникативным настоящим». Пространственные параметры коммуникативной и номинативной ситуаций также совпадают. Вариантами примера (a) являются: (a') *I did it at last* и (a'') *I'll do it myself*, где номинирование соотносимо соответственно с прошлым и будущим субъекта и говорящего. Можно констатировать, что в данных примерах наблюдается своеобразное «расщепление» коммуникативного и номинативного планов по оси времени, подтверждая, что прошлое в повествовании есть не что иное, как уже сбывшееся настоящее повествующего, а будущее — его нереализованное настоящее. В примере (b) *He does languages at college* очевидно размежевание по оси субъекта (*Я* говорящего не совпадает с субъектом номинируемой ситуации), сопровождаемое, естественно, «расщеплением» и по пространственным параметрам. Достаточно распространенным случаем соотношения коммуникативного и номинативного планов является «расщепление» по трем параметрам, а именно личностному, пространственному и временному, что обычно характеризует повествование от 3-го лица: (c) *John was born in a small village in Scotland. The best part of his life he spent in Cambridge.* Особого внимания заслуживает пример (d) *He said they had moved to Edinburgh*, который представляет собой вариант «матрешки»,

иллюстрирующий в нашем определении «двойную номинацию». Субъект (S') номинируемой ситуации (1) не выступает в роли говорящего, т. е. номинируемая ситуация является также и коммуникативной, но уже второго уровня, а ее субъект (S'') осуществляет вторичную номинацию. В результате мы имеем номинативную ситуацию второго уровня с субъектом (S'') they. Примеры подобного рода, т. е. репрезентирующие косвенную или внутреннюю речь, достаточно широко распространены в языке, и важно учитывать все возможные пути их интерпретации.

Рассмотрим достаточно распространенный пример текстового образования, в котором субъекты коммуникативной и номинативной ситуаций совпадают, репрезентируясь местоимением *I*:

I stood on the outside of disaster, looking in.

There were three police cars outside my cousin's house and an ambulance with its blue turret light revolving ominously, and people bustling in seriously through his open front door. The chill wind of early autumn blew dead brown leaves sadly on to the driveway, and harsh scurrying clouds threatened worse to come. Six o'clock, Friday evening, Shropshire, England (DFr.: 3).

Временные параметры коммуникативной и номинативной ситуаций явно различны, поскольку номинируемые события отнесены автором в прошлое относительно коммуникативного настоящего. Именно этот факт дает основание полагать, что не могут совпадать и пространственные параметры коммуникативной и номинативной ситуаций, которые представлены в тексте предложением: *Six o'clock, Friday evening, Shropshire, England.* Таким образом, эгореференциальный центр рассматриваемого фрагмента, относительно которого соответствующим образом оформляется все текстовое полотно, формируется в результате сложного взаимодействия субъекта и пространственно-временных координат двух ситуаций: номинативной и коммуникативной (ситуации порождения и передачи читателю определенной информации через литературное произведение).

Без должного внимания к такому важному компоненту коммуникативной ситуации, как фактор адресата, который в значительной степени, как мы уже отмечали, влияет на формирование эгореференциальных параметров текста, анализ текста нельзя считать полным. «Текст — это воплощенный в предметах физической реальности сигнал, передающий информацию от одного сознания к другому и поэтому не существующий вне воспринимающего его субъекта» (Руднев, 2000: 10). Именно относительно адресата говорящий-автор текста ориентирует текстовое пространство, для него осуществляется процедура собственно речепроиз-

водства, что в значительной степени определяет содержание и структуру речевого произведения. Изучение фактора адресата подразумевает, следовательно, выявление прагматических основ порождения и восприятия текстового произведения, всегда обращенного и ориентированного на конкретного или абстрактного получателя информации. Если, например, личная переписка рассчитана на конкретного корреспондента, круг читателей специальной научной литературы более широкий, но тем не менее ограниченный, то произведения художественной литературы рассчитаны часто на массового читателя. Несмотря на это, создатель речевого произведения всегда его кому-то адресует. Иными словами, получатель информации наряду с говорящим является важным участником коммуникативной ситуации. Взаимодействие говорящего и слушателя, представляющих разновидность субъектно-субъектных отношений, можно представить в виде отношения $S' - S''$, где S' представляет говорящего, а S'' — получателя информации.

Следует подчеркнуть, что значимость фактора адресата при порождении речевого произведения предопределена самой природой языкового знака, социального по своему характеру. Так, М. М. Бахтин в работе под авторством В. Волошинова отмечает, что организующий центр всякого высказывания, всякого выражения — не внутри, а вовне: в социальной среде, окружающей особь: «Внутренний мир и мышление каждого человека имеет свою стабилизированную *социальную аудиторию* <...> Значение ориентации слова на собеседника — чрезвычайно велико. В сущности *слово является двусторонним актом*. Оно в равной степени определяется тем, чье оно, и тем, для кого оно. Слово является именно продуктом *взаимоотношений говорящего со слушающим*. Всякое слово выражает “одного” в отношении к “другому”. В слове я оформляю себя, с точки зрения другого, в конечном счете себя с точки зрения коллектива. Слово — мост, перекинутый между мной и другим. Если одним концом он опирается на меня, то другим концом — на собеседника. Слово — общая территория между говорящим и собеседником» (Волошинов, 1995: 302).

Рассматривая роль слушающего в процессе порождения речевого произведения, не следует забывать, что индивидуальное и социальное, диалогическая и монологическая сущности в нем совершенно нерасторжимы. Следовательно, понятие диалогичности или монологичности речевого произведения является в большей степени вопросом формы репрезентации результатов речемыслительной деятельности, чем природы речевого акта. Так, в диалоге естественным образом совмещены монологизм, экспли-

цитно отражающий вклад творца речевого произведения, и диалогизм, отражающий вклад адресата речевого произведения. В монологе монологизм так же гармонично сочетается с диалогизмом, проявляясь в постоянном присутствии и учете фактора слушающего. Различие между этими двумя формами речевого общения состоит в степени эксплицитности представления в каждой из них роли слушающего, а также степени устойчивости коммуникативных ролей участников речевого общения, большая степень шифтерности которых свойственна диалогу. Достаточно важными в плане выявления диалогизма монологических высказываний нам представляются следующие соображения, высказанные М. М. Бахтиным: «Всякое монологическое высказывание, в том числе и письменный памятник, является неотрывным элементом речевого общения. Всякое высказывание, и законченное письменное, на что-то отвечает и установлено на какой-то ответ. Оно лишь звено в единой цепи речевых выступлений» (Там же: 287). И далее: «Диалог в узком смысле этого слова является, конечно, лишь одной из форм, правда важнейшей, речевого взаимодействия. Но можно говорить о диалоге широко, понимая под ним не только непосредственное громкое речевое общение людей лицом к лицу, а всякое речевое общение, какого бы типа оно ни было. Книга, т. е. печатное речевое выступление, также является элементом речевого общения... Таким образом, печатное речевое выступление как бы вступает в идеологическую беседу большого масштаба: на что-то отвечает, что-то опровергает, что-то подтверждает, предвосхищает возможные ответы и опровержения, ищет поддержки и пр.» (Там же: 312–313).

Таким образом, на наш взгляд, имеются все основания рассматривать текстовые образования любой протяженности как элемент речевого общения. А если так, то естественно ожидать, во-первых, что, как и всякий другой речевой элемент диалогического общения, например речевой акт, текстовое произведение характеризуется определенным коммуникативным значением, определяемым коммуникативным намерением говорящего. Во-вторых, как следствие, можно констатировать наличие необходимых условий для существования соответствующих классификации текстовых произведений на основе их коммуникативной направленности, по аналогии, например, с хорошо известной классификацией иллокутивных актов Дж. Серля (1986).

Следует признать, что в настоящее время существует значительное число работ в области прагматики и функциональной стилистики текстов, которые предлагают различные классификации.

Так, И. Р. Гальперин (1981) предлагает классификацию текстов на основе содержательной информации. В рамках стилистической и прагматической направленности изучения текста известна классификация У. Лабова (1975). Значительные достижения в исследованиях текста связываются с лингвистикой декодирования (Арнольд, 1974). Интересные соображения по поводу некоторых из существующих классификаций текстов по степени их воздействия на слушателя высказывает, например, С. В. Вишаренко, выделяя на основе анализа и обобщения соответствующей теоретической литературы (Арнольд, 1973; Гальперин, 1977; Белых, 1991; Данильченко, 1992; Руберт, 1995; Александрова, 1996; Насырова, 1996; Кустова, 1998) пять основных групп текстов. Первая представлена пьесами, литературно-художественными и публицистическими произведениями; вторая — текстами религиозных поучений; третья — судебными и деловыми документами; четвертая — текстами научных произведений и пятая — письмами, дневниками и путевыми заметками (Вишаренко, 1999: 140). Достаточно полный обзор современных концепций и классификаций в рамках теории и прагматики текста предлагает В. В. Елисеева (1998). Тем не менее, несмотря на значительное количество работ в области прагматики текста, следует отметить отсутствие единого принципа, общих критериев, которые могли бы объединить различные виды текстовых произведений и лечь в основу их классификации на общих принципах прагмалингвистики. Имеется в виду учет своеобразия ситуации коммуникативного общения, факторов говорящего и слушающего, а также коммуникативного содержания текстового образования. Вместе с тем в настоящее время в рамках риторики имеются не только все необходимые условия для разработки такого подхода к исследованию текстовых произведений, но и предлагаются их основные классификации. Становление риторики, как уже отмечалось (см. параграф 1), произошло в Древней Греции еще в V в. до н. э.; она покорила культуры стран Запада и Востока, на какое-то время ушла в забвение и сегодня возрождается вновь. Предметом риторики как искусства речи являются отношения аудитории и оратора (Рождественский, 1999: 5). Учет слушателя, искусство воздействия на него в разных ситуациях речевого общения занимает в первую очередь ученых, работающих в этом направлении. В «Риторике» Аристотеля и других его трактатах по смежной проблематике рассматриваются различные виды речи: поэзия и проза. В «Поэтике» — художественная речь, эпос, лирика, драма. В «Риторике» — официальная публичная речь: показательная судебная, совещательная. «Есть три рода вида риторики, потому что есть столько же родов слушателей. Речь состоит из

трех элементов: самого говорящего, предмета, о котором он говорит, и лица, к которому он обращается и которое есть, собственно, конечная цель всего (я имею в виду слушателя). Слушатель необходимо бывает или простым зрителем, или судьей, и притом судьей или того, что уже произошло, или того, что может произойти. Участник народного собрания рассуждает о том, что может произойти, участник суда – о том, что уже произошло, а человек, оценивающий искусство говорящего, – зритель. Поэтому следует различать в риторике три рода речей: совещательные, судебные и эпидейктические. Задача речей совещательных – побуждать (уговаривать) или отвращать (отговаривать), поскольку и люди, которые дают советы в частной жизни, и произносящие речи публично, делают одно из двух – побуждают или отвращают. Задача речей судебных – обвинять или оправдывать, поскольку тяжущиеся всегда делают непременно одно из двух – либо обвиняют, либо оправдываются. Задача эпидейктической речи – восхвалять или порицать» (Аристотель, 2000: 14). Даже судя по приведенному краткому отрывку, можно заключить, что уже изначально риторика была ориентирована на слушающего, т. е. аудиторию, и говорящего, т. е. оратора. Типы характеристики типов речей в свою очередь основываются в рамках риторики на том общем коммуникативном воздействии, которое они оказывают на аудиторию. Так, у Аристотеля речь идет о побуждении, отвращении, обвинении, оправдании, восхвалении, порицании, т. е., в сущности, о своего рода коммуникативных типах речевых актов, расширенных до объема текстовых произведений (здесь речей). На основе законов Аристотеля Ю. В. Рождественский выделяет чрезвычайно важные для риторики категории, которые, на наш взгляд, можно считать ключевыми для прагматики текста. Это: этос, пафос и логос. «*Этосом принято называть те условия, которые получатель речи предлагает ее создателю. Эти условия касаются времени, места, сроков ведения речи, и этим определяется часть содержания речи, по крайней мере, ее тема, которую получатель речи может считать уместной или неуместной <...> Пафосом принято называть намерение, замысел создателя речи, имеющего цель развить перед получателем определенную интересующую его тему. <...> Логосом принято называть словесные средства, используемые создателем речи в данной речи при реализации замысла речи. Логос требует, помимо воплощения замысла, использовать такие словесные средства, понимание которых было бы доступно получателю речи. Таким образом, этос создает условия реализации речи, пафос – источник создания смысла речи, а логос – словесное воплощение пафоса на условиях этоса*» (Рождественский, 1999: 69–70). Исхо-

дя из приведенного определения, категорию этоса, на наш взгляд, можно считать тождественной коммуникативной ситуации, категорию пафоса — эквивалентной коммуникативному намерению говорящего, а категорию логоса, единственно материально осязаемую в отличие от двух первых, — речевым воплощением коммуникативного замысла говорящим в соответствующем коммуникативном акте. Ю. В. Рождественский отмечает, что, хотя основные положения и законы риторики Аристотеля были построены для ораторской речи и многие виды речи не вошли в его трактат «Риторика», а именно домашняя, бытовая речь, философская диалектика, учебная речь, документ, личное письмо, ученый трактат, поэтическое сочинение, трактат, они имеют фундаментальное значение для учения о речи в целом и оказываются справедливыми и для неораторской речи в любых ее разновидностях. Соответственно законы Аристотеля могут быть, по мнению Ю. В. Рождественского, сформулированы и в общем виде: «Речь обеспечивает общественную структуру путем разделения на виды. Всякий вид речи представляет собой единство пафоса, этоса и логоса. Всякий вид речи имеет свое отношение к действительности — модальность и время» (Там же: 100). На основе выделенных закономерностей он исследует семейно-бытовую речь, публичную речь, судебную речь, гомиетику, учебную речь, письма и документы, рукописи, научные сочинения, художественную и журнальную литературу, массовую коммуникацию, т. е. всевозможные виды текстовых произведений, выделенные в самостоятельные группы на основе единых принципов прагматики и коммуникации.

Исходя из законов риторики строит свою классификацию и Е. Н. Зарецкая. Она предлагает достаточно интересную и, на наш взгляд, исчерпывающе полную, с точки зрения прагматического подхода, классификацию текстов, которые она рассматривает как примеры словесности. С точки зрения Рода словесности она выделяет Устную, Письменную и Смешанную словесность. Устная словесность с точки зрения Вида словесности разделяется на Ораторику и Гомиетику. Первая включает такие Жанры словесности, как Диалог, Молва, Фольклор, а также Судебную, Совещательную и Показательную речи. Вторую составляют такие Жанры словесности, как Проповедь, Учебная речь, Пропаганда. Письменная словесность разделяется на собственно Письменность и Литературу. В первую входят такие Жанры словесности, как Документы и Рукописи; во вторую — Художественная литература, Научная литература и Публицистика. Смешанная словесность в качестве Видов словесности включает СМИ, внутри которых вы-

деляет такие Жанры словесности, как Радио, Кино, Телевидение и Пресса (Зарецкая, 1999: 105–106).

Подытоживая обзор существующих подходов к исследованию текста, следует отметить, что наиболее плодотворными являются те, которые проводятся в настоящее время с позиций когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на долгую историю изучения текстовых произведений в рамках лингвистической теории текста, функциональной стилистики текста, прагматики текста, все еще остаются вопросы, требующие более тщательного изучения с учетом последних научных достижений в области актуальных лингвистических направлений. Очевидно, что для создания полной картины порождения и функционирования такой сложной языковой единицы, какой является текст, и решения в этой связи новых задач необходима продуманная комбинация как новых, так и хорошо известных и возрождающихся вновь научных направлений.

4. Номинативные параметры текста. Рассмотрим теперь, в какой степени и каким образом номинативные параметры текстового образования участвуют в создании риторического полотна текстового образования, т. е. способствуют представленности в нем фактора автора и адресата, которые, на наш взгляд, непосредственно связаны с эгоцентризмом речемыслительной деятельности индивидуума. На уровне текста номинативные параметры выступают как вторичные с независимой репрезентацией. Для слова, как мы помним, они являются доминирующими, а для предложения — вторичными независимыми. Очевидно, что ни предложение, ни текст как единицы более высокого уровня в принципе не способны выступать в качестве средства передачи номинативных параметров слова, хотя, включая слово в свой состав и создавая ему, таким образом, определенный контекст, они, несомненно, способствуют адекватной передаче и пониманию конкретного значения, которое это слово несет. Номинативные параметры текста зависимы от таких конститuentов эгореференциального плана, как говорящий, автор речевого образования, наделяющий речевое произведение своим отношением к номинируемым событиям, и слушающий, или адресат речевого произведения, участвующий в его создании тем, что, во-первых, он является тем ориентиром, знания и опыт которого учитываются автором в процессе воздействия на адресата в соответствии с нормами риторики, и, во-вторых, тем, что он интерпретирует текст в соответствии со своими знаниями и опытом.

Стремясь обосновать способность текстового произведения к номинации, мы вслед за В. Г. Гаком придерживаемся широкого понятия номинации, рассматривая ее как «обозначение всего отраженного (или отражаемого) и познаваемого человеческого сознанием, всего сущего или мыслимого: предметов, лиц, действий, качеств, отношений и событий» (Гак, 1998: 314–315). В. Г. Гак также отмечает, что, подобно тому как отдельное имя, которое может анализироваться со стороны референции, является при этом именем определенного предмета – существующего или мыслимого, так и предложение не только выражает истину или ложь, но и обозначает определенное событие, которое, следовательно, является именуемым в имени-предложении (Там же: 314). Как структура предложения может варьироваться от простого к сложному, предлагая, соответственно, сжатую или развернутую репрезентацию события, так и последовательность нескольких и более предложений, составляющих текстовое произведение, может, на наш взгляд, представлять собой развернутую номинацию композиционно сложного события или их последовательности при условии, что они объединены тематически. Текстовое образование, представленное единственным высказыванием, повторяет в принципе событийную номинацию, характеризующую уровень предложения. В отличие от элементной (в терминологии В. Г. Гака) номинации на уровне слова и событийной на уровне предложения, можно поставить вопрос о возможности выделения номинации особого рода, назовем ее «композитивной», которая характеризует композиционно сложный по своей структуре и характеру номинируемых событий уровень текстового произведения.

Номинативные параметры текста и возможность их изучения на уровне текстового образования рассматриваются нами в русле упоминавшегося уже здесь эйдетического подхода. Динамическому развертыванию понимания имени, в результате чего выстраивается сложная парадигма, включающая такие элементы, как имя-слово, имя-предложение, имя-текст, посвящена работа Ю. И. Сватко (Сватко, 1993). Только в тексте «возможно своеобразное “снятие” противоречия между нелинейной природой иерархизированного, по вертикали понятого смысла и линейным характером его языкового представления, приложимы интерпретационные процедуры, позволяющие “прочитать” ситуацию, в которой предмет явлен не только в богатстве своих свойств, признаков, связей и отношений, но и в своем целом купном родовом единстве. Поэтому текст предстает своеобразной языковой целью (а также средством и продуктом) коммуникации как полигона действующего языка (речи), практического

языко-знания. И поэтому смысл текста позволяет увидеть за реальным многообразием формально-языковых и функционально-коммуникативных вариантов конкретных текстовых форм нечто, что должно быть при этом сохранено на условиях информационной синонимии <...> В результате человек получает возможность добраться до конечной цели коммуникации – (взаимо)понимания, ибо это нечто и есть увиденная в своей открытости мышлению предметная сущность вещи» (Там же: 43–44). Достаточно важным в плане трактовки текста как имени представляется и точка зрения Д. И. Руденко (1993). Он, в частности, отмечает, что, с одной стороны, имени присуща «максимальная приближенность» к мыслительным процессам; с другой – при соотношении «текста» с базисным понятием «смысл» у текста обнаруживаются некоторые именные черты. К последним Д. И. Руденко относит, например, «способность отражать определенную референтную ситуацию, одновременно идентифицируя и характеризую ее как самостоятельный целостный объект; целостность “правильного” в грамматическом и смысловом отношении текста; несводимость смысла текста к смыслу его составляющих, наличие у него своеобразной “внутренней формы”» (Руденко, 1993: 83).

Важно, что, в отличие от эгореференциальных параметров, которые основываются на субъектно-субъектных отношениях и, следовательно, могут быть представлены, как уже отмечалось выше (см. параграф 3), отношением $S' - S''$, номинативные параметры можно выразить через отношения $S' - O$, где S' выражает субъект номинации, т. е. лицо, осуществляющее процедуру номинирования, а O – номинируемый объект, т. е. некий фрагмент внеязыковой действительности, отраженный в речевом произведении. Подчеркивая неоднократно уже отмечавшуюся тесную связь между номинативными и эгореференциальными параметрами, следует отметить, что сама номинация едва ли была бы возможна, если бы говорящий, т. е. субъект номинации, не был бы готов к осуществлению речемыслительной деятельности и не ориентировал бы ее на адресата, что автоматически предполагает присутствие получателя информации, т. е. S'' . Взаимодействие номинативных и эгореференциальных параметров правильнее, следовательно, передавать формулой $S' - O - S''$, которая отражает взаимодействие коммуникантов с окружающим их миром, социумом (культуру, знания и опыт которого они хранят в своем сознании). Именно окружающая действительность, неотъемлемой частью которой они себя сознают, является объектом их рефлексии и номинирования, осуществляемых в процессе коммуникации.

С точки зрения номинирования описываемых событий, текстовой фрагмент, предложенный выше (см. параграф 3), относится к категории наиболее часто встречаемых в художественной литературе. В нем автор описывает события, сопровождающие его приезд в графство Шропшир. Предложенный отрывок отличается определенной смысловой завершенностью и эксплицитностью представления происходящего. Его цельнооформленности также способствует пространственно-временное единообразие и репрезентативность участников повествуемого события. Номинируемым в этом текстовом образовании оказывается *прибытие героя* повествования на место основного действия. Содержание номинируемых событий нередко в сжатом виде раскрывается через *наименования* глав, разделов, а также заголовки самих произведений художественной и научной литературы, передающие объективный предметный смысл текста и вскрывающие существенные аспекты текстовых образований различной протяженности (ср., например, наименование романа Л. Н. Толстого «Война и мир» или романа Дика Френсиса “In the Frame”, отрывок из которого был приведен, или наименование, выбранное нами для названия данной работы: «Риторика эгоцентрического пространства текста»).

Средства, выбираемые автором текстового образования для номинирования фрагментов внеязыковой действительности, могут значительно варьироваться в плане выбора языковых средств, используемых для номинирования. Соответственно следует различать текстовые фрагменты с очевидным преобладанием именных или вербальных элементов. В качестве достаточно удачной, как нам кажется, иллюстрации первого из предложенных вариантов можно рассматривать отрывок из романа Ирвина Шоу «Богач, бедняк», представляющий собой пример текста-описания:

He went to the window and took a deep breath, the big chest muscles, age-rigged, tightening against his skivvy shirt. The river a few hundred yards away, freed now of ice, carried the presence of North with it like the rumour of passing troops, a last cold marching threat of winter, spreading on each side of its banks. The Rhine was four thousand miles away. Tanks and cannon were crossing it on improvised bridges. A lieutenant had run across it when a bridge had failed to blow up. Another lieutenant on the other side had been court-martialed and shot because he had failed to blow the bridge as ordered. Armies. Die Wacht am Rhein. Churchill had pissed in it recently. Fabled river. Jordache's native water. Vineyards and sirens. Schloss Whatever. The cathedral in Cologne was still standing. Nothing much else. Jordache had seen the

photographs in the newspapers. Home sweet home in old Cologne. Buldozed ruins with the ever-remembered stink of the dead buried under collapsed walls (I. Sh., 6–7).

Второй отрывок достаточно распространен в сфере экономической юриспруденции – это текст-обязательство. Мы предлагаем сокращенный вариант Договора об учреждении Акционерной Компании из справочника-собрания документов «Контрактное право». В соответствии с Договором сторона-учредитель берет на себя определенные обязательства, актуализированные в языке рядом инфинитивных сочетаний.

**Memorandum of Association
of Company Limited by Shares:
Shortest Practicable Form**

Company 2345678

The Companies Act 1985

Company limited by shares

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION
of B.&D. (Littlehampton) Limited**

1. The name of the Company is “B. & D. (Littlehampton) Limited.”
2. The registered office of the Company shall be situated in England.
- 3.0. The objects for which the Company is established are:
 - 3.1. To purchase and carry on the business of importer of and dealer in wines, spirits and soft drinks now carried on by A.B. at (address) and accordingly to enter into and carry into effect with or without modifications an agreement with the said A.B. in the form of the draft which has for the purpose of indemnification been initialled by E.F. of etc. solicitor;
 - 3.2. To carry on the business of importer of and dealer in wines, spirits and fruit juices and merchants generally;
 - 3.3. To carry on any other business which may seem to the directors of the Company capable of being conveniently or profitably carried on in connection with that business or calculated directly

or indirectly to enhance the value or render more profitable any of the company's assets; and

3.4. To do all such other things which may seem to the directors of the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects (and without prejudice to the generality of the foregoing the Company shall have power: to carry on its business alone or in association with any one or more persons (whether natural or legal) or by any one or more subsidiary companies; to pay all expenses of and incidental to the formation of the Company; to sell lease or dispose of any property of the Company; to draw and accept and negotiate instruments; to borrow money; and guarantee (with or without security) the indebtedness of others; to give mortgages and other securities on all or any of the assets of the Company including uncalled capital; to invest monies of the Company in such manner as the directors determine; to promote other companies; to sell the undertaking of the Company for cash or for any other consideration; and to distribute assets in specie to members of the Company.

3.5. The liability of the members is limited. (...)

3.6. The share capital of the Company is (\$10,000) divided into (ten thousand) shares of (one pound) each. (...)

(signed)
(КП.К.217)

Несмотря на явно выраженное своеобразие – именную насыщенность первого и вербализированный характер второго из приведенных отрывков, – мы тем не менее не склонны проводить параллель между ними и рассматриваемыми Ю. С. Степановым (Степанов, 1998) и Н. А. Ильиной (Ильина, 1994) соответственно номинативным Языком-1 и предикативным Языком-2, в принципе лишенными, в отличие от Языка-3, присутствия автора. Первый и второй отрывки представляют собой, на наш взгляд, особые виды номинации некоторых реалий внеязыковой действительности, отражающие своеобразие коммуникативных ситуаций их речепроизводства и соответственно своеобразие их номинирования. Иными словами, прагматическое значение текстовых произведений, т. е. их эгореференциальный план, оказывает влияние на избираемую автором форму и средства репрезентации описываемых реалий. Таким образом, мы далеки от мысли отрицать наличие в приведенных отрывках актуализиро-

ванного присутствия автора, а значит, и потенциального адресата. Этот фактор автоматически поднимает их на уровень Языка-3 в упоминавшейся иерархии, еще раз подтверждая, что актуализацию эгореференциальных параметров трудно, если вообще возможно, отделить от актуализации номинативных параметров текста.

Присутствие автора, как уже отмечалось, достаточно явно актуализируется в речевом произведении через категории времени и модальности. Предлагаемая А. В. Зеленщиковым (1998: 29) модально-темпоральная классификация текстовых образований позволяет, как мы помним, выделять дескриптивные или креативные типы текстов, которые, по нашему мнению, отражают своеобразие номинирования определенного положения дел в каждом конкретном случае. Так, текст-описание из романа И. Шюа «Болел бедняк» в плане временной репрезентации соотносим, скорее всего, со статичным положением дел в номинируемой картине внеязыковой действительности и относится, с точки зрения реализации в нем модальных характеристик, к дескриптивному типу текстов. Текст-обязательство (вариант договора), явно насыщенный вероальными элементами, не передавая последовательности осуществления номинируемых в нем обязательств, характеризуется, как и первый, статичностью, но относится к креативному типу текстовых образований.

В заключение следует еще раз отметить то, что номинативные параметры текстового образования, а соответственно и выбор средств для их актуализации, находятся в непосредственной зависимости от эгореференциальных, что подтверждает действительно доминирующий характер последних на уровне текстового образования, а соответственно и их влияние на риторическую картину текста.

5. Предикативные параметры текста. Наличие предикативных параметров на уровне текста можно считать допустимым, если предположить, что межуровневые взаимоотношения эгоцентричных параметров дают основания прогнозировать предикативность текстового образования. В этом случае, как мы помним, они выступают как вторичные независимые. Обоснование выдвигаемому предположению следует искать в самой трактовке понятия «предикативность», достаточно широкого по своей сути. В качестве конституирующего признака предложения, относящего информацию к действительности, предикативность формирует единицу, предназначенную для сообщения. Предикативность рассматривается также как свойство всякого высказывания, всякой

мысли, ее направленность на актуализацию сообщаемого (Ляпон, 1990: 393). Являясь сложнеструктурированным речевым произведением, текстовое образование, как и предложение, «отвечает», по нашему мнению, за отнесение сообщаемой информации к действительности и способно, следовательно, реализовывать свою направленность на адекватную актуализацию сообщаемого. При таком подходе текст предстает как сложное образование, наделенное полипредикативностью, значительную роль в реализации которой играют категории времени, наклонения и модальности, репрезентирующиеся в тексте в качестве эгореференциальных категорий с помощью соответствующих грамматических средств на уровне предложения и слова. Следовательно, можно предположить, что формирование предикативности на уровне текста представляет собой результат процесса вербализации говорящим, автором текстового произведения, некоторой информации, упорядоченной в соответствии с его опытом и знаниями на момент актуализации сообщения. Прежде чем приступить к передаче некоторой информации о состоянии дел в окружающем мире слушающему, говорящий в процессе речемыслительной деятельности конкретизирует, «предципирует» ее для себя, что можно выразить отношением $S' - O - S'$, отражающим тесную связь, существующую между процессами номинации и предикации.

Несмотря на то что проблема предикативности текстового образования не часто становится предметом специального обсуждения, следует отметить, что эти вопросы находят отражение в русле уже упоминавшегося здесь эйдетического подхода. В соответствии с этим подходом обосновывает свое понимание предикативности текста С. А. Мегентесов. Задав вопрос, ограничивается ли область действия предикации только рамками предложения, он пишет следующее: «Изначальный акт номинации-предикации, рождающий первичное имя, имя-слово, повторяется и на новом уровне — в образовании целого текста, который также может рассматриваться как имя в широком смысле, строящееся посредством рекурсивного ряда предикаций. Тем самым текст как сложное имя, подобно имени-слову и имени-высказыванию, в целом организован по субъектно-предикатному принципу» (Мегентесов, 1994: 87).

Изучая проблему имени в отношении к тексту, Ю. И. Сватко подчеркивает тесную связь, существующую между процессами номинации и предикации. Рассматривая динамическую по своей природе модель «предикат», автор отмечает, что она основана на механизме внешней предикации, «позволяющем охарактеризо-

вать предварительно идентифицированный предмет посредством приписывания ему ряда свойств, связей, отношений, открывающих путь к взаимодействию с другими предметами. В данном случае, таким образом, можно говорить о классификации, основанной на взаимодействии слова, предложения, текста с одноуровневыми единицами. Подчеркнем при этом, что описанные в первой модели (в рамках логического подхода) категории преобразуются в новых условиях в основополагающие категории “субъект/объект” (“не-предикат”) и “предикат”» (Сватко, 1993: 47). Результаты, получаемые при функционировании данной модели, интерпретируются в русле именной традиции, поскольку применительно к механизму внешней предикации на уровне текста, отмечает Ю. И. Сватко, каждый новый акт внешней предикации соотносится именно с именем. Это имя можно рассматривать (эйдетически) как результат предыдущего акта внешней предикации, дающего возможность представить некоторое данное имя как новое, поскольку приписывание называемому предмету новых свойств, связей, отношений автоматически делает его неаутентичным по сравнению с ним самим в единстве его прежних характеристик. Следовательно, каждый новый акт внешней предикации, согласно Ю. И. Сватко, соотносится с именем, продуктом предшествующего акта номинации-предикации (Там же: 47).

Изложенный подход, хотя и отличается от предлагаемого нами понимания предикации, реализуемой на уровне текста, но в целом подтверждает выдвигаемое нами выше предположение о взаимосвязи и взаимообусловленности номинативных и предикативных параметров текста. Процесс номинации, в свою очередь, неотделим от эгореференциальных параметров текста, поскольку структурное и смысловое своеобразие текстового произведения, как и его прагматическая направленность, непосредственно зависят от его адресата, на которого он ориентирован и для которого создается. Данные наблюдения можно передать с помощью формулы, которая включает те, что были выведены ранее на соответствующих этапах изучения эгоцентризма текстового образования: $S'[S'(S' - O)S']S''$. Содержимое круглых скобок передает субъектно-объектные отношения ($S' - O$) на уровне номинативных параметров текста, содержимое квадратных $[S'(S' - O)S']$ – связь номинативных и предикативных параметров, тогда как существенные для эгореференциальных параметров текста субъектно-субъектные отношения $S' - S''$, отражающие взаимодействие говорящего и адресата, размещены за квадратными скобками. В упрощенном виде взаимосвязь номинативных, предикативных

и эгореференциальных параметров на уровне текста может быть представлена в виде S'OS'S''. Данное обозначение в целом соотносится с буквенным представлением характера взаимодействия ставшего индивидуума на уровне развитого сознания и окружающего его мира и, в частности, социума, частью которого он себя сознает и который определяет развитие его интеллектуальных и языковых способностей на разных этапах его становления. Именно они лежат в основе формирования эгоцентризма речемыслительной деятельности, который, как мы показали, актуализируется в языке на уровне слова, предложения и текста, проявляясь во взаимодействии и взаимообусловленности их номинативных, предикативных и эгореференциальных параметров.

Можно предположить, что существование риторического пространства текста, являющегося результатом речемыслительной деятельности индивидуума, ориентированной на адресата, как и его эгоцентризм, обусловлены условиями трехмерности языкового пространства, имеющего фило- и онтогенетические основы. Так, мы считаем, что эгоцентризм речемыслительной деятельности индивидуума неотделим от процессов, связанных с восприятием и интерпретацией им окружающей его действительности. Становление эгоцентризма речемыслительной деятельности индивидуума проходит три основные стадии, неотделимые от развития его сознания и имеющие непосредственное выражение в языке. Первоначальная стадия, характеризующаяся существенной ролью восприятия как основы познавательной деятельности, является базовой для преобладающего развития номинативной функции языка. Последующая в результате активного взаимодействия с окружающим миром, детерминирующего становление всего комплекса субъектно-объектных отношений, характеризуется дальнейшим развитием сознания индивидуума и развитием его способностей к предикативному мышлению. На заключительной стадии вместе с формированием межсубъектных отношений на уровне развитого сознания, т. е. самосознания, проявляется способность индивидуума к эгореференциальному типу речемыслительной деятельности. Осознание себя частью окружающего мира способствует тому, что на уровне развитого сознания индивидуум, в соответствии со своим опытом, культурой и знаниями, реализует свое видение этого мира в языке, ориентируя его пространство относительно своего Я. Номинация, предикация и эгореференция, тесно взаимодействуя между собой, являются основными характеристиками сформировавшегося эгоцентризма речемыслительной деятельности ставшего индивидуума и находят непосредственное отражение в языке, традиционно

исследуемом с позиций семантики, синтаксиса и прагматики. Это находит отражение в загадке «трехмерности языкового пространства» и может быть непосредственно проанализировано и описано на материале конкретного языка. Эгоцентризм речемыслительной деятельности индивидуума является, таким образом, естественным, доступным наблюдению результатом его развития как существа индивидуального и социального. Именно изучению диалектического взаимодействия индивидуального и социального уделяется особое внимание представителями различных научных школ и направлений в лингвистике, психологии, философии и других гуманитарных дисциплинах. Успешное развитие как языковых, так и интеллектуальных способностей индивидуума невозможно вне социума. Общество способствует формированию его личностного Я, его самосознания, а следовательно, и полноценной речемыслительной деятельности, эгоцентричный характер которой определяется социальной природой Homo sapiens. Социальный и индивидуальный характер языка — это, в сущности, проявление лингвистического дуализма языкового знака, совмещающего в себе черты индивидуального (в плане содержания) и социального (в плане выражения).

ГЛАВА 4

РИТОРИКО-МЕТАТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО БЫТОВОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

При всем многообразии значений, соотносимых с термином «риторика», риторические теории не утрачивают связи с понятиями речевого воздействия, убеждения, а также с истинностными аспектами коммуникации. Вместе с тем в современной лингвистике принят и очень широкий взгляд на риторику как способ осмысления и организации действительности посредством символов (the study of rhetoric, then, enables us to understand and articulate the various ways individuals create and enact the worlds in which they choose to live (Foss et al., 1999: 4)). Такая точка зрения открывает возможности для описания в терминах риторики самого разнообразного языкового материала, не исключая и устные бытовые повествования.

Устные бытовые повествования (далее УБП) – термин, восходящий к работам М. М. Бахтина. Под этим обозначением понимается речевой жанр, обладающий специфической тематикой, которая связана с повседневным бытием человека, и характерный для неформальных условий общения (Бахтин, 1986); наибольшее внимание этому типу нарративов уделяли У. Лабов, М. Тулан, Л. Полани, Г. Файн, Д. Ганнен. Одним из наиболее интересных аспектов УБП является их статус как речевого хода и отношение их к дихотомии монолоичности диалогичности. С одной стороны, УБП как часть диалогического речевого события нацелено на непосредственное восприятие адресатом и формируется в тесном творческом союзе с аудиторией. Постоянное «соучастие» слушателей в построении нарративного речевого хода принимает самые разнообразные формы – начиная от минимальных реакций (*yeah, mhm, oh, really?*) и заканчивая активным вмешательством в процесс формирования нарративного текста: адресат может выдвигать свое объяснение произошедшим со-

бытиям, строить гипотезы о причинах поведения персонажей, предлагать путь альтернативного развития событий и т. д. Одним из проявлений такого нарративного сотрудничества является исследованный Л. Полани феномен диффузной истории (Polanyi, 1985b), или изложение события более чем одним рассказчиком, характерное для тех случаев, когда свидетелями или участниками происшествия были сразу несколько коммуникантов. Подобный способ повествования подразумевает высокую степень взаимной зависимости и межличностной координации, которую обычно соотносят с диалогическим событием.

Вместе с тем УБП характеризуется большей протяженностью по сравнению со средней репликой в пределах диалогического обмена (в среднем нарративная текстема может насчитывать от 100 до 5000 словоупотреблений). Значительная длина повествовательного речевого хода способствует долговременному распределению коммуникативных ролей говорящего и слушателя (слушателей), устанавливая более жесткую дифференциацию по признаку «ведущий – ведомый коммуникант», чем это свойственно диалогическому обмену в бытовых условиях. Поскольку традиционная, соответствующая европейским нормам вежливости модель неформального диалога подразумевает ротацию говорящих и относительно равное распределение права на говорение между всеми участниками диалога, то длительный речевой ход в принципе может быть воспринят как несанкционированное вмешательство в ход речевого события. (Идея, прекрасно разработанная в русле феминистической лингвистики. См. Недобух, 1990; Coates, 1986, 1989 и 1994; West, 1979; West, Zimmerman, 1985.) Вследствие этого многие исследователи считают возможным говорить о нарративе как о своего рода посягательстве на коммуникативные права слушателей (Toolan, 1988; Coates, 1994; Polanyi, 1985 a, b). Вот почему одна из основных задач рассказчика состоит в том, чтобы убедить слушателей в целесообразности подобного нарушения. Эта задача определяет многие характеристики основной, «информативной», собственно сюжетной части УБП: взаимное расположение описываемых происшествий и отбор деталей, а также задействованные языковые средства, которые работали бы на создание нарративного напряжения и активизацию слушательского интереса. Однако особенно актуальным для говорящего становится обоснование нарративного включения на инициальной и финальной стадиях УБП, т. е. в ситуациях, когда фокус внимания адресата перемещается с самого события на метатекстуальные аспекты повествования.

Под метатекстуальной стороной языкового общения принято понимать уровень инструкций относительно установления, поддержания и размыкания речевого контакта, которыми говорящий сопровождает высказывание (Козловская, 1993; Скат, 1991; Чхетиани, 1987). В рамках нарративного речевого хода метатекстуальность, в силу своего намеренного и последовательного характера, обладает характеристиками стратегии. Несмотря на различия в местоположении, инициальную и финальную стадии повествовательного фрагмента допустимо рассматривать как реализацию этой стратегии по следующим причинам:

- Обе стадии маркируют границы нарративной текстемы и выполняют функцию связывания УБП с диалогическим контекстом.

- Тактики, задействованные на начальной и конечной стадиях УБП, характеризуются заметным сходством (например, резюме, маркеры уникальности события и верификаторы могут присутствовать в обеих частях).

- Для начального и конечного этапов УБП типично особенно интенсивное взаимодействие говорящего со слушающим.

Реализация метатекстуальной стратегии в начальном и завершающем фрагментах УБП риторична, поскольку отражает представления коммуникантов о том, как именно должно строиться диалогическое событие, какие факторы могут оправдать долговременную «узурпацию» права на речевой ход одним из говорящих и как соотносятся коммуникативная ситуация с ситуацией нарративной, накопленный опыт – с речевым контекстом.

Инициальная стадия. Резюме. Обязательным действием, которое должно осуществиться на протяжении инициальной фазы УБП, является кодирование предстоящей текстемы как повествовательной; это означает, что данная текстема должна быть представлена как речевой ход (и дейктический режим) особого типа. С этой целью говорящие на начальной стадии УБП сигнализируют о том, что их сообщение удовлетворяет критерию нарративности, то есть содержит определенные категориальные признаки повествовательного текста (указание на отнесенность события к прошлому, на его дистантность в пространственно-временном плане, его динамизм, реальность и конкретность, его связь со значимыми изменениями во внешнем мире). В метатекстуально-риторическом плане автору повествования необходимо доказать своей аудитории, что запланированный нарратив формируется с учетом слушательских интересов. Представляется, что одним из критериев обоснованности нарративного включения для адресата является *уникальный* характер описываемого события (нарративной ситуации). Единичность происшествия, которое выступает как предметная тема

речевого произведения, составляет категориальную особенность нарратива (Labov, 1972). Именно поэтому для УБП характерно использование особых темпорально-локативных индикаторов, которые исключают повторяемость, тиражирование события; это противоречило бы повествовательной природе УБП и сблизило бы его с речевой формой описания. К числу таких индикаторов относятся, например, *once, one summer, on one occasion, this morning, that particular day; (I did know) one (Indian); another (undergraduate walked over to him)*. Однако необходимость компенсировать нарушение говорящим коммуникативных прав реципиентов налагает еще более жесткие ограничения на выбор события для нарратива: для оправдания слушательского интереса оно должно быть не только единственным, но и единственным в своем роде. Отсюда высокая концентрация на инициальной стадии УБП лексических единиц с семантикой необычного, неординарного, странного:

(1) Лаборант кафедры – о своей сослуживице:

C(f): There was rather a **peculiar** situation that they advertised for a secretary, they wanted an older girl and they wanted a graduate, but Nelly had been the junior and is certainly nowhere near old enough for the post, but because of various circumstances she somehow worked her way in (CEC, 142).

(2) This **fascinating but rather tragic** incident occurred at a place called Augsburg, in Bavaria (WAS, 176).

(3) Miss Law is a **strange** accidental acquaintance (CEC, 354).

Не менее скрупулезно автор нарративного речевого хода соблюдает требование *достоверности*. УБП, особенно в форме рассказа о необыкновенном происшествии, часто сопровождается верификаторами, то есть особыми единицами, функцией которых является подтверждение реальности события и точности его изложения. Эта верификация, как правило, носит персонализированный характер, так как бытовыми критериями истинности обычно служат наличие свидетелей, собственное участие в описываемых событиях или надежность источника сообщения (в рамках УБП надежность источника нередко отождествляется с конкретными лицами, достойными доверия).

(4) Brian: Well, I didn't really believe in ghosts but, er, something happened that ma well, makes me think twice about whether I believe or not. <...> Well, it's something that happened to my mother, actually. I mean all ghost stories you always hear from somebody else.

Anne: Yes, I was going to say I'd be more impressed by something that happened t... to you (WAS, 137).

Одной из распространенных тактик, помогающих обосновать уместность нарративного вкрапления в диалог, является заявление о связи между содержащейся в повествовании информацией и тематикой, обсуждавшейся ранее (требование *релевантности*). К способам реализации данного приема относится употребление сравнительных структур – (it's) like, it's the same as, а также упоминания об ассоциативном механизме возникновения нарратива (it makes me think about one case, that reminded me of one thing):

(5) A (f): Now this is a gorgeous lazy way out, you see. He' taken in by this, old soul (laughs) <...>, abiding faith in English literature, you know.

B (m): I remember – **it isn't quite the same thing, but** – a person when I was at school taking in the staff (CEC, 157).

(6) B (f): And they sort of hand it (the air gun) over to the police who dispose of it as they think fit.

A (m): **It's like Ella and Henry's flick-knife** <...> that he got (CEC, 713).

И наконец, нарративное вкрапление может быть оправданным, если оно соответствует коммуникативным намерениям слушающего и его представлениям о том, как должно строиться диалогическое событие. Неудивительно поэтому, что инициальная фаза УБП отмечена особенно активным взаимодействием потенциального рассказчика с партнером (партнерами) по общению. Так, нарративная текстема может конкретизировать какое-либо общее положение, сделанное слушателем, выступать в качестве примера или контрпримера. Данная функция УБП в пределах диалогической рамки часто эксплуатируется в аргументативном дискурсе (споре, обсуждении), в ходе которого нарративы могут играть роль доказательства *ad hominem* и реализовывать тактики аргумента к авторитету или к прецеденту:

(7) B (f): Persons of foreign origins who speak at conferences are, shall we say, very patchy in the –

C (f): Oh yeah.

B (f): ...contents of what they say.

C (f): I know. Well, you just never know.

A (m): They drop their voice just at the critical point, yes.

B (f): (неразборчиво)

C (f): Quite. We had a Jap who gave an absolutely sizzling good postgraduate seminar last week and nobody ever expected it a bit (CEC, 586).

Нередко нарратив функционирует как часть вопросно-ответного единства, реакция на «заказ», сделанный слушателем, что особенно характерно для рассказов о новостях.

(8) a (f): What turned you on to this job, I mean what's happening about Australia and everything?

A (f): It was fairly much desperation. I thought in the end I thought, "Well, there's only a month till Christmas now, I'll just go and work in one of the stores." <...> At the time I intended to do it for about two months <...> (CEC, 688).

Наконец, примером активного взаимодействия между инициатором нарратива и рассказчиком является ситуация, когда между двумя коммуникантами «поделены» нарратив и резюме. Резюме представляет собой далеко не единственный, хотя очень известный благодаря исследованию У. Лабова, способ оформления инициальной фазы устного повествовательного текста. Это краткий пересказ содержания нарратива, который занимает по отношению к повествовательной текстеме начальное или конечное положение. Благодаря незначительному объему и «телеграфному» стилю, а главное, в силу специфики своего функционирования, резюме может обладать некоторым сходством с газетным заголовком, которое, очевидно, осознается и иногда обыгрывается носителями языка². В структурном отношении резюме повторяет многие из традиционных компонентов УБП. На его протяжении обычно реализуется стратегия ориентации, состоящая в указании на пространственно-временные координаты события; в несколько редуцированной форме присутствует нарративное ядро (событийная динамика) основной части повествовательного тек-

² Например, в Корпусе разговорной речи Свартвика–Кверка зафиксировано УБП, где рассказчик сознательно имитирует в резюме такие особенности заголовка, как опущение артиклей и предпочтение глагольной формы *praesens historicum* формам прошедшего времени: *Very silly Simkin reads advert in paper and trogs along* (СЕС, 789). Такая аллюзия становится возможной только благодаря функциональному сродству между приемами, маркирующими начало статьи и бытового повествования.

ста и расположение смысловых акцентов. Рассмотрим следующий пример, иллюстрирующий основные структурные и содержательные особенности резюме как компонента нарратива:

- (9) I had a soldier I had a corporal who – stupid man! – got tight coming back home from leave from Lo... fr... er... quite a good co... soldier, too, corporal <...>, tall boy, but I can't remember his name now (CEC, 363).

Как видим, по данному резюме действительно возможно предугадать некоторые компоненты последующего рассказа. В частности, здесь сохранены ориентационные элементы: повествователем упоминаются центральные персонажи – участники события (солдат – подчиненный рассказчика и сам рассказчик); конкретизировано и время действия (возвращение солдата из отпуска). Отражена часть нарративного ядра, а именно фаза осложняющего действия, т. е. попадание одного из персонажей в неприятную ситуацию (got tight); содержание которой на данном этапе пока не проясняется. До определенной степени сохранен эвалюативный аспект планируемой текстемы, основной характеристикой которого является неоднозначность: персонажу одновременно присваиваются положительный и негативный атрибуты (stupid – quite a good soldier). Развернутая интерпретация события, предложенная в дальнейшем рассказе, полностью повторяет аксиологические и событийные параметры резюме:

- (10) <...> came back home from from London and spent the night at the Salvation Army hospital in Belfast and stole a pillowcase – stupid thing to do! – to put his small kit in. They saw him do it, probably was tight or something, and they arrested him before he before he left the premises almost, and I had to bail him out. I came down from Portrush or Portstewart and it wasn't very difficult... oh, no, <...> he wasn't bailed out, I beg your pardon, <....> he was put in front of the beak, and I said his conduct up to now had been exemplary and you he got a fine and he left the court <...> (CEC, 363–364).

На основании дальнейшего содержания текстемы становится возможным достроить образ ситуации, намеченный в резюме. Так, уточнению подвергаются локативные аспекты события (London, Salvation Army hospital, Belfast), специфицируется истинная причина возникновения сюжетной коллизии (stole a pillowcase), а также способ ее разрешения (he got a fine and he left the

court), проясняется роль рассказчика в произошедшем событии (I had to bail him out; I said his conduct up to now had been exemplary) и мотивируется оценочная амбивалентность, которую соблюдает рассказчик по отношению к своему персонажу (stole a pillow-case – stupid thing to do!).

Местоположение резюме накладывает значительный отпечаток на выполняемые им метатекстуальные функции. Обычно резюме в начальной позиции несет на себе следующую прагматико-коммуникативную нагрузку:

- **Идентификационная функция.** Постулат информативности, которому должно удовлетворять общение, не допускает сообщения сведений, уже имеющих у реципиента. Требованием информативности обусловлена и рассматриваемая функция резюме. Она подразумевает проведение обоими участниками нарративного речевого акта своеобразной инвентаризации знаний слушателя с целью установить, ощущает ли адресат необходимость в возникновении нарратива.
- **Информативная функция.** Резюме облегчает адресату восприятие последующей тематемы путем привлечения внимания к релевантным деталям события и сохранения основных аксиологических аспектов повествования.
- **Аперитивная функция** (термин, предложенный Р. Бартом (Barthes, 1977)). Если проводить дальнейшие параллели между заголовком в письменном тексте и резюме в УБП, то в качестве еще одной точки соприкосновения между ними можно выделить аперитивную функцию как способ захвата слушательского интереса. Эта функция в пределах резюме осуществляется следующими способами:

1. Рассказчик может строить резюме как сообщение о какой-либо необычной или интересной для слушателей ситуации, опуская при этом логические связки, необходимые для того, чтобы достроить картину ее возникновения, или не раскрывая существенных деталей события. При этом у слушателя должно остаться некоторое ощущение информационного голода. Так, в одном из рассмотренных нами примеров, обсуждая возможность показа школьникам фильма «80 Days round the World», коммуникант ссылается на опыт своего знакомого: Old Gavin Lunn showed it (the film) at his school today, но не упоминает, был ли этот опыт успешным или неудачным. Вариантом реализации этого же приема является использование на начальном этапе УБП оценочной

лексики. Поскольку семантическая специфика оценочного вокабуляра нередко заключается в угнетении денотативного содержания положительным или отрицательным компонентом значения, адресат оказывается неспособным вычленив «основание оценки» (Вольф, 1985), то есть причины, в силу которых рассказчик оценивает объект так, а не иначе. Конкретизация денотативного значения оценочной лексемы, а также разъяснение обстоятельств, мотивирующих позитивную или негативную оценку лица или события, передоверены нарративу.

(11) В (m): My professor is an incomprehensible nitwit.

А (m): Good heavens! (CEC, 468).

Как видно из настоящего примера, говорящему удалось привлечь внимание адресата при помощи категоричного и на данном этапе безосновательного суждения; предметное содержание словосочетания *incomprehensible nitwit* конкретизируется на основе дальнейшего нарративного контекста.

2. Подача заведомо неизвестных слушателю сведений как давно знакомых, презумпция осведомленности. Очень часто в таких случаях употребляются определенные местоимения и другие способы выражения категории определенности в анафорической функции.

(12) In fact I used one of those tea-bags which I've never used until Millie gave them to me in **that emergency** the other day (CEC, 174).

Приведенное резюме не содержит никаких сведений о том, в чем именно заключалась неприятность положения, в которое попал рассказчик. Такое оформление инициального фрагмента УБП должно стимулировать возникновение у адресата представления об информационной лакуне, содержащейся в его картине мира; и эта лакуна должна быть заполнена в ходе повествовательного эпизода.

3. Нагнетание лексем со значением неординарности, странности, уникальности произошедшего события:

(13) It's **really most extraordinary**. I don't think I'll ever get over it (WAS, 168).

(14) It was that **incredible** scene in the tent when he woke up (CEC, 730).

4. Выбор для нарратива предметной темы, представляющей коммуникативную ценность в данной культуре или для данной группы лиц. В качестве универсально интересной темы нередко выступает «смертельная опасность», которую многие считают эталонной с точки зрения вызываемого у слушателя отклика:

- (15) <...> he nearly killed himself in a car accident, like he had a head injury and he lost four pints of blood, and he bloody well shouldn't have pulled through <...>, I don't know how he did, you don't lose four pints and pull through; I don't know how he did it (CEC, 689).

В дискурсивном плане резюме представляет собой способ подведения слушателя к точке, откуда должно начаться повествование. Степень полноты резюме, соотношение информативности и функции привлечения слушателя зависят от условий коммуникативной ситуации, в частности от фоновых знаний реципиента. Это положение особенно удобно продемонстрировать на примере случаев, когда один из адресатов отсутствовал при начале рассказа, в результате чего возникает необходимость сжато изложить уже описанные события, не утрачивая при этом «аперитивных» свойств резюме. Среди УБП в нашей выборке имеется рассказ о том, как рассказчице совершенно случайно досталась хорошая швейная машина. Для того чтобы ввести в курс дела вновь прибывшую участницу диалогического события, автор совершает следующий речевой шаг:

- (16) I'm just explaining how I acquired a sewing machine by foul means, by writing an instruction booklet to one and saying, "I must have this if I'm going to write the booklet." When I'd written the booklet and it was all over, I rang up to the manager's secretary <...> (CEC, 86).

Резюме данного типа характеризуется некоторыми особенностями по сравнению с рассмотренными выше резюме в начальной позиции. В отличие от инициального, резюме в срединной позиции не допускает отсутствия логических связей между событиями, так как это затруднило бы понимание адресатом нарративной динамики. При этом опускаются все ненужные детали, способные затормозить действие; таким образом, требование информативности, предъявляемое к резюме, соблюдается здесь довольно строго. Данное требование, однако, не исключает аперитивности резюме: порядок членов предложения организован говорящим таким образом, что подразумевает движение от словосочетания, в которое входят оценочная лексема

foul и широкозначное слово means, к его конкретизации нарративным контекстом.

Наконец, резюме, помещенное автором в завершающей фазе нарратива, как правило, содержит концентрированное изложение событий и акцентирует «мораль» повествования, т. е. поясняет для слушателя цель, с которой был осуществлен повествовательный речевой ход. Финальное резюме подводит итоги описываемого события и облегчает слушателю интерпретацию значимости данного события для говорящего:

- (17) <...> it is incredible to think that a man got away with this once and then less than a week later he should meet his death in this way. Another quite extraordinary thing, of course, is the balloon came down and landed quite safely twenty-five miles away (WAS, 178).
- (18) You see, you could say it is an unkind act of fate that, having done *everything* correctly, she was borne aloft by the balloon and then, having fallen forty feet, which is medically impossible to survive if you hit a hard surface <...> she is alive and happily married and drives a car (WAS, 163).

Приведенные финальные резюме дублируют компоненты сюжета, на которых рассказчик желает заострить внимание реципиентов, а также раскрывают авторское представление о движущих силах, некоторых общих законах, определяющих динамику описываемых событий.

В завершение нам хотелось бы остановиться еще на одном явлении, которое вызвано интенсивным взаимодействием коммуникантов на начальном этапе УБП, — на «перепорученном нарративе», или случаях несовпадения автора резюме и собственно рассказчика. Подобные несовпадения обычно имеют место в ситуациях, когда потенциальный адресат сам идентифицирует историю, которую желает услышать.

- (19) Jane: Now look, er, what's all this, er, story about you and this car I've been hearing so much about? Everybody else has been hearing it, but you haven't told me.

John: Well, I was driving to Norwich with a friend <...> (WAS, 157).

Интересно, что рассказчик начинает повествование с ориентационного речевого шага, так как слушательского резюме оказывается достаточно для адекватного ввода текстемы в диалогический контекст. Однако иногда совместная деятельность рас-

сказчика и его потенциального реципиента в рамках создания повествовательного текста может выражаться в том, что резюме истории дублируется. В этом случае нарратив сопровождается двумя резюме, одно из которых принадлежит инициатору, а другое – собственно рассказчику:

(20) а (m): *Did you know that Geoffrey had been ill?*

А (f): *Geoffrey, this Peter oh.*

а (m): *Last Geoffrey, he was very ill indeed about a year ago.*

В (m): *Well, actually, yes, just at this time.*

А (f): *No, I didn't know.*

В (m): *Well, I went to South Africa and caught malaria, er, at the end of my trip, fortunately <...> (CEC, 242).*

Как мы можем заметить, между двумя версиями резюме, относящимися к одной и той же истории, существуют различия в степени подробности описания и ориентационных аспектах. Разделение «обязанностей» между инициатором нарратива и собственно рассказчиком в данном случае происходит следующим образом. Инициатор сообщает о самом факте серьезной болезни своего партнера по коммуникации (*Geoffrey had been ill*) и кодирует это событие как факт, дистанцированный от непосредственной ситуации общения (перспектива потенциального слушателя). Рассказчик специфицирует место действия (Южная Африка), обстоятельства происшествия (конец путешествия), а также приводит точный диагноз, представляя взгляд на происшествие с перспективы его участника. Результатом совмещения этих перспектив является стереоскопическая репрезентация события, которая становится возможной лишь благодаря тщательному учету возможных ожиданий партнера в отношении планируемого УБП.

Финальная стадия / Кода³. Кода, или финальная стадия, замыкает основную фазу УБП, в которой осуществляется непосредственно изложение происшествия, и реализует категорию повествовательной терминальности, то есть возвращает диалогиче-

³ Термин «кода» был введен в лингвистический обиход У. Лабовым (Labov, 1972) для обозначения завершающего компонента нарратива и воспринят многими нарратологами (Л. Полани, Г. Файном, Д. Таннен, Н. Вольфсон, Д. Шиффрин).

ское событие в грамматико-временном и семантическом плане к точке, откуда начинается повествование. Служащая для осуществления метатекстуальной стратегии, кода характеризуется тесной связью с инициальной фазой, родственной ей по морфологическим, прагматическим, дискурсивным характеристикам. Например, и начальная, и конечная стадии нарративного текста служат хорошим индикатором стилистической и жанровой принадлежности текста, а также могут эксплицировать иллюкутивную цель нарративного речевого акта (well, see what you think about this one; and just to improve my confidence; it was an entertaining little episode; ты сейчас умрешь со смеху).

Финальная стадия повествовательного текста во многих случаях сопровождается стереотипными высказываниями, которые эксплицитно указывают на смену речевого типа и режима интерпретации. К подобным «ритуальным» единицам коды относятся следующие: And here I am; This is all I can tell you; And that's it; That's the tale; Anyway, be that as it may; They were like that. Особенности местоименного употребления в пределах этих и некоторых других сигналов завершения УБП отражают процесс дистанцирования автора от произошедших событий. По наблюдению М. Тулана, говорящий в фазе коды подчеркивает свою принадлежность к непосредственной коммуникативной ситуации, а его роль как участника или свидетеля события должна нивелироваться. На языковом уровне перемещение фокуса внимания с нарративной (описываемой) на коммуникативную ситуацию реализуется путем использования единиц дистального дейксиса по отношению к описываемым событиям и их участникам, за исключением говорящего (особенно распространенным приемом является употребление местоимения *that*: that's it; that's the tale; be that as it may; they were like that) и проксимальных эгоцентриков для выражения плана говорящего (here I am). Использование местоимения *this* в предложении This is all I can tell you, очевидно, связано с восприятием нарративного текста как компонента диалогического обмена, т. е. как принадлежности коммуникативной ситуации, а не самостоятельного, равновеликого коммуникативного пространства.

Функциональное сходство коды с инициальной стадией нарратива прослеживается, в частности, на уровне общих фрагментов метатекстуальных приемов, помогающих обосновать необходимость повествовательного речевого хода. К этим приемам относятся, например, показатели уникальности описываемого события, которые с равным успехом используются в начальной и конечной фазах большинства УБП:

- (21) It's *one of the most remarkable* ballooning escapes I've heard of in my life (WAS, 163).

Подтверждение истинности сообщения, как и в начальной фазе УБП, осуществляется с помощью верификаторов, в качестве которых нередко выступает контрпример или аналог, предлагаемые либо непосредственно самим автором прозвучавшего нарратива, либо слушателем:

- (22) Говорящий рассказывает о своем посещении замка, принадлежащего аристократу, и о том, как плохо отапливаются там комнаты:

B (m): He invited us to look around his private apartments and do you know, there was simply no central heating of any kind in their rooms, they just had the odd electric fire, and no servants to rush around lighting.

C (f): And this was in a stone castle, you see, bloody cold.

B (m): A stone castle and excessively bloody cold.

a (f): Oh, if you go around one of the stately homes of England, you know, where they used to have enormous fires, they didn't keep you very warm more than about ten feet away.

C (f): M.

a (f): Because when we went to India last time, we happened to be up in Meihalia for Christmas and in this vast ballroom, er, of the hotel we happened to be in they were having a Christmas Eve dance. It's the only time I've ever seen people at a Christmas Eve dance wearing gloves and fur coats, fur hats <...> (CEC, 339).

Кода в данном случае представляет собой плод совместных действий рассказчика и его слушателей. Осуществление тактики резюмирования предыдущего текста берет на себя «осведомленная» слушательница (которая присутствовала при описываемом эпизоде) – и играет в формировании нарративного текста роль рассказчика-дублера (co-teller), средством реализации тактики служит высказывание *And this was in a stone castle, you see, bloody cold*. Согласование нарративной ситуации с глобальным событийным шаблоном, общепринятой системой представлений о старинных замках (*if you go around one of the stately homes of England where they used to have enormous fires, they didn't keep*

you very warm more than about ten feet away) осуществляется другой слушательницей. Она же предлагает аналогии к первому рассказу в подтверждение высказанного ею общего положения (этот нарратив открывается словами *Because when we went to India last time*) и тем самым заявляет об истинности утверждения, которое лежит в основе первого УБП.

Особого внимания заслуживает роль коды как средства обеспечения связности речевого события. В диалогических фрагментах, которые содержат общую гипертему и включают несколько УБП на правах расширенных речевых ходов, кода одного из нарративов нередко содержит экспликацию гипертемы. В этом случае открывается возможность распространения коды на несколько УБП сразу (случай, рассматриваемый Дж. Коутс при анализе диффузного повествования (Coates, 1995)). Поскольку в момент, когда нарративное ядро уже передано слушателям, текст приобретает относительную независимость от рассказчика, кода может быть реализована и слушателями.

- (23) Две сотрудницы обсуждают стиль руководства, характерный для их начальника:

A (f): I rang up on Thursday because I had a letter, an official letter, ages ago, from, er, Miss Baker, saying, "Come at ten o'clock." So I rang up saying "I'm terribly sorry but I shan't be with you until five past ten." Well, the immediate reaction I got, which rather tied me, was "Why?" <...>

B (f): That's all right cos the trouble is, he'll be there himself soon soon after nine, isn't he, and he expects everyone else to do likewise. What he doesn't realise is that not everyone can work as hard as he can (СЕС, 130).

Благодаря общности когнитивного поля, создавшегося в ходе повествования между автором и слушателем, и владению фоновой информацией, которая позволяет делать выводы относительно причин поведения данного персонажа, адресат оказывается в состоянии оформить завершающую часть нарратива самостоятельно.

Рассуждая об оптимальной структурной организации повествовательного текста, У. Лабов замечает, что устный нарратив должен строиться таким образом, чтобы слушатель не задал повествователю вопроса «Ну и что?». Нам представляется, что существенным признаком коммуникативно оправданного УБП, помимо стройного и в меру напряженного сюжета, может стать и наличие метатекстуальных тактик, которые одновременно обес-

печивали бы верную интерпретацию слушателем описываемого события. Так, для стадии коды типична ситуация, когда нарративная последовательность событий закрывается сообщением о том, что произошедший эпизод был кому-либо пересказан. Повествование, таким образом, предстает как особый ритуал завершения события, его отнесения к сфере прошлого опыта. При этом реакция других персонажей на нарративную ситуацию должна служить адресату ориентиром при анализе происшествия. Автор обычно стремится к тому, чтобы модальность слушательского восприятия нарративной ситуации совпала с приведенным в финале УБП мнением третьих лиц, в том случае если он сам подтвердит правомерность этого мнения:

- (24) So he said, "Right, well, you'd better ring me then," so I said, "OK, well, I'll ring you tonight some time." So, I told the others about it and we all had to have hysterics again (СЕС, 701).

Упоминание о ситуации рассказывания не только сигнализирует о полноте реализации ядерной стратегии в данном тексте и готовящемся переходе от нарративной формы речи к собственно диалогической. В эпизоде одновременно заложена оценка события как смешного, которая отражена в реакции рассказчицы-героини и ее слушателей (we all had to have hysterics again).

Как более характерную для завершающей фазы можно отметить и тактику мотивирования. Последняя представляет собой атрибуцию целей, осуществляемую к поведению персонажей нарративного фрагмента:

- (25) My problem was a bit unfathomable. I I I still don't really quite know whether he had nasty designs or whether he was just pathetically lonely. <...> He was particularly upset that I couldn't keep him entertained in the evenings rather than in the mornings (СЕС, 704).

Мотивирование, задачей которого является достраивание образа нарративной ситуации говорящим и собеседником до состояния логической непротиворечивости, смыкается в функциональном плане со стратегией ориентации, она обеспечивает соответствующий информационный фон для повествовательной канвы.

Своеобразие коды и приемов ее реализации определяется динамическим характером повествовательного типа речи. Благодаря своей конечной позиции кода позволяет установить более тесные взаимосвязи между нарративной ситуацией, с одной стороны, и настоящим и будущим — с другой. Инициальная фаза

в некоторых случаях также может содержать проспекции и отсылки к положению вещей, которое сформировалось по завершении описываемого события:

- (26) C (f): And you remember when we went we all went (laughs) we all went into this (laughs) oh, it's all forgotten and forgiven now, don't worry, but (laughs) you were pretty rotten (CEC, 557).

Однако вплетение события в темпоральный континуум и установление связей нарративной ситуации с настоящим и будущим более характерно для завершающего этапа повествования. Данная особенность чаще встречается в устных, чем в письменных нарративах: при отсутствии в устной речи специальных средств, позволяющих разграничить проспекции и ретроспекции, временная последовательность событий в УБП носит более фиксированный характер, чем в художественной литературе (Prince, 1973). Таким образом, на стадии коды становится особенно заметным движение как физического времени, которое прошло от первого изложенного события до последнего, так и повествовательного времени — с момента завязки до разрешения нарративного конфликта. Материальным свидетельством движения времени служат изменения, которые произошли в нарративном или объективном мире вследствие изложенных событий. По мнению Л. Полани (Polanyi, 1985b), именно рассказ о существенных изменениях в поведении, привычках, картине мира персонажей и составляет основную цель любого повествования. Так, в примере (27) приводится кода достаточно протяженного нарративного фрагмента, в котором героиня получает ложное известие о гибели ее мужа при крушении самолета:

- (27) So, in fact, er though I was never worried by air travel, I think, you know, now I will think every time I go on the airplane, "Is this one going to come down, er, when it's taking off?" (WAS, 184).

В отсутствие коды, намечающей для слушателя «верный» (т. е. приемлемый для говорящего) способ интерпретации события, выводы из нарративной ситуации могли бы носить произвольный характер. Так, например, основное содержание данного УБП вполне возможно было связать с неэффективной работой информационных служб или недопустимостью ошибок у пилота при управлении самолетом. Однако кода помогает адресату определить, что перед ним — образчик персонального мифа о возникновении у говорящего определенных представлений в связи с воздушными

путешествиями. Оказывая адресату помощь при выявлении наиболее значимых изменений, произошедших в результате описываемого события, говорящий использует одну из древнейших функций нарратива как способа хранения человеком знаний и интерпретации им реальности (Harre, 1998).

Таким образом, мы можем предположить, что связь устного бытового повествования со сферой риторики не ограничивается способностью нарратива функционировать как прием, подтверждающий истинность или неистинность того или иного речевого хода в структуре диалогического события. Мы установили, что для обеспечения позитивного восприятия слушателем нарративного речевого хода, который в определенной мере нарушает коммуникативные права адресата, автор повествования должен убедить слушателя в том, что:

- событие, формирующее сюжет повествования, необыкновенно, интересно, ново, неординарно, беспрецедентно и в силу этого может восполнить какие-либо пробелы в знаниях адресата;
- это событие абсолютно достоверно, гарантией чего могут служить личное участие говорящего или подтверждения, полученные от авторитетных лиц;
- событие имеет непосредственное отношение к данному тематическому фрагменту диалога;
- нарративный речевой ход совершается для блага слушателя и во многих случаях — по его же настоянию.

В результате мы сталкиваемся с положением, при котором метакоммуникативные приемы, маркирующие начало и завершение повествовательного речевого хода, берут на себя и функцию апологии нарратива, напоминая некоторые бытовые приемы обоснования (Свинцов, 1990), и демонстрируют тесную связь риторики и метакоммуникации.

ГЛАВА 5

ЧАСТИЦЫ КАК СРЕДСТВО КОГЕЗИИ МОНОЛОГА

Риторика, предмет которой — человек говорящий, занимается изучением различных способов организации монологического дискурса, предназначенных для максимально успешного достижения коммуникативных целей говорящего. Каждое средство организации текста в принципе может рассматриваться как риторическое.

Предметом рассмотрения в данной главе является функционирование английских частиц *after all*, *actually*, *anyway* и других в качестве средств, способствующих установлению или экспликации логических связей между отдельными высказываниями внутри монолога. Наша цель заключается не только в том, чтобы показать специфику функционирования указанных частиц в монологе и разнообразие их риторических возможностей, но и наглядно продемонстрировать их особый статус в языковой системе.

В отечественной англистике термин «частица» традиционно используется в рамках морфологии и теории частей речи. Морфологический класс частиц в английском языке выделяется, очевидно, под влиянием русской классификации частей речи, поскольку в классификациях, предлагаемых английскими исследователями, слова, относимые к частицам, не выделяются в отдельную часть речи, а включаются в класс наречий. Сам термин «частица» в традиционных английских грамматиках и исследованиях обычно не определяется; хотя отдельные, причем совершенно разные по функционированию, служебные слова называются частицами (см., например, Quirk et al., 1985; Lyons, 1981: 210).

Гораздо большие возможности для исследования дает взгляд на частицу с точки зрения теории коммуникации, прагматики и дискурса. Здесь явно намечается определенная тенденция считать частицами слова, обладающие специфическими коммуника-

тивно-функциональными особенностями. С. Левинсон, например, относит слова типа *anyway, actually, after all* к дискурсным частицам (*discourse particles*), используемым в целях речевого взаимодействия между говорящими. Он же в главе, посвященной дискурсному дейксису, указывает на наличие в английском языке большого числа слов и выражений, указывающих на логические связи между высказыванием и предшествующим ему дискурсом (Levinson, 1994: 87). К этим словам он относит, кроме уже упомянутых частиц, также союзы типа *therefore, but*, наречные выражения *to the contrary, all in all* и другие.

Д. Шиффрин в монографии, посвященной дискурсивным маркерам, проводит довольно важное для нас градуирование маркеров с точки зрения их соотносимости с логическими понятиями. Так, к понятийным (*ideational*) маркерам она относит традиционные союзы типа *but*, а к непонятийным (*non-ideational*) – слова типа *oh* (обычно относимые к междометиям). Последние она называет частицами. Таким образом, очевидно, что, при схожести выполняемых функций, одни маркеры имеют четкий денотативный смысл и соотносятся с определенным логическим понятием уже внутри языковой системы, а другие приобретают семантическое наполнение лишь в конкретном дискурсе. Между этими двумя крайними полюсами находятся единицы типа *after all*, которые имеют вполне определенную «базисную» семантику внутри языковой системы, то есть основное языковое значение вне контекста, но при этом, попадая в конкретный дискурс, могут ее видоизменять – частично или полностью (Schiffirin, 1987). В этом плане интересно отметить точку зрения Хэллидея, который, указывая на способность слов типа *after all* и *anyway* выступать в качестве союзных единиц (*conjunctive items*), пишет, что они, не являясь когезивными средствами как таковыми и имея определенную семантику (*after all*, в частности, имеет значение «принимая во внимание все упомянутые факторы, нужно помнить еще и то, что»), становятся таковыми в контексте (Halliday, Hasan, 1976: 270).

С. Харви предлагает называть языковые элементы с преимущественно коммуникативной направленностью, чья функция состоит в том, чтобы маркировать высказывания с точки зрения коммуникативных целей говорящего, иллокутивными частицами. Иллокутивные частицы служат для информирования собеседника о том, как следует воспринимать высказывание (Hervey, Higgins, 1999: 52). Некоторые иллокутивные частицы, по мнению автора, могут выступать в качестве дискурсивных коннекторов, эксплицируя логические связи между высказываниями (Hervey, Higgins, 1999: 48).

Таким образом, мы будем исходить из того, что частицы представляют собой особую группу слов внутри прагматического кода языка, которые, с одной стороны, сближаются с другими прагматическими единицами в силу своей преимущественной ориентированности на иллокуцию и в конечном счете на максимально успешную реализацию коммуникативных целей, а с другой стороны — отличаются от них в силу изменчивости своего прагматического значения, максимальной зависимости его от контекста. Именно ориентированность частиц на иллокуцию позволяет отнести их к области риторики. Как показывает обзор исследований, уделяющих внимание частицам, а также наш собственный анализ реального употребления частиц в дискурсе, иллокутивные частицы имеют широкий спектр риторических возможностей, позволяя говорящему либо более ясно выразить свою мысль, либо убедить собеседника. Они могут употребляться как в диалоге, так и в монологе, причем в последнем случае особо выделяется способность отдельных частиц выступать в качестве средств логической когезии или, другими словами, в дискурсно-дейктической функции. Наше понимание когезии идет в русле предложенного Хэллидеем разграничения когезии (cohesion) и когерентности (coherence) в дискурсе. Первое подразумевает эксплицитные семантические связи между предложениями и более крупными отрывками текста, реализуемые посредством дискурсивных коннекторов и анафорических средств. Когерентность, с другой стороны, — это не выраженная эксплицитно логико-семантическая связность текста (Halliday, Hasan, 1976: 11). Выступая в роли дискурсивных коннекторов, частицы успешно конкурируют с традиционными когезивными средствами, такими как союзы и вводные слова, особенно в неофициальном, разговорном монологическом дискурсе. Роль частиц в организации когезии также может рассматриваться как риторическая.

Наше наблюдение за употреблением частиц в различных монологических текстах позволяет выделить три основных типа монолога с точки зрения особенностей употребления в них частиц:

- письменный подготовленный монолог (рассказ, монография);
- устный подготовленный монолог (лекция, выступление);
- устный разговорный монолог (короткое выступление-экспромт, монолог внутри диалога).

Поскольку в данной главе в центре нашего внимания будет функционирование частиц в третьем типе монолога, остановим-

ся на нем более подробно. Разговорный монолог нередко представляет собой, по сути, квазимонолог. Он может состоять из небольшого количества предложений. Здесь для нас принципиально важным фактором, позволяющим считать такое употребление частицы монологичным, является то, что оформляемое ею высказывание логически увязывается непосредственно с предшествующим высказыванием(-ями) того же коммуниканта, а не является непосредственной реакцией на реплику собеседника. С нашей точки зрения, подкрепленной проведенным анализом, в отношении употребления частиц разницы между состоящим из нескольких предложений разговорным квазимонологом и пространственным монологом нет, и соответственно квазимонолог стоит ближе к монологу, чем к диалогу.

В качестве иллюстрации разницы между монологическим и диалогическим употреблением частиц рассмотрим следующие примеры:

(1) – You know him pretty well?

– **Oh**, I met him a few times (F: 630).

(2) – Now what is it?

– I suddenly remembered that time – **oh**, years ago when I was quite little – when we were staying in North Wales – and you two had a row about toothpaste or something.

– It was cold cream stuff for sunburn (Pr.: 245).

В примере (1) частица **oh** употребляется в качестве маркера замешательства как непосредственная реакция на вопрос собеседника; в сущности, само замешательство говорящего как раз и вызвано предшествующим вопросом. Такое употребление **oh** следует признать чисто диалогичным. Пример (2) также начинается с диалога: собеседник реагирует на вопрос говорящего. Однако дальше он переходит к монологу, который как бы включается внутрь диалога: после нескольких высказываний диалог продолжается – в разговор опять вступает второй собеседник. Признать три высказывания квазимонологом нам позволяет факт наличия между ними внутренней логической связи, выраженной на поверхности повтором союза **when** и союзом **and**. С точки зрения употребления частицы принципиально важным является то обстоятельство, что **oh** выступает не как реакция на реплику собеседника, а как средство, отражающее внутренний ход мыслей самого говорящего, в данном случае его эмоциональную реакцию на собственное высказывание.

Употребление частицы в примере (2) следует признать монологичным, идентичным ее употреблению в чисто монологическом дискурсе. При этом необходимо отметить, что употребление той или иной частицы нередко зависит от типа дискурса. Для письменного монологического дискурса свойственно частое употребление союзов и союзных наречий. Что же касается частиц, то некоторые из них практически не употребляются в этом типе дискурса. В частности, здесь вряд ли может быть употреблена частица *oh*; что же касается *actually*, то она чаще всего используется в письменном дискурсе только в своем базисном значении «в действительности», то есть не может становиться коннектором. Существуют, однако, частицы с более широким спектром употребления – *after all*, *anyway* (особенно в функции маркера возврата к первоначальной теме), *indeed*. Эти частицы встречаются как в письменном, так и в устном монологическом дискурсе, включая разговорный квазимонолог. Примеры (3) и (4) иллюстрируют употребление *anyway* в указанной функции в разных типах монолога.

- (3) It is a poor advertisement for the concept of free speech by papers which squeal at the slightest encroachment on their rights to express themselves freely. **Anyway**, on to that other tabloid fighter against Europe, the Daily Mail (The Guardian, July 10 2000).
- (4) Versatile lad, that; the oboe's his instrument, really. **Well anyway**, the reporter chap must have got the story wrong, or not been listening, or something. **Anyway**, there it was in the Post (KA: 7).

Пример (3) взят из аналитической статьи в британской газете, а пример (4) – из художественного произведения, содержащего стилизацию современной разговорной речи.

В целом разговорному монологу, в отличие от письменного, а также устного подготовленного монолога, свойственна спонтанность и обрывистость, отражающая спонтанный, неупорядоченный характер мыслительных процессов говорящего, которые протекают не в соответствии с чистой логикой, а под влиянием постоянно меняющейся ситуации общения, поведения собеседников, новых, нередко противоречивых мыслей, возникающих в голове говорящего.

Частицы нередко оказываются очень полезными средствами, предоставляемыми языковой системой, поскольку с помощью них говорящий может сориентировать собеседников в сложном мире своих мыслей и логико-мыслительных переходов.

Рассмотрим несколько примеров разговорных монологов, содержащих частицы.

- (5) “I’ve got a proposition to make.” She sniffed. “**Sorry**. A proposal. **Actually**, I’m waiting around for someone, a girl to come back from Australia. And what I’d very much like for two or three weeks is a companion” (F: 647).

В примере (5) мы наблюдаем замешательство героя. Он, подбирая слова, старается сделать предложение малознакомой девушке, причем так, чтобы ее не отпугнуть. Замешательство проявляется в употреблении кратких обрывочных фраз, пауз и коннекторов для заполнения этих пауз. Одним из коннекторов является союз *and*, использование которого в начале предложения характерно как раз для разговорного дискурса. По употреблению частиц можно судить о ходе мыслей говорящего. После первого вводного высказывания он осознает, очевидно, что слово *proposition* звучит слишком напыщенно, а может быть и непонятно, для собеседницы, принадлежащей к другому социальному классу. Этим объясняется появление частицы *sorry*, за которой следует более нейтральное существительное. Далее герой переходит к сути дела, и в качестве логического перехода употребляется частица *actually* в функции конкретизации (введения более конкретных деталей).

- (6) ...in the end an overwhelming majority decided in favour of Rupert Bateman. “Pongo’s the lad,” agreed Jimmy. “**Anyway**, he walks like a cat – always did. **And then**, if Gerry should waken up, Pongo will be able to think of some rotten silly thing to say to him. **You know**, something plausible that’ll calm him down and not rouse his suspicions” (AC: 15).

В примере (6) частица *anyway* маркирует наиболее существенный аргумент в пользу ранее высказанного мнения говорящего. Составная частица *and then* вводит дополнительный актуальный аргумент (о способности этой частицы вводить актуальный аргумент со смысловым оттенком усиления предыдущего аргумента мы уже писали в связи с анализом переводческих соответствий русским частицам в английском языке (Минченков, 2001: 59)). Составная частица *you know* употребляется в функции конкретизации: говорящий уточняет, что он имеет в виду под достаточно абстрактным *rotten silly thing*.

- (7) Darlington was small in those days, still is, I suppose, but it was a challenge, and the students are quite good. **Anyway**, I

was happy enough, but unfortunately Janet didn't like it, took against the place as soon as she saw it. **Well**, the campus is a bit bleak in winter, outside the town, **you know**, on the edge of the moors. **Well, anyway**, we could not sell the house here, there was a freeze on mortgages (DL: 6).

В примере (7) частица *anyway* сначала употребляется в функции подведения итога, к концу примера — в функции введения наиболее существенного аргумента. Частица *well* указывает на колебание говорящего: в первом случае она заполняет паузу, когда говорящий раздумывает, как лучше объяснить неприязнь жены к новому месту; во втором случае она сигнализирует о том, что он уже исчерпал все аргументы и не знает, что еще сказать. Наконец, частица *you know*, с одной стороны, выполняет типичную для себя функцию указания на актуальную информацию, а с другой стороны, обеспечивает связность монолога.

Приведенные примеры показывают разнообразие когезивных функций, выполняемых частицами. В рамках данной главы нам хотелось бы остановиться более подробно на когезивных функциях частиц *anyway*, *actually* и *after all*.

Базисным значением частицы **anyway** следует признать «несмотря ни на что, в любом случае». В конкретном контексте, однако, базисное значение этой широко употребительной частицы может либо уточняться, либо видоизменяться.

Достаточно часто *anyway* связывает предваряемое ею высказывание с непосредственно предшествующим. Здесь можно выделить, в частности, такую ее функцию как «ограничение (сужение) предыдущего высказывания». Рассмотрим следующую пару примеров:

(8) “What was the delusion planned for tonight?”

“That I was your last true friend.” She added quickly, “Which wasn't all a lie. The friend part, **anyway**” (F: 484).

(9) “We both had careers, but —”

“What was hers?”

“She was in advertising. Copy-writing. Not a world I liked very much. Or its men, **anyway**” (F: 335).

Мы видим, что в обоих примерах частица *anyway* употребляется для того, чтобы ограничить смысл предыдущего высказывания до некоего минимума, в истинности которого говорящий абсолютно уверен. Возможна и другая интерпретация данной

функции – автокоррекция. Говорящий не уверен в абсолютной справедливости своего первого высказывания и создаст второе, более взвешенное высказывание, в определенной степени корректирующее первое. Частица служит для экспликации подобного смыслового сдвига. Последнее хорошо видно в примере (10):

- (10) “The first act has apparently required you to attract me. **Anyway**, that’s been the effect” (F: 221).

Другая распространенная функция *anyway* в определенной степени противоположна предыдущей. Если в предыдущем случае говорящий использовал частицу для коррекции своего высказывания, то здесь оформляемое частицей высказывание подкрепляет только что сказанное. Рассмотрим следующие примеры:

- (11) “I’m sorry. But I’ve never had a psychical experience in my life. **Anyway**, I’m an atheist” (F: 113).
- (12) “It’s remote. Let’s face it, bloody remote. And you’d find the people in the villas pretty damn dull, **anyway**” (F: 46).
- (13) It was frightfully important she told me, as if in confidence, that “we” were represented abroad by the right type; but it was an awful bore, all the posts had to be advertised and the candidates chosen by interview, and **anyway** they were having to cut down on overseas personnel (F: 21).
- (14) “They aren’t English. And absolutely under Maurice’s thumb. We hardly see them **anyway**. They’ve only been here very briefly” (F: 218).
- (15) I knew he could be bluffing, but I had a strong idea that he wasn’t – and **anyway**, if he was holding them under duress, he wouldn’t risk using such an obvious place (F: 451).

В примерах (11) и (12) частица *anyway* используется для указания на то, что второй аргумент еще более важен, чем первый. В частности, в примере (12), где речь идет об ограниченности круга общения собеседника, говорящий сообщает, что даже если слушающий и доберется до этого отдаленного места, его круг общения все равно не расширится, поскольку разговаривать там особенно не с кем. Таким образом, притом что второе высказывание объективно усиливает предыдущее, предоставляя дополнительный аргумент, частица указывает также и на меньшую значимость первого аргумента в сравнении со вторым.

Однако так происходит не всегда. Пример (15) иллюстрирует случай, когда частица просто выделяет дополнительный важный

аргумент, становясь фактически синонимом союзного наречия *besides*. Предыдущее высказывание является не аргументом, а скорее общим выводом, так что высказывание с частицей присоединяется к нему как своего рода дополнительное соображение, пришедшее в голову задним числом.

В примерах (13) и (14) частица *anyway* указывает на то, что вводимое ею высказывание является самым главным аргументом среди более чем двух аргументов. В частности, в примере (14) говорящий с помощью частицы сообщает, что хотя невозможность получить достоверную информацию от определенных людей объясняется, в частности, тем, что они не англичане и находятся под влиянием главного героя, эти причины не самые важные, поскольку, даже если бы они не существовали, информацию от этих людей не получить уже просто потому, что с ними невозможно встретиться.

Особый, не очень часто встречающийся, случай употребления частицы *anyway* связан с ее способностью имплицировать значение контраста между двумя высказываниями, путем привнесения значения уступительности в первое высказывание. Рассмотрим следующий пример:

(16) “That theological talk last night?”

“Yes. He asked me to say that.” She gave a little half-apologetic glance up. “And I do believe it a little, **anyway**” (F: 345).

Само по себе высказывание *He asked me to say that* вовсе не несет в себе значение уступительности. Но при появлении последующего высказывания с частицей и интенсификатором *do* логические отношения меняются, два высказывания приобретают следующий смысл: «**хотя (пусть)** он и попросил меня произнести этот монолог, но это не значит, что я совсем не верю в то, что говорила». Похожие явления можно наблюдать и в другом примере:

(17) “I hope I didn’t waken you,” says Morris.

“Oh, no. **Anyway**, can’t let you go without a word of goodbye” (DL: 91).

Логические отношения, выражаемые здесь частицей, можно передать как: «**даже если** вы меня и разбудили, я все равно должен был исполнить свой долг гостеприимства».

Еще две функции частицы *anyway* связаны с ее функционированием в более объемных отрезках текста, когда частица связывает вводимое ею высказывание не с одним, а несколькими предыдущими

высказываниями в совокупности. Это касается, во-первых, использования *anyway* в функции перемены темы или возврата к изначальной теме. Как мы уже отмечали выше, в этой функции данная частица выступает довольно часто, причем как в разговорном, так и письменном монологе. Рассмотрим здесь еще два примера:

(18) “Didn’t the others join in?”

“Hardly said a word. Too damn embarrassed. **Well anyway** suddenly wham this Julie girl shouted a whole string of really bloody nasty insults” (F: 623).

(19) “I thought you might have read about it. No? **Anyway**, a rather clever producer there called Tony Hill put us both, June and I, in the main part” (F: 335).

В примере (18) монолог говорящего прерывается вопросом собеседника, за которым следует ответ на этот вопрос. После этого говорящий возвращается к своей логической линии рассказа, и этот возврат к первоначальной теме разговора маркируется с помощью частицы. В примере (19) говорящий сам прерывает основную линию повествования обращением к собеседнику (здесь, кстати, проявляется интересная черта монолога — даже в относительно длинных монологах, не прерываемых репликами собеседников, могут встречаться элементы диалога со слушателем и, более того, с читателем), озвучивает его невербальный ответ и возвращается к первоначальной теме.

Кроме смены темы, частица *anyway* может использоваться также и для завершения темы:

(20) He said the last bit with a sort of smirk, as if something had happened we don’t know about. He’s terrible, he won’t stop playing games. **Anyway**, I hope you know what it’s all about (F: 402).

(21) He asked us what we had read at Cambridge — which of course allowed him to demonstrate his own reading. Then the contemporary theatre, he obviously knows that very well. What’s going on in the rest of Europe. **Anyway**. Cultural credentials thoroughly established... (F: 337).

Как видно из только что приведенных примеров, частица *anyway* маркирует быстрое, порой резкое, завершение темы, обычно с элементом резюмирования сказанного выше (резюме содержится во вводимом частицей высказывании), причем, как правило, это происходит тогда, когда говорящий не знает, что еще можно сказать, или не хочет ничего больше говорить на эту тему.

Обратимся теперь к рассмотрению функций частицы *after all*. Как уже отмечалось, базисное значение этой частицы можно сформулировать как «принимая во внимание все упомянутые факторы, нужно помнить еще, что». Очевидно, что данное значение связано с логическим значением уступительности, и действительно, как показывает наш анализ, в монологическом дискурсе частица *after all* часто выполняет функцию выражения уступки. Вот несколько примеров, иллюстрирующих этот тезис:

- (22) I knew on the one hand that he was playing some kind of trick on me. On the other, I felt that he had **after all** taken a sort of liking for me (F: 140).
- (23) He stared at me, with those eyes that seemed older than one man's lifetime, and a little gleam of sympathy came into his expression, as if **after all** he might have put too much pressure on a very thin lever (F: 540).

Учитывая способность частиц менять свое значение, было бы интересно проанализировать, как происходит идентификация этого значения. В примере (22) уступительность в том смысле, что одна пропозиция истинна вопреки другой, выявляется прежде всего благодаря наличию вводных слов *on the one hand* и *on the other hand*, эксплицирующих контраст между двумя пропозициями. Во-вторых, читателю известны пресуппозиции автора монолога, считающего, что другой герой безразлично к нему относится и лишь использует его в своих экспериментах. В примере (23) пресуппозиция о жестком характере проводимого эксперимента вступает в контраст с семантикой существительного *sympathy*, и этот контраст становится еще более очевидным при появлении во вводимом частицей высказывании наречия *too*. В результате данный текст передает смысл, заключающийся в том, что, несмотря на свое убеждение в том, что жесткость необходима, герой понимает, что перестарался.

В других контекстах частица *after all* может выполнять другую свою распространенную функцию — функцию выражения мотивации. Рассмотрим следующие примеры:

- (24) I found myself formalizing my speech, as if I too was pretending to be in a drawing-room of forty years before. **After all**, it was a masque, and I wanted to play my part (F: 173).
- (25) I did not know what to say. I did not like to disappoint him, to admit defeat. I had my own foolish pride. **After all**, I was a founder-member of the Society of Reason (F: 311).

Общий смысл первого высказывания в примере (24) заключается в том, что герой начинает входить в роль, смысл второго – в том, что он присутствует на своеобразном маскараде. Культурологические пресуппозиции позволяют с большой степенью вероятности заключить, что герой делает то, что он делает, *поскольку* он находится на маскараде. Таким образом, идентифицируется значение мотивации: вводимое частицей высказывание объясняет предыдущее. То же наблюдается и в примере (25).

Кроме того, встречаются случаи, когда достаточно сложно отнести значение частицы *after all* к какому-либо четкому логическому типу. Проанализируем следующие примеры:

(26) I began to swing the other way – **after all**, she had warned me, I was to have my credulity put on the rack again (F: 230).

(27) If he invited me, I could easily make some excuse and not go. But if he didn't, then **after all** I would have Alison to fall back on. I won either way (F: 207).

На первый взгляд кажется, что в примере (26) мы имеем дело со значением мотивации, а в примере (27) – уступки. Однако при более пристальном анализе широкого контекста выясняется, например, что в примере (26) нет таких четких причинно-следственных отношений между первым и вторым высказыванием, какие наблюдаются в примере (24). Скорее, второе высказывание просто описывает мысли, которые стали появляться у героя после возникновения первых подозрений. В этом случае функция частицы выглядит больше как напоминание (в данном случае – в монологе – напоминание самому себе) об уже известном. Точно так же в примере (27) мы скорее имеем дело с напоминанием (или внезапным припоминанием/осознанием) себе об известном факте, чем со значением «несмотря на что-либо/ вопреки чему-либо».

Еще одна частица, которую мы хотели бы рассмотреть в рамках данной главы, – это *actually*. Эта частица, как показывает наш анализ, достаточно часто употребляется в монологах, причем как в устном, так и письменном дискурсе. Она развилась из наречия, которое употребляется для указания на реальность некой ситуации или на существование чего-либо в реальной действительности. Следующий пример иллюстрирует употребление *actually* в этом значении:

(28) ...the bygone ages of the world were **actually** filled with living men, not by protocols, state papers, controversies and abstractions of men (PM: 35).

Как видно, с помощью *actually* автор противопоставляет реальное положение дел и существующие заблуждения. Приведенный пример также хорошо иллюстрирует то, о чем пойдет речь ниже, а именно: что коммуникативная семантика *actually* как частицы чаще всего связана с актуализацией какого-либо существенного факта реальной действительности, обычно выступающего как нечто новое, а порой и неожиданное, по сравнению с тем, о чем говорилось ранее, и соответственно иногда вступающего с последним в логические отношения противопоставленности.

Наиболее часто встречающаяся коммуникативная функция частицы *actually* заключается в привлечении внимания к некоему существенному, с точки зрения говорящего, факту. Рассмотрим следующие примеры:

- (29) “June’s always been there, he insists on that himself. It’s just a technique, actually rather a marvellous one, for helping you get into a part” (F: 292).
- (30) “And he did introduce us to two people. The Greek actor he said was going to play the poet. And the director. Another Greek. We all had dinner. Actually we rather liked them both. There was lots of talk about the film” (F: 341).
- (31) “It would be kind of fun to re-enact the poem tomorrow night. There is actually going to be a medieval banquet” (DL: 40).

Анализ приведенных примеров дает возможность отметить несколько важных моментов. Во-первых, вводимое частицей высказывание выступает по отношению к предыдущему как своего рода внезапное осознание или припоминание важного для данной ситуации факта, тем самым частица приобретает значение, близкое к русским вводным словам *кстати* и *между прочим*. Во-вторых, в этом своем употреблении частица *actually* не просто вводит актуальную информацию, но и логически связывает оформляемое ею высказывание с непосредственно предшествующими высказываниями. Так, в примере (31) очевидно, что факт организации средневекового банкета актуален не сам по себе, а по отношению к желанию говорящего продекламировать стихотворение. В высказываниях с частицей в примерах (29) и (30), более того, содержатся слова с анафорической референцией — заместитель *one* и местоимения *them* и *both*.

Когда частица *actually* вводит актуальную информацию, она может приобретать различные дополнительные оттенки смысла, влияющие на логические взаимоотношения между высказываниями. Вот первый случай такого рода:

- (32) “She was the complete English hostess – polite, patient, detached. She **actually** asked me if I’d slept well” (DL: 75).

В примере (32) второе высказывание не просто представляет актуальную информацию, а конкретизирует содержание первого. Говорящий приводит конкретный факт, служащий наглядной иллюстрацией его тезиса в первом высказывании.

В примере (33) похожим образом говорящий уточняет, сколько конкретно минут он прождал в конечном итоге:

- (33) “Charley does exactly what is told, swims out fifty yards, treads water, waits two minutes, three, four, **actually** in the end about ten, begins to feel damn cold. Still no girl” (F: 625).

Примеры (32) и (33) интересны еще и наличием определенного эмотивно-оценочного компонента в семантике частицы, который может, однако, появляться и в случаях, когда частица не выражает значения конкретизации:

- (34) Only one reader has a hardback book on her lap, and **actually** seems to be making notes as she reads (DL: 88).

Частица в примере (34), очевидно, выражает удивление автора по поводу того, что на общем фоне спящих или ничем не занятых людей в самолете один человек не только читает, но даже фактически работает. В примере (35) частица выражает сильное впечатление и, по сути, выступает как средство интенсификации предыдущего высказывания:

- (35) “A very personal question. Would you say you were a strikingly pretty little girl, were you conscious that there was something rather special about you?” “The answer is yes, I believe there was. **Actually** I was painted” (F: 602).

Кроме уже упомянутых случаев приобретения частицей *actually* дополнительных оттенков смысла, стоит обратить более пристальное внимание также и на уже упомянутую способность этой частицы противопоставлять два высказывания. Обратимся к следующему примеру:

- (36) “But I thought he did something rather fine during the Resistance.”

“Not on your nelly. **Actually** he did a deal with the Germans” (F: 621).

Здесь мы видим, что выражаемый частицей смысл становится синонимичным семантике вводного *on the contrary*, то есть герой не только не участвовал в Соппротивлении, но, *напротив*, сотрудничал с оккупантами. Еще чаще встречаются случаи, когда анализируемая частица используется для корректировки предыдущего высказывания:

(37) “I came because I have family here, it seemed a good excuse to see them. My children, **actually**. I’m divorced, you see” (DL: 6).

(38) “Have you published much?”

“No, not a lot. Well, nothing, yet, **actually**. I am still working on my PhD” (DL: 10).

В примере (37) частица выполняет функцию ограничения смысла предыдущего высказывания: «не всю семью, а *только* детей». В примере (38) логический смысл также идет по линии ограничения истинности: «не то что немного, а вообще ничего». Интересно отметить также и то, что частица в обоих последних примерах, безусловно, сохраняет свое базисное значение — ход логической мысли идет в сторону максимального приближения к реальности.

Подобно частице *anyway*, частица *actually* может маркировать переход от одной темы внутри монолога к другой. Рассмотрим такие случаи:

(39) “It’s nothing, old boy. Really. All damned absurd. **Actually** I was out walking one day. May or June, can’t remember” (F: 622).

(40) I’m scribbling this in a cafe by the harbour.

Maurice has **actually** been rather an angel, though still a mute one. He insists on waiting till you’re with us this coming weekend, if you’re better. M. has **actually** been playing a tiny bit hurt as well (F: 401).

В примере (39) частица используется для перехода от более общих рассуждений к более конкретным, непосредственно к рассказу, которого ждет собеседник. В примере (40) мы имеем дело с письмом (неофициальным письменным дискурсом), где в первый раз частица *actually* применяется при переходе к новому абзацу, когда пишущий заканчивает вступительные замечания и начинает основную тему письма. Во второй раз она маркирует новое направление мысли и подкрепляется наречным выражением *as well*.

Кроме этого, частица *actually*, хотя и гораздо реже, чем *anyway*, может употребляться для возврата к предыдущей или основной теме монолога:

- (41) Perfect. Moved round Europe all his life, best society and all that. Well, **actually** I found one of the twins a shade off. Not my type (F: 623).

В примере (41) частица *actually* совместно с частицей *well*, служащей для заполнения паузы (свидетельствующей о том, что говорящий на секунду задумался, вспоминая, с чего он начал), выполняет функцию указания на то, что говорящий возвращается к прежней теме своего монолога, которая была прервана вопросом собеседника.

Таким образом, мы рассмотрели основные функции, выполняемые частицами *anyway*, *after all* и *actually* в монологическом дискурсе. Теперь можно подвести определенные итоги.

В целом рассмотрение функционирования частиц в их дискурсно-дейктических функциях в монологе является особенно наглядной иллюстрацией приведенного выше тезиса об изменчивости прагматического значения частиц и их специфике в сравнении с союзами. Если, скажем, за союзом *for* прочно закреплено логическое значение мотивации, то частица *after all*, помимо этого значения, способна выражать и другие, например значение уступки; кроме того, она используется для напоминания о некотором факте или введения актуального аргумента. Одна и та же частица (*actually*) в разных коммуникативных ситуациях может вводить просто дополнительную информацию или же выражать контраст, уточнение или поправку, а также использоваться для перехода на другую тему. От правильности интерпретации далеко не однозначных функций иллокутивных частиц в монологе в конечном итоге зависит успешность понимания монолога в целом.

С точки зрения говорящего, частицы являются важным риторическим средством организации спонтанного разговорного монолога, они позволяют говорящему более четко и ясно выразить свои мысли, уточнить или противопоставить, исправить или дополнить, в целом более логично и связно организовать свои как обдуманнные, так и неожиданно приходящие в голову мысли.

ГЛАВА 6

РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИСКУРСИВНОГО ПРИЕМА АВТОИНТЕРПРЕТАЦИИ

1. Дискурсивный прием автоинтерпретации. Прием автоинтерпретации является одним из целого ряда дискурсивных приемов и процедур, используемых автором при создании текста. Некоторые из приемов и процедур были описаны в лингвистической литературе (Варшавская и др., 1991; Мальцева, 1988; Гордеева, 1999) в динамическом и статическом планах текста-дискурса. Рассматриваемый нами дискурсивный прием автоинтерпретации представляет собой прием пояснения автором того, что он сказал, иначе говоря, интерпретацию или повторную экспликацию смысла сказанного. В процессе текстотворчества автор рассчитывает на то, что читатель поймет смысл сказанного таким образом, как он (автор) это понимает, и считает необходимым помочь ему, используя прием автоинтерпретации.

Прием автоинтерпретации реализуется в определенной грамматической форме, точнее, в определенной грамматической конструкции, которую мы называем аппозитивной конструкцией — это двучленная конструкция, основанная на аппозитивной связи и состоящая из антецедента и интерпретанты, которая, как правило, вводится коннектором, например: *or, in other words, I'll put it more simply, a better way of putting it, that is, that is to say, I mean.* Между членами аппозитивной конструкции возникают автоинтерпретационные отношения.

Использование риторического подхода к исследованию дискурсивного приема автоинтерпретации, на наш взгляд, оправдано следующими положениями: 1) предметом изучения риторики является Говорящий (*Homo loquens*), или точнее, Человек, действующий словом (*Homo verbo agens*), а прием автоинтерпретации является приемом, который используется *автором* (или

Говорящим) для интерпретации или толкования смысла сказанного с целью «донести» содержание до читателя (или слушающего). Таким образом, автор (или Говорящий) актуализируется в приеме автоинтерпретации как Человек, действующий словом; 2) основная функция риторики – убеждение Слушающего, а использование автором приема автоинтерпретации способствует лучшему пониманию читателем смысла сказанного и, следовательно, более эффективной коммуникации и убеждению читателя; 3) один из разделов риторики – изобретение – изучает способы «размножения» идей, или развития мысли, через категории так называемых «общих мест» или топов, а автоинтерпретация представляет собой развитие мысли. Исходя из вышеперечисленных факторов мы рассматриваем дискурсивный прием автоинтерпретации как риторический.

2. «Человек, действующий словом» как предмет риторики. Отличительная черта нашего времени – интерес к человеку и его деятельности со стороны ряда наук. Возможно, что и возрождение риторики объясняется именно этой причиной – ведь предметом риторики является Человек Говорящий (хотя более распространенным считается мнение, что риторика имеет дело не с чем иным, как с убеждением Слушающего, воздействием на Слушающего, с эффективностью речи, и, следовательно, не акцентируется тот факт, что риторика изучает прежде всего Человека Говорящего, но с точки зрения целевой установки убедить и эффективности реализации данной установки). Так, Е. Н. Зарецкая отмечает, что проблемы риторики лежат в сфере, охватывающей ответы на следующие четыре вопроса: 1) *Для чего мы говорим?* 2) *Что мы хотим сказать?* 3) *Какими средствами мы это делаем?* 4) *Какова реакция на нашу речь?* (Зарецкая 1999: 3). Три первых вопроса имеют непосредственное отношение к Говорящему. Кроме того, еще одним аргументом можно считать то, что «источником речи всегда является один человек, а точнее, одна человеческая личность. Говорит не человек – говорит его личность. Это, в частности, означает, что по конкретной речи может быть дешифрована личность говорящего» (Зарецкая, 1999: 7).

И.В. Пешков по поводу предмета риторики отмечает, что «многоплановость и многослойность категории говорящего человека (от предельной научной абстракции до реальной единичной человеческой конкретности и от образно-художественного обобщения до простого логического символа субъекта) обычно приводили к тому, что эта категория не принималась в качестве единой для всех гуманитарных наук и искусств, а по возможности эли-

минировалась из каждой отдельной науки. Риторика – единственная гуманитарная наука, из которой эту категорию изъять нельзя, хотя многие авторы и пытаются избавиться от этого сомнительного предмета. Сомнительного потому, что он слишком очевидно связан с этикой, с человеческим поведением и налагает на автора в этом отношении повышенную ответственность» (Пешков, 1998: 41). И. В. Пешков отмечает также, что предметом риторики и одновременно основной категорией гуманитарных наук является *Ното verbo agens* (говорящий человек) – человек, действующий словом в определенных этических ситуациях (хотя эксплицитно представленным такого самоопределения риторики не удастся найти ни в одном теоретическом тексте, но именно такая формулировка может быть инвариантом многочисленных конкретно-исторических вариантов предмета риторики) (Пешков, 1998: 41). Представляется необходимым обратить внимание на словосочетание *Ното verbo agens* – не просто «Человек говорящий» (в этом случае общепринятым словосочетанием является *Ното eloquens*), а *Человек, действующий словом*. Именно последнее значение мы и будем иметь в виду, употребляя «Говорящий», «автор».

Как уже отмечалось выше, категория Говорящего человека является основной категорией гуманитарных наук, в том числе и лингвистики. Так как наше исследование проводится на материале научного текста, то нас интересует проблема автора научного текста. В лингвистике данная проблема рассматривается с точки зрения таких вопросов, как: а) соотношение объективного и субъективного в научном тексте (Шмелев, 1977: 62; Кожина, Титова, 1976: 110; Котюрова, 1988: 37) и б) категория авторизации в научном тексте (Барляева, 1993). Ниже мы рассмотрим проблему «Автор научного текста» с точки зрения риторического аспекта.

3. Речь как способ самовыражения автора. Целевые установки автора с точки зрения риторики. При создании текста автор выбирает дискурсивную стратегию, направленную на достижение цели коммуникации (под дискурсивной стратегией понимается комплекс приемов, формирующих способ подачи материала). Дискурсивная стратегия реализуется через риторические средства, которые используются для повышения эффективности общения. По мнению Н. К. Рябцевой, риторическими средствами являются метатекстовые элементы, вопросы, коннекторы, авторизирующие структуры (Рябцева, 1992: 12–28). Прием автоинтерпретации является одним из риторических приемов, направленных на повышение эффективности общения (автор поясняет,

интерпретирует смысл сказанного с той целью, чтобы читатель понял смысл высказывания или всего текста в целом). Кроме того, маркеры приема автоинтерпретации — специальные коннекторы, которые являются метатекстовыми элементами, также выступают риторическим средством.

Риторические средства, используемые автором при создании текста, не только актуализируют его как языковую личность и являются элементами его саморепрезентации. Опираясь на мнение, высказанное А. И. Варшавской, о том, что благодаря человекоцентрическим факторам человеку удобно пользоваться языком при формировании и передаче мысли (Варшавская, 1989: 62), мы выдвигаем следующее положение: использование риторических приемов организации дискурса, в частности приема автоинтерпретации, а также разнообразных риторических средств помогает автору, или Говорящему, самореализоваться, самовыразиться. Назовем это монологом. Далее мы подробнее рассмотрим то, как автор самореализовывается при помощи риторического приема автоинтерпретации. Таким образом, мы будем рассматривать прием автоинтерпретации с точки зрения самореализации автора (как использование данного приема помогает автору самореализоваться), а соответствующие коннекторы (маркеры приема автоинтерпретации) — с точки зрения актуализации автора как языковой личности.

Самореализация, самовыражение, т. е. реализация, выражение своего «эго», является для Говорящего/автора не менее важным, чем убеждение Слушающего/читателя, а возможно, и более важным. С самореализацией связаны такие целевые установки, как завоевание авторитета и «уточнение мыслей».

Е. Н. Зарецкая отмечает, что через речь завоевывается авторитет, так необходимый любому человеку. Ж.-Ж. Руссо писал, что «благодаря красноречию нас может пленить человек, на коего мы обычно не обращаем внимания. Разум не только одушевляет тело, но в некотором роде обновляет его; сменяющие друг друга чувства и мысли оживляют лицо и придают ему то одно, то другое выражение; разумная речь надолго приковывает внимание к одному и тому же человеку» (цит. по: Зарецкая, 1999: 96–97). Данная мысль справедлива не только для оратора, или Говорящего, но в некотором роде и для автора текста, в частности научного текста. Ведь автор научного текста является исследователем, и поэтому завоевание авторитета среди коллег и последователей его теории или идей, самоутверждение является одной из главных целевых установок. Написание научных статей, трудов, отражающих результаты исследований автора, в некоторой степени мотивируется

целевой установкой завоевания авторитета. Однако важно то, как автор излагает свои идеи: логичное, ясное, понятное изложение, или, пользуясь выражением Ж.-Ж. Руссо, «разумная речь», делает мысль понятной читателю, что вызывает у читателя симпатию к автору, несмотря на возможное несогласие с самой идеей.

Прием автоинтерпретации является одним из способов, при помощи которых автор помогает читателю лучше понять смысл сказанного и тем самым завоевывает себе авторитет.

Е. Н. Зарецкая выделяет, помимо прочих целевых установок, установку «уточнение мыслей». «Когда человек вынужден говорить так, чтобы его поняли, он, оттачивая формулировки, на самом деле оттачивает свои мысли, что чрезвычайно важно для любого исследователя. Только точное знание дает точность выражения, поэтому слово является в определенной степени стимулом разума. Для того, чтобы сделать текст понятным другим, надо, в первую очередь, прекрасно понимать его самому. Понимание не статично и, тем более, не задано изначально — это процесс, иногда долгий. В момент передачи информации человек вынужден структурировать, упорядочивать свои мысли; только в этом случае он может сделать свою речь понятной» (Зарецкая, 1999: 98). С одной стороны, автор оттачивает формулировки, чтобы эти формулировки были понятны читателю, но, с другой стороны, автор оттачивает и свои мысли, что способствует в некотором роде развитию автора как личности, его самореализации, тем более что автор научного текста является исследователем.

Несмотря на то что мы объединяем обе целевые установки — «завоевание авторитета» и «уточнения мыслей» — под проблемой авторского монолога, рассматривая их как установки, направленные на самореализацию автора, тем не менее следует отметить, что данные установки тесно связаны и с диалогом — диалогом автора с читателем. Известно, что текст представляет собой диалог автора не только с самим собой, но и в первую очередь с другими учеными, коллегами, научным сообществом в целом. Естественно, что в результате такого диалога языковая личность отшлифовывает свои концепции, проявляет своеобразие и индивидуальность своего подхода к проблеме, определяет свое место и место своей концепции в системе научного знания, вливаясь в общий процесс научного исследования. Тем не менее в доказательство правомерности того, что целевые установки «завоевания авторитета» и «уточнения мыслей» следует рассматривать с точки зрения проблемы самореализации, хотелось бы подчеркнуть, что данные установки скорее *реализуются* в «диалоге» — автор завоевывает авторитет у читателя, автор оттачивает свои

мысли, пытаюсь сделать свою речь понятной читателю, — но что касается результата этих установок, то он является показателем, прежде всего, не успешности коммуникации, а успешности самореализации автора.

4. Автоинтерпретация как способ «упорядочения» мыслей в монологе. На фактическом материале трудно, если вообще возможно, проследить, насколько успешно автор самореализовался. Однако мы можем проанализировать, как автор использует прием автоинтерпретации для «упорядочивания» мыслей. Анализ материала показывает, что автор использует прием автоинтерпретации для: 1) будущего развития текста; 2) закрепления прошлого; 3) поиска своего слова. Рассмотрим примеры.

Many categories which are of great logical and psychological importance are so haltingly expressed that it takes a good deal of effort to prove to the average man that they exist at all. A good example of such a category is that of “aspect”, in the technical sense of the word. Few English-speaking people see such a locution as “to burst into tears” or “to burst out laughing” as much more than an idiomatic oddity. As a matter of fact, English is here trying to express, as best it can, an intuition of the “momentaneous aspect”; *in other words*, of activity seen as a point in contrast to activity seen as a line. Logically and psychologically, nearly every activity can be thought of as either point-like or line-like in character, and there are, of course, many expressions in English which definitely point to the one or to the other (Sapir, 1966: 57–58).

В данном примере во второй части подчеркнутой аппозитивной конструкции (в интерпретанте) автор интерпретирует выражение — the “momentaneous aspect”, вводя при этом понятия “point” и “line”, которые он и употребляет в дальнейшем в ходе своих рассуждений: nearly every activity can be thought of as either point-like or line-like in character. Следовательно, автор интерпретирует сказанное, выражая одну и ту же мысль, но другими словами, при этом «другие слова» являются как бы «мостиком», иначе говоря, переходным элементом к следующему этапу рассуждений. Таким образом, в данном случае мы говорим, что прием автоинтерпретации нацелен на будущее развитие дискурса.

Следующий пример может рассматриваться как «закрепление прошлого»:

Soja (1994) has shown that children acquire the NP-type noun category very early; in fact, they acquire it at the same

time or before they acquire the count/mass distinctions. She analyzed the spontaneous speech of four children, and compared their use of NP-type nouns with their use of standard count nouns. She found that the children began differentiating the two kinds of nouns as soon as they began to use determiners consistently with count nouns, which happened between two and four years. *In other words*, when children learned that determiners are obligatory for singular count nouns, they also learned, or already knew, that NP-type nouns are distinct from count nouns. Subsequent analyses focusing on adjectives revealed that the children also distinguished NP-type nouns from mass nouns (Burns, 2000: 50).

Данный отрывок посвящен описанию результатов исследования детской речи, в частности приобретения детьми умения различать исчисляемые существительные и существительные “NP-type”. В антецеденте данной аппозитивной конструкции выражена мысль, что дети начинают различать эти два типа существительных, как только они начинают использовать определяющие слова с исчисляемыми существительными. В интерпретанте, вводимой коннектором *in other words*, автор повторяет эту же мысль, но другими словами, как бы подчеркивая или «закрепляя» эту мысль: «...в то время, когда дети узнают, что с исчисляемым существительным в единственном числе надо обязательно употреблять определяющее слово, они также узнают или уже знают, что существительные “NP-type” отличаются от исчисляемых существительных». Очевидно, данный вывод представляется автору важным, поэтому, используя прием автоинтерпретации, автор закрепляет свою мысль. Таким образом, мы можем сказать, что в данном случае прием автоинтерпретации нацелен на закрепление прошлого.

Формулировка «поиск своего слова» достаточно условна, и ее не стоит понимать буквально, т. е. в смысле поиска какого-либо своего термина. Под понятием «свое слово» может пониматься и выражение мысли, идеи, а акцент должен делаться на слове «свое», другими словами, автор, используя прием автоинтерпретации, часто акцентирует внимание на том, что это *его* слова, его выражение той или иной идеи. Например: *It does, however, make two important assumptions about the reader. The first is that he is what linguists call a native speaker of English, preferably American English – that is, one who learned it in infancy as his first language (Francis, 1958: iii).* В антецеденте подчеркнутой аппозитивной конструкции автор вводит понятие «a native speaker»,

указывая при этом на то, что так называют лингвисты. В интерпретанте автор поясняет это понятие своими словами – «тот, кто учил этот язык в раннем детстве в качестве первого языка».

Материал исследования позволяет сделать вывод, что прием автоинтерпретации актуализирует автора как субъекта порождения текста и нацелен или на будущее развитие текста, или на закрепление прошлого, т. е. сказанного, или на поиск своего слова.

Итак, исходя из того что предметом риторики является Человек, действующий словом, мы рассматриваем автора научного текста с точки зрения одного из риторических принципов: автор научного текста стремится к самореализации, самовыражению через речь, что проявляется в таких целевых установках, как завоевание авторитета и «уточнение» мыслей. Прием автоинтерпретации, при помощи которого автор поясняет смысл сказанного, чем и облегчает читателю восприятие текста, способствует завоеванию авторитета у читателя. С другой стороны, переформулировывая сказанное, автор не только оттачивает формулировки, но и тем самым оттачивает мысли, что важно для автора научного текста как исследователя. Таким образом, использование приема автоинтерпретации способствует реализации указанных целевых установок. Кроме того, прием автоинтерпретации, являясь средством авторизации, актуализирует автора как субъекта порождения дискурса, т. к. используя прием, автор: а) «развивает» дискурс, б) закрепляет сказанное, в) ищет свое слово.

5. Автор-читатель. Убеждение как основная цель использования риторических приемов. Аристотель писал: «Определим риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» (Аристотель, 2000: 89). И далее: «Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» (Аристотель, 2000: 99). Несмотря на то что «определения риторики в разные времена были столь разнообразны, что нередко одно другому сильно противоречили» (Плаксин, 1998: 347), что «понятие риторики, как и основные категории ее пользования – красноречие и проза, исторически менялось» (Виноградов, 1980: 115), что риторику называли то наукой, то искусством, тем не менее «при всех этих изменениях в литературе оставался как особый тип структурных форм, ряд приемов построения, рассчитанных на “убеждение” читателя, на экспрессивную его “обработку”» (Виноградов, 1980: 115), неизменной оставалась цель использования риторических приемов – убедить. Представляется

необходимым напомнить, что говорящий с точки зрения риторики рассматривается как «человек, действующий словом» — *Homo verbo agens*. Привлекает внимание глагол «действовать», который подчеркивает целенаправленность акта говорения и стремление говорящего воздействовать на слушающего.

Обратимся к ситуации, образуемой предикатом «убеждать». Предикат «убеждать» является пятиместным: 1) агентив, обозначающий субъекта предиката «убеждать», или автора (в нашем случае автора научного текста); 2) пациентив, обозначающий адресата, т. е. лицо, на которое направлен акт убеждения; 3) «содержание» — то, в чем убеждает автор адресата; 4) цель, т. е. для чего осуществляется убеждение; 5) способ, или как осуществляется убеждение (Варгина, 1995: 14). Интересно отметить частичное совпадение предикатно-аргументной рамки «убеждать» и «интерпретировать» и отношение между этими предикатами — интерпретировать, чтобы убедить.

Итак, в ситуации убеждения всегда присутствует адресат-слушающий или читатель. Следовательно, положения риторики, целью которой является поиск возможных способов убеждения (по Аристотелю), так или иначе определяются учетом слушающего или читателя, или, используя принятый в современной лингвистике термин, учетом «фактора адресата». Но к такому выводу мы можем прийти не только в ходе рассуждения: риторика — цель — убедить — адресат. Тот факт, что учет «фактора адресата» является исконно риторическим принципом, отмечается и многими лингвистами. Так, В. В. Виноградов в своей работе, посвященной риторике и поэтике, пишет, что «риторика прежде всего исследует в литературном произведении формы его построения по законам читателя» (Виноградов, 1980: 116). А М. М. Бахтин отмечает, что монологические по своему композиционному построению риторические формы «установлены на слушателя и на его ответ. Обычно считают даже эту установку на слушателя основной конститутивной особенностью риторического слова. Для риторики действительно характерно, что отношение к конкретному слушателю, учет этого слушателя, вводится в самое внешнее построение риторического слова. Здесь установка на ответ открыта, обнажена и конкретна» (Бахтин, 1975: 93). Кроме того, М. М. Бахтин считает, что «эта открытая установка на слушателя и на ответ в бытовом диалоге и в риторических формах привлекла внимание лингвистов» (Там же).

Н. Д. Арутюнова в известной статье «Фактор адресата» пишет, что постулаты, предложенные П. Грайсом, как и ряд рекомендаций риторики, сформулированы под углом зрения именно

адресата (Арутюнова, 1981: 358). А Дж. Лич характеризует постулаты, или максимы, речевого общения как риторические (Leech, 1983: 15–17).

Таким образом, несмотря на то что проблема автор—читатель активно разрабатывается в лингвистике в настоящее время (Арутюнова, 1981; Варгина, 1995; Каспранский, 1989; Кухаренко, 1988; Славгородская, 1986; Сотникова, 1991; Бондарева, 1999), считаем целесообразным и интересным дополнить исследования современной лингвистики положениями, выработанными риторикой, например принципом идентификации говорящего с аудиторией.

Представляется необходимым подчеркнуть, что условием успешности и эффективности коммуникации является ориентация на адресата. Этот тезис принимается в качестве некой аксиомы как в риторике, так и в лингвистике. Специфика адресата письменного научного текста заключается в его анонимности и обобщенности, это некий «идеальный» читатель, на формирование образа которого влияет реальный читатель. Учет автором «фактора адресата» проявляется в отборе языковых средств. Однако неясным остается вопрос о «взаимоотношении» автора с «идеальным» читателем. Попробуем решить эту проблему, взяв за основу идею «идентификации», которую мы находим как у Аристотеля, так и у современного теоретика риторики К. Берка.

6. Риторический принцип идентификации как принцип взаимодействия автора с читателем. Прием автоинтерпретации как способ идентификации. Идентификация, или отождествление, в самом общем виде сформулирована у Аристотеля: не составляет труда хвалить афинян среди афинян (цит. по: Burke, 1969: 55). Это значит, что если знать, какие человеческие качества считаются добродетелью среди той или иной аудитории, то, чтобы вызвать у аудитории симпатию (к себе или к другому лицу, например на защите в суде), то необходимо «присвоить» себе (или «приписать» другому лицу) те или иные качества. Сейчас этот принцип кажется настолько понятным и банальным, что можно подумать, что он не представляет никакой ценности. Однако, вероятно, что сейчас нам этот принцип идентификации представляется понятным и банальным потому, что был сформулирован еще в античности.

Главным психологическим действием этого принципа является то, что слушающий верит, что он разделяет похвалу или обвинение сам лично. Иначе говоря, идентифицируясь со слушающим, говорящий позволяет слушающему чувствовать себя ак-

тивным участником, а это в свою очередь помогает говорящему убедить слушающего.

Идентификация – самый простой способ убеждения. «Вы убеждаете человека тогда, когда говорите на его языке, и речь, и жесты, и образ, и отношение, и идеи отождествляете с его речью, жестами, образами, отношением, идеями» (Burke, 1969: 55). Однако если мы говорим об устной коммуникации, то понятие идентификации, как представляется, не вызывает споров. Но если мы имеем дело с письменным научным текстом, где автор не может, да и не должен уподоблять свои идеи идеям читателя, где автор представляет свою концепцию, рассчитывая, как правило, на понимание, а не на поддержку? Возможно ли в этом случае говорить об идентификации? Если да, то что в письменном тексте сигнализирует об идентификации автора с «идеальным» читателем?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, обратимся к теории анализа дискурса, разрабатываемой довольно авторитетной французской школой психологов и психоаналитиков, работающих под знаком соединения лингвистики, философии Луи Альтюссера и психоанализа. Данная теория основывается на различии высказывания как реализованного объекта, или высказывания-результата, и высказывания как акта производства, или дискурса. Следует подчеркнуть, что понятие дискурса, которого мы придерживаемся в данной работе, сходно с понятием дискурса, рассматриваемым в вышеупомянутой теории анализа дискурса, которая определяет дискурс как высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им управляет, иначе говоря, взгляд на текст с позиции его структурирования «в языке» определяет данный текст как высказывание, а лингвистическое исследование условий производства текста определяет его как дискурс (Серио, 1999: 27).

Основной интерес этой теории заключается в самом процессе высказывания, а именно: каким образом проявляет себя субъект в том, *что* он говорит. Согласно теории анализа дискурса, в языке (а точнее, в текстах, порождаемых определенной личностью) проявляется полное выражение всех без исключения особенностей сознательной и бессознательной жизни личности. Психоаналитический аспект (теория бессознательного, или психоанализ в духе Фрейда и Лакана) изучения субъекта и его отношения к речевой деятельности и к смыслу проявляется в концепции «принципиально неоднородной речи» и «разделенного субъекта». Что это за концепция?

Последователи теории анализа дискурса придерживаются мнения, что когда человек говорит, что сквозь ткань его собствен-

ных слов всегда проскальзывают «другие», «чужие» слова, то это значит, что «сама материальная структура языка позволяет, чтобы в линейности речевой цепочки слышалась непредумышленная полифония всякого дискурса, через которую анализ и может выявить следы бессознательного» (Серио, 1999: 80). Что значит «чужие», «другие» слова? Когда мы говорим, то всегда говорится что-нибудь дополнительное и «непрощенное», и не только в случаях оговорок, когда «другое слово» занимает в цепочке место запланированного, а постоянно, за счет избытка смысла по сравнению с тем, что мы хотели сказать. А объясняется этот процесс тем, что структурно внутри субъекта (не говорящего как личности, а субъекта, который, благодаря свойству языка, а именно свойству формирования субъекта высказывания, образуется лишь в акте высказывания и не существует до этого акта), в его дискурсе, принципиально имеется *Другой*. Иначе говоря, в речевой цепочке, которую материально производит один говорящий, ряд явных языковых средств указывает на присутствие *Другого*. Это и есть основа концепции «принципиально неоднородной речи» и «разделенного субъекта».

Более простая или, скажем так, очевидная «неоднородность» возникает в «пересказанной» речи: синтаксические формы косвенной и прямой речи однозначно обозначают в рамках предложения другой акт высказывания. Однако для нас представляет интерес другая, более сложная, форма неоднородности, которая возникает в различных маркированных формах «автонимной коннотации» (Отье-Ревю, 1999: 54): в речь говорящего встроены слова (без разрыва, характерного для автонимного употребления), и одновременно говорящий их показывает. Считается, что тем самым говорящий как пользователь слов на мгновение раздваивается, за ним возникает *другая* фигура, фигура наблюдателя, следящего за используемыми словами, а фрагмент, выделенный таким образом — отмеченный кавычками, курсивом, интонацией и/или каким-либо комментарием, — приобретает по отношению к остальному дискурсу особый, *иной* статус.

Конкретные проявления этой инаковости могут быть многообразны: например, фрагменты, выделенные кавычками или курсивом, а также комментарий, глосса, поправка, уточнение, которыми говорящий может сопровождать некоторые элементы своей речи.

Опираясь на идею идентификации автора/говорящего с читателем/слушающим и на концепцию «неоднородной речи», предложенную теорией анализа дискурса, можно предположить, что процесс идентификации протекает скорее на бессознательном уров-

не, что проявляется во внешней структуре текста. Иначе говоря, появление *Другого* в дискурсе есть результат идентификации говорящего/автора со слушающим/читателем. Основание для такого предположения нам дают рассматриваемые теорией анализа дискурса «механизмы» коммуникации, в соответствии с которыми эксплицитно обозначается определенный фрагмент дискурса как «точка неоднородности». Рассмотрим некоторые из них, которые, на наш взгляд, подтверждают выдвинутое нами предположение.

Одним таким «механизмом» коммуникации являются «бесконечные инструкции» по толкованию какого-либо элемента (Отье-Ревю, 1999: 57), например в таких «точках неоднородности», как «*X* в смысле *p*, не в смысле *p*, но»).

Еще одним «механизмом» коммуникации является «договор двух собеседников в отношении соответствия слова предмету и ситуации» (Отье-Ревю, 1999: 56). Точками неоднородности являются обороты, выражающие оговорку (в некотором смысле, (не) в прямом смысле), поправку (скорее, точнее), уточнение.

Так как указанные выше обороты также рассматриваются нами, но как маркеры приема автоинтерпретации (следует отметить, что одно другому не противоречит), то предлагаем проиллюстрировать вышеперечисленные «механизмы» коммуникации и соответствующие им «точки неоднородности», или фрагменты, указывающие на присутствие *Другого*, нашими примерами.

The term (“personality”) may be used *in a descriptive psychophysical sense* as referring to the human being conceived as a given totality, at any one time, of physiological and psychological reaction system (Sapir, 1996: 164). Эта конструкция является «точкой неоднородности», т. е. местом в дискурсе, указывающим на присутствие *Другого*, а коннектор является «инструкцией» по толкованию в данном случае термина «личность».

Еще один пример: Another advantage of Montague Grammar in comparison with some other linguistic theories is its exactness and its “constructiveness”. By “constructiveness” *I mean* that there is a clear step-by-step construction of phrases and – in parallel – of their meanings, thanks to the compositional principal (Landsbergen, 1987: 118). Хотя Ж. Отье-Ревю не указывает никаких других структур, кроме «*X* в смысле *p*», тем не менее мы считаем, что данный пример, так же как и другие примеры автоинтерпретации, может иллюстрировать «механизм» толкования какого-либо элемента, тем самым указывая на присутствие *Другого*.

Как отмечает Ж. Отье-Ревю, одним из показателей присутствия *Другого* в письменном дискурсе является выделение фраг-

мента кавычками или курсивом, а в устном — интонацией (что на письме может отражаться, например, тире). Как показывает материал исследования, автор научного текста часто использует указанные средства выделения фрагментов в сочетании с интерпретацией их. Например: A system (translation system) is interlingual if it uses an interlingua which is “universal”, *i.e.* which can be used for expressing any meaning of any sentence in any natural language (Landsbergen, 1987: 137). Слово *universal*, смысл которого автор поясняет в интерпретанте, заключено в кавычки. Что касается «механизма» коммуникации, то это «договор» двух собеседников в отношении соответствия слова предмету или ситуации.

В следующем примере используются не кавычки, а заглавные буквы, что также, по нашему мнению, может являться показателем присутствия *Другого*. Что касается «механизма» коммуникации, то это скорее всего «инструкция» по толкованию выделенного элемента: The term ELEMENTARY TEXT SENTENCE is used here *in the same sense* in which traditional grammars use the term /EXTENDED/ SIMPLE SENTENCE (Petöfi, 1982: 96).

Как уже отмечалось, на присутствие *Другого* могут указывать такие знаки препинания, как тире: Dealing with small – but non-trivial – fragments completely, in full detail is to be preferred – *from the point of view of computer applications* – to making interesting, but imprecise claims about natural languages in general (Landsbergen, 1987: 118).

Проанализированные примеры аппозитивных конструкций показывают, что когда автор поясняет сказанное, интерпретирует, указывает, как следует понимать то или иное слово/высказывание, он тем самым идентифицируется с читателем, как бы становится на место читателя. С точки зрения психоанализа, в любом тексте можно найти признаки присутствия так называемого *Другого*. Вероятно, что присутствие *Другого* и является показателем идентификации автора/говорящего с читателем/слушающим. Таким образом, можно сделать вывод, что риторический прием автоинтерпретации отражает риторический принцип идентификации.

Обобщая в нескольких словах, подытожим, что риторический принцип идентификации говорящего/автора со слушающим/читателем, который нацелен на убеждение читателя и на достижение эффективности коммуникации, на уровне текста может быть частично доказан при помощи подхода, выработанного теорией анализа дискурса. Прием автоинтерпретации является способом идентификации, так как, поясняя смысл сказанного, подводя смысл сообщения под концептуальную систему читателя, «дого-

вариваясь» о соответствии слова ситуации или предмету, автор идентифицируется с читателем.

7. Автоинтерпретация как способ акцентирования внимания читателя. Прием автоинтерпретации сигнализирует то, что автор ориентируется на своего «идеального» читателя. При помощи приема автоинтерпретации автор, во-первых, акцентирует внимание читателя на важных местах, а во-вторых, помогает читателю лучше понять сказанное. Проблема понимания сама по себе является очень сложной и многоаспектной, поэтому требует привлечения герменевтического подхода, что не входит в поставленные задачи. Мы рассмотрим, как при помощи приема автоинтерпретации автор выделяет важные с его точки зрения положения.

Проблема выделения в данном случае связана с проблемой повтора: коннекторы, которые мы относим к маркерам автоинтерпретации — *that is, or, i.e., in other words, etc.*, указывают на некое тождество между сцепляемыми частями, т. е. антецедентом и интерпретантой. В некотором смысле в интерпретанте автор повторяет то, что было сказано в антецеденте, и с точки зрения структуры вторая часть аппозитивной конструкции (интерпретанта) является лишней, осложняющей частью.

На проблему повтора можно посмотреть с точки зрения выдвижения в том смысле, в каком его определяет И. В. Арнольд: выдвижение рассматривается как наличие в тексте формальных признаков, фокусирующих внимание читателя на некоторых частях смысла сообщения и устанавливающих смысловые связи между соположенными или дистантными элементами одного или разных уровней (Арнольд, 1999: 195). Под общим названием «выдвижение» объединяются такие подтипы, как конвергенция, обманутое ожидание, сцепление, выдающаяся особенность, сильная позиция, параллелизм, повтор и некоторые другие.

Принцип выдвижения был разработан И. В. Арнольд на материале художественной литературы, однако, на наш взгляд, некоторые виды выдвижения могут быть характерны и для научной литературы. Различные виды выдвижения И. В. Арнольд рассматривает как подчеркивание и выделение наиболее важных сторон содержания. «Задерживая внимание читателя на тех или иных участках текста, — считает И. В. Арнольд, — выдвижение помогает заметить существующие в сообщении связи, относительную значимость отдельных идей, образов или событий для смысла целого, т. е. относительную ценность информации» (Арнольд, 1999: 195). Иначе говоря, выдвижение всегда останавливает внимание читателя на чем-то важном в содержании сообщения.

Для нас наиболее интересен такой тип выдвижения, как повтор. С одной стороны, стиль научной литературы характеризуется строгим, логическим изложением фактов или мнений, что в принципе не подразумевает повторов (если не рассматривать вывод или обобщение как повтор). Однако, с другой стороны, любой научный текст, как показывает материал исследования, содержит рассматриваемый нами прием автоинтерпретации, который является в некотором смысле повтором, т. к. в интерпретанте автор поясняет, интерпретирует то, что было уже сказано. Для чего автор научного текста использует прием автоинтерпретации, рассматривалось выше (для будущего развития дискурса, для закрепления прошлого (уже сказанного), для поиска своего слова). Но есть еще одна цель использования приема автоинтерпретации, которую нельзя не отметить, — это акцентирование внимания читателя на важных с точки зрения автора положениях.

С точки зрения теории информации повторение сообщений или части их есть не что иное, как средство, создающее помехоустойчивость. Иначе говоря, повторение спасает сообщение от потери. Соответственно, если мы хотим передать что-либо важное, мы часто «это важное» дублируем. Таким образом, повторение можно считать в некотором смысле привлечением внимания, акцентированием внимания на чем-либо, выделением. Следовательно, еще одной целью использования приема автоинтерпретации является выделение, или акцентирование внимания читателя на сказанном. Например: *By saying “sentences” rather than “English sentences”, I intend to suggest that the deep structures of sentences in different languages are identical; that is I am subscribing to the idea of universal set of base rules (Bach, 1975: 79).* В данной аппозитивной конструкции при помощи интерпретанты (*I am subscribing to the idea of universal set of base rules*) автор акцентирует внимание читателя на своей позиции, на том подходе, который он будет использовать при анализе предложений. Иначе говоря, в интерпретанте автор, с одной стороны, повторяет свою позицию, которая выражена в антецеденте («глубинные структуры предложения в разных языках идентичны») и которая в принципе понятна, а с другой стороны, автор эксплицирует свой подход более четко и обобщенно. Подобный «повтор» не может не привлечь внимание читателя.

Одним словом, используя прием автоинтерпретации, автор акцентирует внимание читателя на той или иной идее. В данном случае привлечение внимания возникает благодаря «повтору» уже высказанной мысли (хотя далеко не всегда интерпретанту можно охарактеризовать как повтор в смысле «дублирование»). Важную роль в

привлечении внимания играют коннекторы, особенно те, которые выражают значение тождества – in other words, that is, i.e.

Прием автоинтерпретации показывает, что проблему взаимоотношения автора с читателем можно рассмотреть с точки зрения риторического принципа идентификации автора с читателем и с позиции авторского намерения акцентировать внимание читателя на том или ином положении.

8. Изобретение мысли как раздел риторики. Риторы говорят, что научиться говорить можно, только научившись думать. И древняя и новая риторика предлагают (или рассматривают) различные способы думать и рассуждать. Традиционно считается, что «думать» и «рассуждать» нас учит логика. Однако следует сразу же оговорить, что риторика и логика – разные науки. Логика – это наука о законах и правилах мышления, или, точнее, наука о рассуждениях (о законах и правилах, которым подчиняются рассуждения). Совсем не всегда безусловно логичная речь есть речь хорошая. Язык и слово – нечто гораздо более сложное, чем почти «очищенное» от них мышление, которое изучает логика. Вот что об этом говорит Гюстав Гийом: «Логика – это вымышленное движение вещей, в котором не учитываются дорожные происшествия <...> ...логика – это идеально прямая линия <...> Если нет происшествий на пути из Парижа в Рим, нет поворотов, объездов, преодоления препятствий, то это будет путешествие по прямой. Логика – это воображаемая простота. Не знаю, каким был бы язык, построенный по этой воображаемой линии. Не могу этого знать, такого языка просто не существует» (Гийом, 1992: 18–19).

Риторика, вырабатывая свои собственные законы, правила, рекомендации, конечно, во многом опирается на логику, и провести четкую линию между логикой и риторикой невозможно. Особенно трудно это сделать между первым разделом риторики – изобретением и логикой. Так, К. П. Зеленецкий, который занимался исследованием теоретических вопросов риторики, писал, что «рассматривая общее устройство речи, мы находим в ней, во-первых, сторону ее внутреннего образования, т. е. чисто логическое развитие основной мысли и распределение частей изложения в отношении к этой главной идее; во-вторых, сторону внешнего ее образования, т. е. логические ее условия и грамматическое сплетение из периодов и предложений. Из вышесказанного естественным образом проистекают следующие главные отделы общей риторики. В первом из них содержится теория логического построения речи» (Зеленецкий, 1998: 371). А Н. Ф. Кошанский писал, что «общая риторика

начинается источниками изобретения, ибо в них заключается начальная практическая логика» (Кошанский, 1998: 301).

Каким образом риторика учит рассуждать? М. В. Ломоносов предлагал различать идеи «простые» (т. е. понятия) и «сложные» (т. е. суждения). Пример из ломоносовской «Риторике»: простая идея — «ночь», а сложная — «Ночью люди после трудов покоятся». Вывод, который делает ученый, следующий: «Из одной простой идеи расплодятся могут многие» (Ломоносов, 1810: 18). Способы размножения идей изучает одна из главных частей риторики — изобретение (или инвенция), что, по мнению Н. Ф. Кошанского, является «действием ума», а именно значит «находить другие приличные слова и выражения или новые мысли, новые предложения или открывать доказательства и опровержения» (Кошанский, 1998: 299). Н. Ф. Кошанский отмечает также, что «есть три рода источников изобретения: первый дает способы распространять одно только предложение. Другой род их учит из одного предложения выводить другие. Третий род источников показывает, откуда почерпаются доказательства, согласные с целью писателя» (Кошанский, 1998: 299).

9. Понятие «общих мест». Источниками изобретения, или способами размножения идей, являются так называемые «риторические», или «общие», места (по Ломоносову), или топосы, топы (по Аристотелю). Так, Н. Ф. Кошанский пишет, что «всякая мысль рождает другую. В каждом предложении таится другое, в другом третье и так далее. Открывать в одной мысли другие, искать в данном предложении новые — значит мыслить. Нельзя тому сочинять, кто не умеет и не хочет учиться думать: хорошо писать — значит хорошо думать. Для сего-то общая риторика начинается источниками изобретения, ибо в них заключается начальная практическая логика. Источники изобретения раскрывают ум, развивают мысли» (Кошанский, 1998: 301).

«Общие места» представляют собой смысловые модели, по которым Говорящий создает речь, творит. «Местами» (по-греч. «топами»: *topos* — место) они были названы потому, что в науке риторики речь (речевое произведение) представала как «карта местности», на которой каждая идея, каждое подразделение темы имело свое положение — место, позицию. Поэтому и модель, по которой можно было изобрести новую идею, новое «место» речи, получила имя «место» (топос, или топ). «Общими» эти смысловые модели были названы по причине их «модельной», а значит обобщающей, природы. Так, Аристотель писал: «Сказанное нами станет яснее, если мы подробнее разоведем нашу мысль. Я говорю, что силлогизмы диалектические и риторические касаются

того, о чем мы говорим общими местами — топами; они общи для рассуждений о справедливости, о явлениях природы и о многих других, отличных один от другого предметах: таков, например, топ большего и меньшего, потому что одинаково удобно на основании его построить силлогизм или энтимему как относительно справедливости, так и относительно какого бы то ни было другого предмета, хотя бы эти предметы и были совершенно различны по природе» (Аристотель, 2000: 97–98).

Совокупность «общих мест» (топов, смысловых моделей) и способы их применения на этапе изобретения называются топикой. Топика отражает общие законы человеческого мышления.

У Аристотеля перечень смысловых моделей-топов и их описаний приводится для обучения искусству аргументации. Это значит, что каждая смысловая модель-топ может использоваться не только для изобретения содержания речи, но и для доказательства — как довод (аргумент). В «Риторике» Аристотель рассматривает 28 «надежных» топов и 10 «ненадежных», «ошибочных», которые он советует использовать для изобретения «кажущихся» энтимем.

В риторике М. В. Ломоносова рассматривается 16 моделей-способов «расплодить» простые идеи, умножить их, превратить в «сложенные»: 1) род и вид, 2) часть и целое, 3) свойства материальные, 4) свойства жизненные, 5) имя, 6) действия и страдания, 7) место, 8) время, 9) происхождение, 10) причина, 11) предыдущее и последующее, 12) признаки, 13) обстоятельства, 14) подобия, 15) противные и несходные вещи, 16) уравнивания (сравнения) (Ломоносов, 1952: 27).

Н. Ф. Кошанский рассматривает 24 источника изобретения: 1) причина, 2) сравнение, 3) подобие, 4) пример, 5) свидетельство, 6) обстоятельства, 7) уступление, 8) условие, 9) противное, 10) время, 11) место, 12) признаки, 13) качества, 14) принадлежности, 15) свойства лиц, 16) свойства бездушного предмета, 17) действие и страдание, 18) имя, 19) целое, 20) части, 21) род, 22) вид, 23) определение, 24) следствие (Кошанский, 1998: 301–302).

Таким образом, Н.Ф. Кошанский добавляет такие топы, как пример, свидетельство, уступки, условие, качества, принадлежности, определение, следствие.

Указанные топы соотносимы с логико-философскими категориями (например, причина, часть-целое) и отражают универсальные законы человеческого мышления. К. П. Зеленецкий отмечает, что в первом разделе общей риторики «должны быть показаны и те общие точки зрения, с которых предметы мира физического и нравственного могут быть рассматриваемы и которые суть те же старинные двадцать четыре источника изобре-

ния, но приведенные в необходимую и очевидную связь с логическими формами мышления» (Зеленецкий, 1998: 372).

«Общие» места можно сравнить с «узуальными смыслами», которые рассматривает А. И. Варшавская. Узуальные смыслы — это смыслы, которые являются «достаточно постоянными и одинаково понимаемыми и используемыми всеми говорящими. С точки зрения и человека и языка как средства передачи такие смыслы не могут быть не выраженными» (Варшавская, 1984: 5). Узуальный смысл понимается как содержание, имеющее «внеязыковую соотношенность с мышлением» (Варшавская, 1984: 28). Такими узуальными смыслами А.И. Варшавская считает содержательные отношения, которые автор называет смысловыми отношениями (СО), т. к. они являются не только компонентами семантической структуры языковых единиц, но и их коммуникативной целью, передаваемой информацией, их смыслом. Принимая во внимание универсальные отношения и исследуя семантическую структуру предложения, А. И. Варшавская выделяет следующие смысловые отношения: А — отношения по преимуществу с пространственно-предметными параметрами: 1) пространственные, 2) части-целого, 3) принадлежности, 4) родо-видовые; Б — отношения с событийно-временными параметрами: 5) временные, 6) причинно-следственные, 7) условные, 8) цели, 9) результата; В — отношения двойственной ориентации: 10) сравнения и 11) сходства/различия, 12) уступительные, 13) соединительные, 14) противительные, 15) разделительные, 16) порядка, 17) именованности (Варшавская, 1984: 5).

Вышеперечисленные смысловые отношения, по мнению А. И. Варшавской, выступают как информационные смыслы, которые целенаправленно и сознательно передаются пишущим/говорящим читающему/слушающему. Так как на передачу смысла нацелена организация и формальной, и содержательной стороны языковой единицы (речь идет о предложении), то смысл проецируется и в содержание (семантику), и в форму (грамматику) языковых единиц как средства своего выражения (Варшавская, 1984: 28).

Ценным для нас является положение о том, что в тексте, по мнению А. И. Варшавской, «находит отражение результат дискурсивного мышления — ход мыслей, их последовательность, связь идей. Некоторые закономерности организации содержания текста, направленные на передачу цельного замысла через связь языковых единиц, их значений, через тектонику текста в целом, отражают принципы организации мыслительного содержания и “хода мыслей” в механизме языкового мышления». Далее А.И. Варшавская говорит о «блочном» принци-

пе организации дискурса-текста, а именно, что «в текстах любой тематики можно выделить некоторые логические звенья, “блоки”, организующиеся вокруг того или иного из названных СО» (Варшавская, 1984: 29).

Поскольку СО соотносятся с логико-философскими категориями, отражающими человеческое мышление, то можно сделать вывод, что данные риторики и исследования в области лингвистики не противоречат друг другу, а напротив, дополняют и развивают идеи друг друга. Совпадение некоторых «общих» мест и узуальных смыслов говорит об их универсальности, а идея о «блочной» организации текста-дискурса подчеркивает тот факт, что мысль «развивается», или «размножается», по некоторым универсальным смысловым моделям, которые рассматриваются риторикой.

10. Автоинтерпретация как развитие мысли по «общим местам».

Сами по себе автоинтерпретационные отношения не являются «универсальными» в том смысле, что не отражают закономерности мышления, однако при приеме автоинтерпретации развитие мысли идет по некоторым универсальным смысловым моделям («общим» местам), или ход мысли, связь идей основывается на смысловых моделях. Это положение объясняет, в частности, тот факт, что прием автоинтерпретации часто сложно отграничить от некоторых других дискурсивных процедур и приемов (предассерция, объяснение, комментарий и др.), т. к. они также «подчиняются» общим риторическим местам (например, и объяснение и автоинтерпретация могут развиваться по смысловой модели, или «общему» месту, «причина»).

Как показывает материал исследования, при приеме автоинтерпретации развитие мысли идет по определенным смысловым моделям. Мы воспользуемся классификацией Н. Ф. Кошанского: род-вид, часть-целое, определение, следствие, имя, причина. Проиллюстрируем данное положение примерами.

I. Смысловая модель «род-вид». Этот топ отражает универсальный закон человеческой мысли, а именно ее «нисхождение» от общего к частному (дедукция) и «восхождение» от частного к общему (индукция): *If categories are defined only by properties inherent in the members, then categories should be independent of the peculiarities of any beings doing the categorizing; that is, they should not involve such matters as human neurophysiology, human body movement, and specific human capacities to perceive, to form mental images, to learn and remember, to organize the things learned, and to communicate efficiently* (Lackoff, Johnson, 1999: 7). В данном примере выражена мысль, что если категории определяются толь-

ко через ингерентные свойства членов категорий, то они не будут зависеть от особенностей «человека категоризирующего». В антецеденте автор выражает эту мысль при помощи слова «особенности» — “the peculiarities of any beings doing the categorizing”, т. е. в общем, а в интерпретанте конкретизирует, что категории не будут зависеть ни от нейрофизиологии человека, ни от способности человека воспринимать, учить и запоминать, или эффективно общаться, тем самым автор от общего «направляется» к частному. Отношение антецедента к интерпретанте можно охарактеризовать как отношение рода и вида.

II. Смысловая модель «целое-часть». Разделение, расчленение смысловой структуры сопутствует механизмам мысли — анализу и синтезу: The place for colloquial language is in conversation with one's friends and family, in talking with children, in addressing any group that one knows or expect to know rather well, in writing friendly letters, in writing certain business letters to person one knows well - *in short*, in any circumstances in which informality is natural and desirable (Hook, 1956: 54). В данном примере в антецеденте автор перечисляет некоторые сферы употребления разговорного стиля языка — в разговорах с друзьями и членами семьи, в обращении к хорошо знакомым людям, в деловых письмах к хорошо знакомому человеку, а в интерпретанте автор обобщает свои рассуждения и определяет сферу употребления разговорного стиля в целом, иначе говоря «собирает» части в целое, — «в любых ситуациях, в которых неофициальность является естественной и желательной».

III. Смысловая модель «следствие», «вывод». Данная модель описывает еще один универсальный тип отношений между идеями (и соответственно между явлениями в мире, между отдельными фрагментами в речи, дискурсе): radical modification of fundamentals does not seem necessary for the production of a genuine culture, however much a readjustment of the relations may be. *In other words*, a genuine culture is perfectly conceivable in any type or stage of civilization, in the mold of any national genius (Sapir, 1966: 90). В антецеденте данной аппозитивной конструкции автор выражает мысль, что для создания истинной культуры не требуется каких-либо радикальных изменений. В интерпретанте автор, поясняя свою мысль, как бы делает вывод, или заключение, что истинная культура мыслима в любом типе цивилизации и на любой ступени ее развития. Таким образом, в данном примере «развитие мысли» идет по риторическому «общему» месту «следствие», «вывод».

IV. Смысловая модель «определение» (дефиниция или экспликация понятия). В классической риторической традиции определение предмета речи — не только риторическое место, топ, служа-

щий изобретению содержания речи, но и непереносимое условие ее ясности, непротиворечивости, а также один из важных элементов структуры речи. Мы считаем, что данная смысловая модель также может лежать в основе автоинтерпретационных отношений: в случаях, когда автор дает определение того или иного понятия. Например: *Dialectic of this sort was concerned with "ideology" in the primary sense of the term: the study of ideas and of their relation to one another* (Burke, 1969: 53). В интерпретанте подчеркнутой аппозитивной конструкции автор дает определение термина «идеология», маркируя данный прием коннектором «в первоначальном смысле», тем самым подчеркивая то, что эта дефиниция (такое понимание) была присуща данному понятию первоначально.

Эту смысловую модель следует отличать от модели «имя», в основе которой лежит не дефиниция понятия, а экспликация смысла данного понятия для данного контекста.

V. Смысловая модель «имя». Изначально эта модель включает в себя обращение к происхождению и/или смыслу слова (имени), обозначающего явление или понятие, которое входит в название темы или является одной из ее идей. Нам кажется, что экспликация смысла понятия в некоем данном контексте также может относиться к смысловой модели «имя»: *the approach is ad hoc in the sense that although there are broad general principals the details of the categories and the classification depend on the nature of the material* (Palmer, 1970: 2). В интерпретанте данной аппозитивной конструкции автор раскрывает смысл понятия *ad hoc*, который актуален для данного контекста. Сравним с общепринятым определением понятия *ad hoc* – «предназначенный только для данной цели» (Философский словарь, 1991: 17).

Как показывает материал исследования, прием автоинтерпретации, отражающий риторическое «общее» место «имя», чаще всего маркируется коннектором *in the sense*. Однако встречаются и другие коннекторы, например: *There is a curious notion afloat that "new" countries are especially favorable soil for the formation of a virile culture. By "new" is meant something old that has been transplanted to a background devoid of historical associations* (Sapir, 1996: 102). В интерпретанте данной аппозитивной конструкции автор обращается к смыслу слова "new", к одному из значений слова, в котором оно употребляется в данном высказывании. В данном случае коннектором служит глагол *to mean* в пассивном залоге, при помощи чего автор подчеркивает, что эта идея не его.

VI. Смысловая модель «причина»: *This first criterion is necessary, but not sufficient for inclusion into the NP-type noun category. That is, all nouns that are NP-type nouns meet this criterion, but there are*

other nouns that satisfy the criterion but are still not NP-type nouns (Burns, 2000: 54). В данном примере автор говорит об одном из критериев выделения существительных NP-type в особую категорию. В антецеденте автор характеризует этот критерий как «недостаточный». В интерпретанте он поясняет свою мысль, при этом имплицитно указывает на причину такой «недостаточности» – есть другие существительные, соответствующие этому критерию, но не относящиеся к NP-type.

Представляется необходимым отметить и смысловую модель «пример», т. к. нередко автор интерпретирует смысл сказанного, используя пример, при этом он маркирует данный прием не коннектором экземплификации (for example), а коннектором автоинтерпретации, например that is.

VII. Смысловая модель «пример». Примеры к отдельным положениям (идеям) речи или ко всей речи (ее смыслу) в целом необходимы в связи с общериторическими принципами конкретности и близости. Примеры, иллюстрирующие мысль говорящего, черпаются из собственного жизненного опыта, из истории, из художественной литературы и т. д. Одним из риторических правил, которое касается подбора примеров, является принцип близости: иллюстрации должны быть взяты из области, знакомой и близкой адресату речи, или доступны и соответствовать уровню его восприятия и понимания: NP-type nouns such as camp can be used both with count selective determiners and without any determiner: *that is*, you can say both “She is at a camp” and “She is at camp” (Burns, 2000: 48). В интерпретанте подчеркнутой аппозитивной конструкции автор поясняет сказанное в антецеденте, что такие существительные, как “camp”, могут употребляться как с определяющим словом, так и без него. При этом в интерпретанте автор иллюстрирует данную мысль примерами. Данный прием, отражающий риторическое «общее» место «пример», маркирован коннектором that is, однако, с нашей точки зрения, этот прием может быть маркирован и коннектором for example. Очевидно, авторский выбор объясняется тем, что он (автор) поясняет и интерпретирует сказанное при помощи примеров, а не просто иллюстрирует свою мысль примерами.

Из вышесказанного следует, что, используя прием автоинтерпретации в тех или иных целях, автор развивает мысль по риторическим «общим» местам, в частности, «рол-вид», «часть-целое», «следствие», «причина», которые отражают универсальные законы человеческого мышления, а также «имя», «определение», «пример», которые являются скорее сугубо риторическими, нежели логическими или понятийными.

ГЛАВА 7

ЧУЖОЕ СЛОВО ВО ВНЕШНЕЙ РЕЧИ

1. Основные формы коммуникации и понятие чужого слова.

Существуют две основные формы межличностного общения: диалог и монолог. Их узкое понимание как композиционных форм речи традиционно сводится к следующему: монолог — это речь, обращенная к самому себе или к другим; обычно это речь от первого лица, не рассчитанная (в отличие от диалога) на ответную реакцию другого лица (или лиц), обладающая определенной композиционной организованностью и смысловой значимостью. Диалог — форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух (или более) говорящих; каждое высказывание обращено к собеседнику. Монологическая последовательность предложений однонаправлена, она исходит от одного говорящего к его слушателю или слушателям, в то время как диалогическая последовательность двунаправлена: ее компоненты произносятся собеседниками по очереди, как бы навстречу друг другу.

Цель исследования — установить, как такие явления, как чужая речь или чужое слово, реализуются в этих двух формах коммуникации, и выявить моменты сходства и различия, тем более что данная проблема не нашла еще достаточного освещения в лингвистической литературе.

Диалогическая речь признается первичной формой языкового взаимодействия; большинство исследователей сходятся в том, что диалогическое общение как филогенетически, так и онтогенетически предшествует любым другим формам коммуникации, которые являются производными от него и наследуют многие из его особенностей. Диалогичность, т. е. наличие тех или иных признаков диалога, обнаруживает себя во всех формах речи, что объясняется, видимо, диалогичностью мышления. Как отмечал М. М. Бахтин, исходя из более широкого понимания рассматриваемых явлений, как бы ни было высказывание монологично (например, научное или философское произведение), как бы ни

было оно сосредоточено на своем предмете, оно не может не быть в какой-то мере и ответом на то, что уже сказано о данном предмете, по данному вопросу, хотя бы эта ответственность и не получила отчетливого внешнего выражения: она проявляется в обертонах смысла, в тончайших оттенках композиции. Высказывание наполнено диалогическими обертонами, без которых нельзя до конца понять смысл высказывания. «Ведь и сама мысль наша — и философская, и научная, и художественная — рождается и формируется в процессе взаимодействия с чужими мыслями, и это не может не найти своего отражения и в формах словесного выражения нашей мысли» (Бахтин, 2000а: 288–289).

Неудивительно, что, несмотря на кажущуюся ясность исходных определений, вопрос о разделении речи на монологическую и диалогическую остается одним из наиболее спорных в современной лингвистике (ср. мнение Г. О. Винокура об отсутствии строгих и абсолютных границ между монологом и диалогом; см. Винокур, 1990: 128). Действительно, эти две композиционные формы речи тесно связаны: в монологе, по Аристотелю, отражен диалог, а в диалоге содержатся элементы монологической речи. Можно сказать, что каждая реплика сама по себе монологична (предельно маленький монолог), а каждый монолог является репликой большого диалога (Бахтин, 2000а: 316); устный диалог обязательно требует ответа «монологом на монолог» (Рождественский, 1999: 303).

Вопрос о сложности разграничения диалогической и монологической форм коммуникативного взаимодействия затрагивает не только внешнюю речь как сферу реально звучащего, произнесенного вслух высказывания, но и речь внутреннюю. На протяжении нескольких поколений психологи полагали, что внутренняя речь — это просто речь для себя, что это та же внешняя речь, но с усеченным концом, без речевой моторики, что она представляет собой «проговаривание про себя», строящееся по тем же законам лексики, синтаксиса и семантики, что и внешняя речь. Однако многочисленные исследования более позднего времени показали ошибочность подобного подхода. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, отметим лишь, что никто из серьезных ученых не сомневается в том, что внутренняя речь, выполняющая регулирующую или планирующую роль, имеет иное, чем внешняя, сокращенное, строение.

По мнению многих исследователей, наиболее плодотворные мысли о внутренней речи заключаются в книге Л. С. Выготского «Мышление и речь» (Выготский, 1934). Несмотря на прошедшие десятилетия, эти мысли далеко еще не стали вчерашним

днем науки; скорее это ее завтрашнее слово (Библер, 1991: 109). По Л. С. Выготскому, формирование внутренней речи – феномен интериоризации социальных отношений и связей, стихия внутренней (превращенной во внутреннее определение) социальности человека. Внутренняя речь – это смысловая сторона речи, она не служит выражением готовой мысли; мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Наконец, внутренняя речь есть речь для себя; внешняя речь есть речь для других. Основные особенности внутренней речи таковы: особый синтаксис, сокращенный, сгущенный, свернутый, предельно предикативный, точнее – сливающий подлежащее со сказуемым; редуцирование фонетической стороны речи, оперирующей преимущественно семантикой, но не фонетикой речи, словами, только подразумеваемыми, не существующими актуально нигде – ни в слове, ни в звуке; преобладание смысла слова над его значением: если значение слова тождественно его абстрактному содержанию, то смысл слова неповторим, существует только в контексте и вместе с тем наиболее всеобщ и богат; всеобщая экспансия смысла приводит к слипанию слов, особому значению корня и т. п. Перечисленные особенности выражают два определения внутренней речи: это речь, в которой формируется мысль; это речь, обращенная к себе (Библер, 1991: 109).

Однако все вышеизложенное относится к истинной, аутентичной внутренней речи. Что же касается ее художественного аналога, послужившего материалом исследования, то следует иметь в виду, что художественное изображение внутренней речи всегда подразумевает переструктурирование этой специфической формы речи в коммуникативную форму, результатом чего оказывается известным образом организованная стилизация (Гаибова, 1986: 7). Забегая вперед, отметим, что алогичность, раздробленность и неудобопонимаемость внутренней речи, как показал анализ современных романов, относящихся в основном к жанру психологического детектива, редко имитируется авторами. В этом отношении рассмотренные произведения мало чем отличаются от реалистического романа XVIII – XIX вв., где внутренняя речь и речь, произнесенная вслух, в равной степени подчиняются законам логически ясной речевой структуры; внутренний монолог основан на мысленно сложившейся речи (Клименко, 1961: 184).

Диалогичность внутреннего монолога как одного из основных способов реализации внутренней речи в художественном произведении отмечается многими исследователями. Так, по мнению М. Т. Гаировой, внутренний монолог может быть квалифици-

рован как опосредованная форма диалога с читателем, <...> как способ передачи речевой и психологической характеристики персонажей, обладающий внутренней (если за адресатом стоит реальный участник коммуникативного акта – персонаж) или внешней (если за адресатом стоит потенциальный участник коммуникативного акта – читатель) диалогизацией (Гаибова, 1986: 15–16).

Некоторые лингвисты идут еще дальше и выделяют особую форму передачи внутренней речи – внутренний диалог как одну из форм общения человека с самим собой, при этом диалогичность, или диалогизация, получает иную интерпретацию. Эта точка зрения не имеет еще широкого распространения, поскольку, как отмечает один из ее приверженцев, большинство лингвистов не признают возможность диалогических отношений в сознании индивида, отрицая тем самым факт существования внутреннего диалога как самостоятельной формы интраперсонального общения (Сергеева, 1996: 1). Между тем сама идея далеко не нова; она явно восходит к теории диалогизма художественного текста М. М. Бахтина и блестяще проведенному им тончайшему психологическому и лингвистическому анализу романов Ф. М. Достоевского (ср. хотя бы его слова о Раскольнике: «Таков его диалог с самим собой на протяжении всего романа. Меняются, правда, вопросы, меняется тон, но структура остается той же» (Бахтин, 1994: 135).

Ю. М. Сергеева исходит из того, что общение человека с человеком неизбежно сопровождается общением человека с самим собой. Подобно тому как межличностное общение осуществляется в двух основных формах – как внешний диалог и внешний монолог, интраперсональное общение проявляется в форме внутреннего диалога (ВД) и внутреннего монолога (ВМ), получающих в диссертации следующие определения: ВМ – форма сложного одностороннего речевого воздействия человека, направленного на самого себя; посредством ВМ индивид фиксирует конечные результаты мыслительного процесса. ВД – это последовательность диалогически взаимосвязанных высказываний, порождаемых говорящим и непосредственно воспринимаемых им в процессе интраперсонального общения. В совокупности эти две формы, наряду с некоторыми другими, менее значимыми, образуют непрерывный процесс внутренней коммуникации, осуществляемый посредством внутренней речи (Сергеева, 1996: 3–4). Речь всегда выражает смысловую позицию говорящего по поводу темы разговора. В монологе выражена одна смысловая позиция; семантическая структура диалога является результатом взаимодействия как минимум двух сторон. При этом во внешнем

диалоге разные смысловые позиции развиваются в речи разными говорящими, во внутреннем диалоге — одним говорящим. Это возможно благодаря способности человека воспроизводить в собственной речи чужую речь, а также реагировать на свою речь как на чужую.

Доля так называемого чужого слова значительна как во внешней, так и во внутренней речи. Чужая речь, которую М. М. Бахтин называл «речью в речи, высказыванием в высказывании» (Бахтин, 2000б: 445), включает не только речь, не принадлежащую говорящему, а лишь воспроизводимую им, но и речь самого говорящего, «если она сопровождается комментарием, характеризующим говорящего как участника коммуникативного акта» (Русская грамматика, 1980: 485). Традиционная типология чужой речи выделяет прямую, косвенную и несобственно-прямую речь — те, как писал в свое время М. М. Бахтин, «синтаксические шаблоны, модификации этих шаблонов и вариации этих модификаций, которые мы встречаем в языке для передачи чужих высказываний и для включения этих высказываний, именно как чужих, в связный, монологический контекст» (Бахтин, 2000б: 444). В этом, на поверхностный взгляд, второстепенном вопросе не сумели, по его мнению, увидеть узловой проблемы громадной общелингвистической и принципиальной важности. Стремление к «обновлению проблематизации» привело М. М. Бахтина к выделению двух основных стилей передачи чужой речи: линейного, основная тенденция которого — блюсти ее целостность и аутентичность, создавая отчетливые, внешние контуры чужой речи при слабости ее внутренней индивидуации, и живописного, при котором язык вырабатывает способы более тонкого и гибкого внедрения авторского реплицирования и комментирования в чужую речь — авторский контекст стремится к разложению компактности и замкнутости чужой речи, к ее рассасыванию, к стиранию ее границ (Бахтин, 2000б: 449–450). Эти, равно как и многие другие, положения концепции чужой речи М. М. Бахтина легли в основу дальнейшей разработки этого вопроса другими исследователями, однако ознакомление с работами большинства из них заставляет полностью согласиться с мнением Н. Д. Арутюновой: сделанный М. М. Бахтиным обзор и анализ проблемы чужой речи остается лучшим (Арутюнова, 1999: 669).

Наиболее интересным и перспективным представляется коммуникативно-прагматический подход к изучению феномена чужой речи. Это связано с тем, что сам вид чужой речи, объем включаемого в речь репродуцированного текста, степень удаленности воспроизводимой речи от инициального высказывания,

выбор вербальных сигналов чужой речи и т. д. определяются в первую очередь коммуникативными целями ввода в актуальную речь чужого текста. В этом отношении влияние бахтинской концепции несомненно: чужая речь мыслится говорящим как высказывание другого субъекта, первоначально совершенно самостоятельное, конструктивно законченное и лежащее вне данного контекста. Вот из этого самостоятельного существования чужая речь и переносится в авторский контекст, сохраняя в то же время свое предметное содержание и хотя бы рудименты своей языковой целостности и первоначальной конструктивной независимости. В результате наша жизненно-практическая речь полна чужих слов, разной степени чужести или разной степени освоенности, разной степени осознанности и выделенности. Эти чужие слова приносят с собой и свою экспрессию, свой оценивающий тон, который осваивается, перерабатывается, переакцентируется нами. С одними из этих чужих слов мы совершенно сливаем свой голос, забывая, чьи они, другими мы подкрепляем свои слова, воспринимая их как авторитетные для нас, третьи, наконец, мы населяем своими собственными чуждыми или враждебными интенциями (Бахтин, 1994; 2000а; 2000б).

Переплетение «своей» и «чужой» речи, явное и имплицитное, принимает самые разнообразные формы, к числу которых принято относить цитирование, прямую, косвенную и несобственно-прямую речь, повторы, подхваты и переспросы и т. д. В своем исследовании мы подробно остановимся на повторе – риторическом приеме, характерном как для внешней, так и для внутренней речи. Повтор интересен прежде всего тем, что участник коммуникации очень часто практически буквально повторяет слова собеседника, вкладывая в них новую интенцию и акцентируя по-своему (идет ли речь о реально звучащем или не произнесенном вслух высказывании).

Следует отметить, что не только повтор, но и чужая речь в целом является одним из активно используемых риторических приемов, особенно в текстах полемического и дидактического характера. Риторическая функция, состоящая в усилении перлокутивной силы высказывания, а также в оформлении зачина, признается основной текстовой функцией чужой речи, наряду с интерпретационной и конструктивной (Китайгородская, 1993: 88).

Тесная взаимосвязь между риторикой и прагматикой, определившей основное направление исследования, очевидна. Ведь не случайно Ч. Моррис в качестве главной предшественницы прагматики, изучающей поведение знаков в реальных процес-

сах коммуникации, назвал риторику (Арутюнова, Падучева, 1985: 3). Действительно, выдвинув в качестве объединяющего принцип употребления языка говорящим, прагматика охватила многие темы, имеющие длительную историю изучения в таких разделах лингвистики, как риторика и стилистика, актуальный синтаксис, теория и психология речевой деятельности. Риторика как таковая отошла при этом на задний план, что не может не беспокоить некоторых ученых, озабоченных определенным застоем, который сменил бурное развитие прагматики, и полагающих, что «воскрешение риторики – второй половины (наряду с грамматикой) запаса знаний, касающихся общения, – могло бы, по крайней мере отчасти, помочь лингвистической прагматике выйти из нынешнего тупика» (Франк, 1986: 370). Для этого предлагается серьезно пересмотреть и переработать весь аппарат риторики. Наиболее существенный аспект этого пересмотра – приспособление системы понятий, ориентированной на монолог, к более базисной форме общения – диалогу. Сделать это, видимо, не так сложно, поскольку сходство между грайсовским Принципом Кооперации и Коммуникативными Максимами, с одной стороны, и риторическими *virtutes elocutionis* («достоинства слога»), с другой, поражает исторически мыслящего исследователя (Франк, 1986: 371). Традиционная риторика создавалась в первую очередь как совокупность наставлений говорящему; а использование чужой речи – один из эффективных способов добиться того, что исследователи весьма точно называют «безотказным достижением риторических целей».

2. Функционирование чужого слова во внешней речи. Как показало исследование, главная сфера использования чужого слова в форме повтора во внешней речи – это диалог. Как хорошо известно, художественный текст принято рассматривать как коммуникативное событие, имеющее превращенный, имитационный характер. По мнению некоторых лингвистов, попытка изобразить живую речь персонажа носит фиктивный характер: писатель как бы «подделывает» живое общение, что позволяет ввести термин «квазиустная речь» (Форманюк, 1995: 1). Не вдаваясь в подробности, отметим, что доля чужой речи в разных видах устных текстов, отражающих многообразие устного речевого общения, весьма значительна (Китайгородская, 1993: 65), и имитация этого явления с целью сохранения эффекта аутентичности спонтанной звучащей разговорной речи широко распространена в диалоге прозы и драмы.

Нельзя, однако, забывать о том, что и в живом диалогическом общении повтор слов собеседника все-таки не норма; М. М. Бахтин вообще считает, что это происходит только в особых, исключительных случаях — чтобы подтвердить правильность своего понимания, чтобы поймать собеседника на слове и т. д. (Бахтин, 2000б: 447). Появление повтора как выражения живой, непринужденной реакции на то, что и как сказано (т. е. на содержание и форму высказывания), всегда обусловлено целым рядом факторов, в первую очередь — разнообразными коммуникативными целями, достижению которых и служит воспроизведение чужой речи. Прежде чем обратиться к анализу коммуникативно-прагматических функций повтора, уточним, что он существует в разговорной форме речи как реактивная (или так называемая вторая) реплика диалога, порожденная первой репликой, имеющая в качестве своей основы элементы ее словесного состава и подчиняющаяся ее форме. В зависимости от вида первой (исходной) реплики повторы делятся на констативно- и квеситивно-ориентированные; оба типа могут носить как вопросительный, так и невопросительный характер.

В основе многих повторений-вопросов лежит тот или иной вид непонимания, порождающего разнообразные коммуникативные неудачи. В лингвистической литературе предпринято немало попыток выяснить, какие именно особенности устройства языка и его функционирования, а также естественного общения и речевого поведения людей приводят к взаимонепониманию собеседников. Одна из существенных черт живого неподготовленного общения — высокая степень имплицитности, обнаруживаемая как в плане содержания, так и в плане выражения. Некоторые исследователи, называя эту особенность «неопределенностью и расплывчатостью», считают ее принципиально важной для осуществления «гладкого взаимопонимания» (Ермакова, Земская, 1993: 61). Как хорошо известно, постулаты общения, разработанные Грайсом и на протяжении многих лет широко обсуждаемые в коммуникативной лингвистике, в реальном общении постоянно игнорируются. Действительно, в естественной неподготовленной речи люди не следуют им почти никогда. Говорящие часто не бывают краткими и достаточно информативными, при этом они могут говорить лишнее; они не всегда говорят правду, не всегда говорят ясно, избегая двусмысленности, а нередко говорят одно, желая дать понять совсем другое — и все это может служить источником непонимания.

Один из наиболее распространенных его видов — непонимание референции (см. Емельянова, 1992). Невозможность одно-

значной интерпретации референциальных намерений говорящего приводит к появлению спонтанной реакции на только что услышанное в виде переспросов, просьб уточнить и расширить сказанное в смысловом отношении. Таким образом собеседник, движимый своей интенцией как внутренним побудителем речи, старается удовлетворить информационный голод. Источником коммуникативных неудач такого рода могут становиться имена собственные, дейктические слова и дескрипции:

- (1) "...and the Miss is rude to Jenny". "Jenny?" he quoted. "Who's Jenny?" "Jenny is Mrs Spede" (Walters, 10).

Переспрос имени собственного (и, видимо, других упомянутых средств осуществления референции) может быть вызван не только непониманием референции. Он часто связан с выражением определенной эмоции (как правило, это удивление, изумление, возмущение), вызванной тем, что именно данное лицо, носящее это имя, неожиданно для автора переспроса оказывается участником той или иной ситуации или носителем того или иного признака:

- (2) He sat down. "Have you seen Time magazine?" "Yes. Shane showed it to me." He frowned. "Shane? Your boss?" "He's not my boss. He's — he's one of the supervisors". "It's never good to mix business with pleasure, Ashley" (Sheldon, 8).

Смысл переспроса — не в уточнении референции; говорящий выражает явное неодобрение нарушения важного для него жизненного принципа, связанного со служебной субординацией (подробнее об этом см. ниже).

Общая причина большинства коммуникативных неудач, связанных с референцией, — рассогласованность параметров говорящего и адресата, т. е. несоответствие информационного фона одного коммуниканта фону другого. Переспрос происходит на фоне спокойного, эмоционально достаточно нейтрального контекста, его цель — уяснение сказанного без каких-либо экспрессивно-оценочных значений: говорящему важно точно установить, о ком/чем именно идет речь в инициальном высказывании, кого/что имеет в виду его автор. Даже употребление довольно «провокационной» оценочной дескрипции в следующем примере не задевает адресата и не вызывает у него никакой эмоциональной реакции по той простой причине, что он не знает, к кому она относится:

- (3) "Good wine, though. Thought I'd better drink it before the bloody dragon got it." "The dragon?" He growled, "Veronica. Bad, sad, mad Veronica" (Devotion, 350).

Непонимание и, соответственно, уясняющий переспрос могут вызывать отдельные слова и целые выражения, если адресат инициального высказывания не знает их значения. Так, случайный помощник, не владеющий профессиональной лексикой, воспринимает указание хозяйки бара как бессмысленный набор слов:

(4) L a d y: Move, move, stop goofing! The Delta Brilliant lets out in half'n hour and they'll be drinking up here. You got to shave ice for the setups (т. е. наколоть лед для коктейлей. — *O.E.*).

V a l (As if he thought she'd gone crazy): Shave ice for the setups? (*Plays*, 167).

Для «человека со стороны» источником непонимания может оказаться местная специфика использования таких достаточно общепотребительных слов, как *current* и *tide*:

(5) “I had to look at the tides, by the way.” “The tides?” “For the night. To be absolutely sure.” I took a guess. “The current, you mean?” (*Deceit*, 320).

Для выражения непонимания могут использоваться и цитатные вопросы, представляющие собой реакцию на предшествующее высказывание, из которого и происходит заимствование «чужих слов» (Арутюнова, 1999: 674). Цитатный вопрос — это обращенное к собеседнику требование или просьба уточнить, разъяснить, дополнить, довести до логического конца свою реплику:

(6) “No, he wasn't himself. He was — different.” “How, different?” (*Christie*, 332).

Цитация может вводиться глаголом *mean*; как показал материал, цитатные вопросы редко остаются без ответа:

(7) “What's wrong, Audrey?” “Wrong? What do you mean by wrong?” “Wrong with you. There's something” (*Zero*, 92).

Как видно из подавляющего большинства приведенных примеров, автор переспроса достаточно спокойно относится к ущемлению своих коммуникативных прав со стороны говорящего, так построившего свое высказывание, что оно оказалось источником непонимания. В контексте переспроса-уяснения нет указаний на испытываемые сильные эмоции, на изменение тона или громкости голоса. Рациональное начало здесь явно преобладает над эмоциональным. Цель такого переспроса — получить информацию, необходимую для полного и правильного понимания высказывания собеседника, и собеседник, как правило, с готовностью идет навстречу, сообщая нужные сведения.

Действительному непониманию можно противопоставить непонимание мнимое. Трудно найти ситуации, где общеизвестный и неоспоримый тезис о том, что система человеческого общения – это сложная целостность, включающая вербальный и невербальный каналы коммуникации, находил бы более яркое подтверждение. Именно здесь использование визуального канала (наряду с акустическим) при передаче сообщения, судя по исследованному материалу, достигает очень высокой степени. Повтор-переспрос сопровождается сознательным, намеренным привлечением говорящим богатого арсенала мимических и кинетических средств, начиная с простых и незамысловатых:

(8) Ramsey put on a show of bafflement (Devotion, 205).

(9) He affected a laboured expression of amazement (Devotion, 336).

и заканчивая целым представлением, настоящим спектаклем:

(10) He went through a show of puzzlement, a drawing together of his brows, a ranging of his eyes (Deceit, 384).

Как тонко подметила Н. Д. Арутюнова, при действительном непонимании удивление или иная экспрессивная коннотация вторичны; при мнимом непонимании первична эмоциональная реакция, для которой непонимание не более чем коммуникативная начинка (Арутюнова, 1999: 677–678).

Как нетрудно убедиться, спектр изображаемых эмоциональных реакций при мнимом непонимании довольно ограничен (amazement, bafflement, puzzlement, surprise), а собеседник (он же зритель) легко угадывает неискренность, притворство и распознает истинные мотивы поведения и намерения говорящего (актера):

(11) He put on a show of incomprehension, but I could see that he was giving himself time to think, to unscramble his mind from the lunch-time drinking session (Deceit, 334).

Как показал анализ, зритель-адресат переспроса, даже сознавая, что его пытаются ввести в заблуждение, редко вступает в открытый конфликт с «актером», вербально уличая того в мнимом непонимании. Однако если это происходит, ответ принимает достаточно резкую форму:

(12) “What do you think of our Situation?” “Situation?” “Don’t look stupid. You do that deliberately. You know quite well what I mean” (Zero, 59).

Элемент притворства присутствует и в прямо противоположном случае, когда переспрос сопровождается не изображением не испытываемых на самом деле эмоций, а наоборот, своего рода сокрытием, утаиванием такого, казалось бы, естественного при столкновении с чем-то неожиданным и в силу этого не совсем понятным, чувства, как изумление:

- (13) “I would’ve felt I was taking advantage.” I tried to keep the amazement out of my face. “Advantage?” (Devotion, 345).

Во всех многочисленных ситуациях непонимания, истинного или мнимого, зафиксирован только констативно-ориентированный повтор-переспрос, что, впрочем, не исключает возможности и квеситивно-ориентированной реплики.

Диалог по своей простоте и четкости – классическая форма речевого общения («обмена мыслями»). Каждая реплика, как бы она ни была коротка и обрывиста, обладает специфической завершенностью, выражая некоторую позицию говорящего, на которую можно ответить, в отношении которой можно занять ответную позицию (Бахтин, 2000а: 264). Так, в диалоге обычной реакцией на заданный вопрос является реплика, содержащая ответ. В то же время довольно распространены ситуации, в которых квеситивно-ориентированные, т. е. вызванные вопросом, «вторые» реплики также имеют форму вопроса (так называемый возвращенный вопрос). Цель такого повтора – уяснение смысла заданного вопроса; прежде чем дать ответ, собеседник сосредоточивает свое внимание на том, о чем спрашивают, и отвечает, отталкиваясь от повторенного слова как смыслового центра вопроса. Данная разновидность выполняет в обмене репликами не только смысловую, но и синтаксическую (связующую) функцию; это своеобразная скрепа между вопросом и ответом:

- (14) “And what happened to the money?” “Happened? Had to call for the margines, yes” (Deceit, 184).

Специальные исследования показали, что интонация в таких случаях ровная, лишенная модуляций; весь повтор представлен как единый речевой блок (интонация названия). При такой как бы отрешенной, машинальной интонации размышления, произнося «возвращенный вопрос», говорящий сосредоточен уже не на нем, а на ответе; из вопроса ушел «живой голос человеческой коммуникации». Неудивительно, что, отметив все эти особенности, Н. Д. Арутюнова относит подобные повторы к нейтральной диалогической цитации (в отличие от экспрессивной цитации, о которой см. ниже) (Арутюнова, 1999: 671).

Уясняющий переспрос в той или иной степени замедляет темп диалога и в известном смысле заполняет возникающую диалогическую паузу. В большинстве случаев пауза берется для обдумывания вопроса и ответа на него. Но иногда человеку, поглощенному своими мыслями, требуется время, чтобы отвлечься от них и настроиться на волну собеседника:

- (15) “You’re not too busy on the farm?” “Busy?” He was still very preoccupied. “No” (Devotion, 186).

Естественная пауза припоминания, когда вопрос относится к событиям прошлого:

- (16) “You noticed nothing unusual – nothing out of place?” “Out of place?” She frowned for a moment (Christie, 326).

становится гораздо более значимой и весомой, если нужно не просто что-то вспомнить, но и оттянуть ответ, выиграть время для его обдумывания, как, например, в следующей ситуации, которая требует очень осторожного, взвешенного поведения: важно не сказать слишком много, чтобы не выдать сына, и в то же время дать достаточно убедительный и правдоподобный ответ:

- (17) “And what did you say to your son?” “Say?” She searched her memory. “I said... the sluice was broken, the meadow was flooding” (Devotion, 277).

Предоставляемое переспросом время дает возможность подыскать уклончивый ответ, который не будет воспринят собеседником как резкий и категорический отказ:

- (18) “Monday then?” “Monday?” I echo tautly. “I’m not sure. I’ve so much...” (Deceit, 17).

В подобных случаях повтор выступает как своего рода риторическая уловка (Рождественский, 1999: 271).

Кратковременная пауза, замедляющая темп диалога, используется говорящим для того, чтобы собраться с мыслями, обдумать следующую реплику, т. е. совершить определенные умственные действия; в таких случаях можно говорить о медиативной функции паузы. Паузы припоминания и размышления могут сопровождать уясняющий переспрос в рамках одной коммуникативной ситуации:

- (19) “When did you last see Grace, then?” There was an abrupt pause. I amended, “I mean, last see her to talk to.” “To talk to.” He thought back. “It must have been three weeks ago, I suppose.” “And she seemed all right? Normal?”

“Normal?” For some reason this question made him frown. “Well, she was in sparkling form, no problem about that. *Sparkling form.*” (Здесь и далее курсив оригинала. — О.Е.) Impulsively I sat forward. “Tell me about her, Barry. Tell me what she was really like.” “*Really like?* Blimey, there’s a question. A bit of a mystery, really, like most women. ...*Really like?*” he echoed. For a while I thought he was going to palm me off with something superficial, but he took his time, he considered his answer carefully. “She was a funny old mixture, all sweetness and light on the outside, but tough on the inside” (Devotion, 342).

Разговор содержит несколько повторов-переспросов. Видимо, задаваемые собеседником вопросы кажутся несколько неожиданными и не совсем понятными. В этом нет ничего странного, поскольку речь идет не о каких-то обычных, повседневных делах, а о таком сложном и тонком явлении, как человеческий характер, особенности его психоэмоционального состояния. Действительно, чужая душа — потемки, а понятие нормы с большим трудом поддается точному определению в противоречивой сфере эмоций и ощущений. Бэрри понимает, что вопросы продиктованы не простым любопытством, а искренним желанием собеседника разобраться в крайне запутанной ситуации и помочь дорогим ей людям, а для этого нужно знать правду. Безошибочно уловив какую-то недосказанность в ответе Бэрри, Алекс чувствует, что именно сейчас она может узнать что-то важное. Боясь упустить момент, она слегка «давит» на собеседника, переходя от вопроса к более настойчивой императивной форме. Рассказать о том, каков человек на самом деле, — задача действительно непростая; замешательство, растерянность заставляют Бэрри дважды повторить поразившие его «чужие слова» really like.

Интересно понаблюдать за ответами других персонажей романа на подобные вопросы. Они как бы пробуют их на вкус: ответы предваряются неизбежными переспросами; замешательство, вызванное неожиданным характером вопроса, желание вникнуть в его истинный смысл, стремление найти веские аргументы для убеждения собеседника — все это буквально с протокольной точностью фиксируется в комментарии героини, от лица которой ведется повествование:

- (20) “Did she seem... different in any way? Did you notice anything unusual?” “*Unusual?*” An expression of puzzlement came over her face while she tried to work out what I could mean by that. “*Unusual?* No. No... Grace was the same always. You

know, calm and together... Never a moment's panic. I mean, never. *But unusual?*" she echoed, considering the idea once more. "No, can't think of a thing" (Devotion, 84).

Еще более сложным, чем вопрос об обычности/необычности поведения Грейс накануне ее исчезновения, оказывается для хорошо знавших ее людей вопрос о том, была ли она счастлива. Не каждый день приходится отвечать на такие вопросы; они вполне могут поставить в тупик. Но если для одного из адресатов вопроса само понятие счастья — загадка:

- (21) "Did she appear happy to you?" "Happy?" His expression suggested that the very concept was an enigma to him, and I saw him as a kid again, hurt and permanently angry. "God," he sighed, looking into the fire, "you do ask some questions. Happy. Well... she seemed cheerful enough" (Devotion, 154).

то у другого аналогичный вопрос вызывает неодобрение, словно в нем есть что-то не совсем приличное: как можно вообще подвергать сомнению нечто само собой разумеющееся?!

- (22) "She seemed happy?" "Happy?" Anne Hampton's brows twitched with faint disapproval, as though in asking the question I had made a vaguely dishonourable suggestion. "Absolutely. *Very* happy" (Devotion, 84).

Вопрос о том, счастлив ли тот или иной герой, еще не раз звучит на страницах этой книги — и всегда его воспринимают очень серьезно, не уходят от ответа и не пытаются просто отшутиться. В этой связи приходят на память очень меткие наблюдения А. Вежбицкой о слове *happy* как одном из самых употребительных слов американского стандарта и его соответствиях в других языках и культурах (уточним, что рассмотренные ситуации взяты из английского психологического романа). Если фразу: *Is everybody happy?* — можно услышать в Америке на каждой вечеринке, то для «наших страдающих славянских душ» это слово имеет более узкое значение. Обычно оно употребляется для обозначения редких состояний полного блаженства или совершенного удовлетворения от таких серьезных вещей, как любовь, семья, смысл жизни и т. п., и не используется столь широко, как в разговорной речи американцев (Вежбицкая, 1997: 340). Подчеркнем, что именно такой смысл вкладывают в слово *happy* герои романа.

Завершая эту часть исследования, отметим, что для большинства описанных ситуаций характерен достаточно нейтральный

общий эмоциональный тон, соответствующий спокойному, доверительному разговору. Обилие уясняющих переспросов связано прежде всего с тем, что содержание инициальных реплик (часто это какой-то их элемент, «зацепивший» собеседника, особенно привлечший его внимание и ставший для него своего рода прагматическим пиком) заставляет задуматься, сосредоточиться, не торопясь, тщательно подготовить искренние и максимально исчерпывающие ответы на весьма непростые вопросы.

Коммуникативные функции повторения-вопроса не ограничиваются уяснением сказанного. Не менее часто повтор служит для выражения разнообразных спонтанных эмоциональных реакций на сказанное – его форму и содержание. Одной из наиболее распространенных, можно сказать базовых, эмоций, связанных с переспросом, оказывается удивление, на котором следует остановиться подробнее.

Удивление, вызванное вопросом, находит регулярное эксплицитное выражение в авторском комментарии, содержащем слово *surprise*; отмечена также высокая частотность глагола *to stare*. Если переспрос вызван общим вопросом, который характеризуется как вопрос предикативного содержания и включает запрос относительно реальности связи между носителем признака (в самом широком смысле) и предиктируемым ему признаком (Иванова, Бурлакова, Почепцов, 1981: 175), ответ, как правило, оказывается отрицательным. Весьма показателен следующий пример, в котором детально обозначена эмоциональная реакция на вопрос, а исходное высказывание в переспросе разделено на два, что значительно усиливает его экспрессивность (и это практически единственный случай подобного преобразования инициальной реплики во всем исследованном материале):

- (23) “Did she take things to make her sleep?” Rogers stared at him, surprised. “Take things? To make her sleep? Not that I know of. I’m sure she didn’t” (Christie, 199).

Повтор в виде двух отдельных переспросов образует своего рода эмоциональную прослойку между вопросом и ответом, давая понять необоснованность, неуместность и полную невероятность высказанного собеседником предположения.

Именно удивление как впечатление от чего-то неожиданного, странного, непонятного чаще всего находит свое выражение и в констативно-ориентированных переспросах. Удивление могут испытывать самые разные люди в самых разных ситуациях и по самым разным поводам, но все это разнообразие замечательно ук-

ладывается в предложенное А. Вежбицкой толкование эмоционального концепта Surprise: X чувствует что-то; иногда человек думает примерно так: это произойдет; если бы я подумал об этом, я бы сказал: этого не произойдет; поэтому этот человек чувствует что-то: X чувствует что-то похожее (Вежбицкая, 1997: 339).

«Что-то похожее» чувствуют многие говорящие при произнесении повтора-переспроса. Источником испытываемой эмоции могут быть серьезные, действительно важные события, отраженные в инициальной реплике:

- (24) “But it seems strange that she disappeared on the very night someone tried to flood the Gun Marsh.” Now it was he who’d caught me by surprise and I didn’t attempt to conceal the fact. “Someone tried to flood the marsh? Deliberately, you mean?” (Devotion, 156).

Значимость события и, исходя из опыта коммуникантов, его необычность и малая вероятность подчеркиваются повтором достаточно большой части исходного высказывания (отметим, что подобные полносоставные повторы встречаются в исследованном материале не часто). С другой стороны, бурную эмоциональную реакцию может вызвать такой незначительный и безобидный (с точки зрения человека непосвященного) факт, как незнание сроков начала охоты. Мы сочли возможным полностью привести достаточно длинный отрывок текста, поскольку автору, за счет мастерского сочетания лингвистических и паралингвистических средств удалось, на наш взгляд, создать удивительно живую, яркую и ироничную картину не совсем адекватного ситуации поведения одного из коммуникантов, который явно преувеличивает испытываемое им удивление, граничащее с возмущением:

- (25) “I thought you’d be out shooting”, I said, closing the door and following him across the hall. “*Shooting?*” He flung an incredulous look over his shoulder. “*Shooting?*” he repeated on reaching the kitchen, and rolled his eyes as if I were mad. “I thought you went every weekend.” “Alexandra, where *do* you come from? What *planet* do you inhabit? The season ended three weeks ago. I’d be arrested!” “Oops.” I put on a stupid face. “I forgot.” He sighed heavily, “What *planet?*” (Devotion, 101).

Спектр эмоций, сопровождающих квеситивно- и констативно-ориентированные повторы-переспросы, не ограничивается удивлением; он весьма богат и выражен, главным образом, в

авторской речи. Эмоции и испытываемые психофизические состояния могут быть названы в тексте (Miss Lemon was startled; my disappointment rang clearly); для их обозначения широко используются и паралингвистические средства — как мимические (She frowned at this strange question), так и акустические, отражающие произносительную специфику (He said sharply). Обычно решающая роль принадлежит голосу. Переживаемую эмоцию в первую очередь выдают тон, громкость, интонация и другие характеристики звучащей речи. Однако в следующей ситуации задействован не акустический, а визуальный канал. Интересно, что передаваемая по этим двум каналам информация не совпадает: возможно, инспектору полиции легче и привычнее контролировать свой голос, чем выражение лица:

- (26) “...she called him Jerry — and she told me to cook the lunch.”
“She told you to cook the lunch?” Wexford said in a neutral tone. The incredulity was in his face (Rendell, 83).

Кроме того, чувства и эмоции легко угадываются и не будучи никак охарактеризованы в авторской речи, путем привлечения более широкого контекста. Так, за повтором-переспросом может стоять недоумение, обида, горечь, раздражение, ирония, досада и многие другие эмоциональные реакции, вызванные инициальной репликой в целом или каким-то ее компонентом. Например, информация о персонажах и отношениях между ними, которой уже располагает читатель, дает основания утверждать, что коммуникативная цель повтора — не выяснение услышанного:

- (27) F r e d e r i c k: I didn't consult you because the idea came up quickly and Payson had to get his ticket before the traffic office closed for the week end.

C a r r i e: *Payson had to get his ticket?*

F r e d e r i c k: I thought you'd given up going through my checkbooks (Plays, 172).

В реплике, которой Кэрри прерывает собеседника, явно звучат ирония, сомнение, недоверие, основанные на уверенности в полной неплатежеспособности Пэйсона, который никак не мог сам оплатить свой билет.

Невозможно не заметить, что большинство квеситивно-ориентированных переспросов связаны с выражением отрицательного отношения к содержанию инициального высказывания — от недоумения и досады до крайнего удивления, близкого к возмущению, и резкого несогласия:

- (28) “And was Mr Clayton jealous of him, too?” “Jealous of Jock? What an idea!” (Christie, 334).

Выражение несогласия, т. е. неприятия высказанного собеседником суждения (включая оценочные) – одна из важнейших коммуникативных функций и констативно-ориентированных повторов. Напомним, что писал М. М. Бахтин о введенных в нашу речь чужих словах: они «неизбежно принимают в себя новую, нашу, интенцию, т. е. становятся двуголосыми. Различными могут быть лишь взаимоотношения этих двух голосов. Уже передача чужого утверждения в форме вопроса приводит к столкновению двух интенций в одном слове: ведь мы не только спрашиваем, мы проблематизируем чужое утверждение» (Бахтин, 1994: 87–88).

Респонсивные высказывания несогласия, содержащие переспрос, – яркое проявление встречной активности адресата как равноправного участника коммуникации. Уже давно стало общим местом, что адресат во время совершения говорящим речевого действия далеко не пассивен: он либо воспринимает, либо отвергает оказываемое на него воздействие. В современных исследованиях вводится понятие особой диалогической модальности несогласия, связанной с эксплицитным или имплицитным выражением негативной реакции на пропозициональные компоненты смысла инициального высказывания (Баскова, 1994: 6). Полносоставные повторы достаточно редки; гораздо чаще из инициальной реплики выбирается тот компонент, который вызвал отрицательную реакцию. Категоричность несогласия может иметь разную степень; она определяется коммуникативной стратегией говорящего, установкой на соблюдение/несоблюдение Принципа Кооперации, вежливости, а также его эмоциональным состоянием и степенью важности обсуждаемого предмета. Ср. респонсивные реплики несогласия с переспросом, выражающие категорическое несогласие со словами собеседника и содержащие эксплицитно выраженное возражение (опровержение) с одной стороны (Glad? He’s jealous of her as hell! Nothing to go on? Rubbish!), и реплики, передающие неприятие позиции собеседника в более мягкой форме (Reflecting? Is this a time for reflection?).

Особенно показательна «проблематизация чужого утверждения» в следующем примере: несмотря на гораздо меньшую формальную категоричность несогласия с оценкой, высказанной в инициальной реплике, избранный говорящим более уклончивый, хотя и ядовито-ироничный, способ выражения не оставляет никаких сомнений относительно мнения доброй бабушки о своем любимом внуке:

- (29) “He seemed a sweet child.” “Sweet?” She lunged for a cigarette and this time the lighting did not go so smoothly. “Sweet?” she repeated, dropping the lighter onto the table with a clatter. “Well, if you like children who’re half wild and totally uneducated” (Devotion, 137).

Повторы, связанные с выражением различных эмоциональных реакций, чаще всего отрицательных, должны быть отнесены уже не к нейтральной, а к экспрессивной цитации, «которая передает негативное отношение к реплике собеседника или зафиксированной в ней жизненной позиции» (Арутюнова, 1999: 672). Принадлежащее Н. Д. Арутюновой определение цитации как «словесного бумеранга» очень точно отражает суть описываемого явления. Повтор – реплика экспрессивно-реагирующая и эмоционально окрашенная: «...перехватив стрелу, адресат тотчас бросает ее в противника» (Арутюнова, 1999: 670). Как мы уже могли убедиться (и как будет видно из дальнейшего анализа), отпор может быть направлен против выраженной в чужой речи точки зрения, оценки, решения, жизненной или коммуникативной позиции. Экспрессия говорящего распространяется, таким образом, на чужую речь, которая, в соответствии с вложенной в нее новой интенцией, переакцентируется и начинает звучать совершенно иначе:

- (30) Alone with Devenish, who took him into a room he called the study, he asked if the man had any enemies. “Enemies?” Stephen Devenish made it sound a ludicrous suggestion (Rendell, 159).

Разные люди могут совершенно по-разному воспринимать и соответственно переакцентировать чужие слова; например, в приводимом повторе полностью отсутствует едкий сарказм, окрасивший слово *techniques* при его воспроизведении другим персонажем в более ранней ситуации:

- (31) “There are psychological techniques that can help children deal with procedural anxiety and, sometimes, even reduce the pain itself.” “Techniques,” she said, echoing the way Vicki Bottomley had, but with none of the nurse’s sarcasm. “That would be great...” (Kellerman, 37).

По наблюдениям специалистов, просодика экспрессивной цитации определяется эмоциональным озвучиванием нейтральной интонации названия: эмоции как бы накладываются на ровный интонационный «грунт». Эффект эмоциональности создается фонационными и артикуляционными изменениями:

- (32) “I mean, it was good for the children. They needed to get away.” “Needed to get away?” She exaggerated the words. “We could all do with getting away!” (Deceit, 38).

Средства экспрессивной просодии (мена регистра, артикуляционной базы, назализация и др.) особенно широко используются при мимесисе (передразнивании). В качестве формального показателя часто выступает глагол to *mimick*. Передразнивание возникает, как правило, в конфликтной ситуации — споре, ссоре, выяснении отношений — при значительном несовпадении жизненных установок, взглядов и позиций коммуникантов. При повторе-передразнивании исходная реплика обычно приводится полностью; верный признак мимесиса — первое лицо говорящего не преобразуется во второе лицо адресата:

- (33) “I really can’t see the point of discussing this,” she said in a voice that was pitched too high. “Far too much dirt has been peddled already.” “Yes, well, Meg always said you were a tight-arsed bitch who’d rather see everything swept under the carpet that have it aired in public.” She clutched at the table with a meaty feast and affected a classy accent. “Oh, I say, I can’t see the point of discussing this” (Room, 77).

Передразнивая собеседника, говорящий как бы трансформируется в другого человека, выделяя и утрируя проявляемые в его речи акустические, поведенческие и психологические характеристики, и создавая тем самым речевую пародию или карикатуру на него.

- (34) J a m i e (*bitterly*): The cures are no damned good except for a while. The truth is there is no cure and we’ve been saps to hope. — (*Cynically*.) They never come back!

E d m u n d (*scornfully parading his brother’s cynicism*): They never come back! Everything’s in the bag! We’re fall guys and suckers and we can’t beat the game! (*Disdainfully*.) Christ, if I felt the way you do...! (Plays, 56).

По меткому наблюдению Н. Д. Арутюновой, пародируя чужую речь, говорящий часто ставит под сомнение подлинность ее «эмоциональной упаковки»: он низводит жалобы до уровня нытья, чувствительность переводит в сентиментальность, твердость в резкость и т. д. (Арутюнова, 1986: 54). В данном же случае, как явствует из авторских ремарок, именно цинизм, с которым один из братьев, говоря о матери, выражает довольно распространенное мнение о невозможности наркоманов излечиться и вернуться к нормальной жизни, вызывает резкую реакцию неприя-

тия у другого брата. Следующие за повтором и созвучные ему утверждения о том, что все предопределено и от судьбы не уйдешь, — явно не его, а «чужие» слова, точное авторство которых установить невозможно. В таком контексте и инициальная реплика *They never come back* может интерпретироваться как своего рода неявная цитация, повторение не раз слышанных или прочитанных «чужих слов».

В ситуациях конфликта передразнивание выступает как особый риторический прием для обличения противника, для указания на неадекватность или неэтичность занятой им позиции:

- (35) “Oh, God, no more bloody lectures. Anyone would think you were forty-four not thirty-four.” He raised his voice to a falsetto, mimicking her. “You’re old enough to stand on your own two feet, Miles. You can’t expect your mother to give you Porsches all your life. It’s time to move out, find your own place, start a family.” “I don’t understand why you don’t want to.” “Because Dad refuses to ante-up, that’s why... If we want out, we do it the hard way and graft for ourselves.” “Then welcome to the human race,” she said scathingly. “What the hell do you think the rest of us do?” His voice rose again, but this time in anger. “You damn well never had to graft. You stepped straight into Russel’s money without lifting a finger. Jesus, you’re so bloody patronizing.” “Welcome to the human race, Miles” “You piss me off, Jinx, you really do” (Room, 46).

В начале приведенного отрывка передразнивающий свою сводную сестру персонаж произносит слова, которые не зафиксированы ранее в тексте романа, поэтому судить о точности воспроизведения цитируемого высказывания сложно. Это целая жизненная программа; видно, что проблема обсуждалась неоднократно и, возможно, отдельные компоненты цитации звучали в разное время в разных ситуациях. Однако стоящие за приведенными «чужими словами» эмоции — горечь, обида, сопровождающие полное неприятие выраженной в них жизненной позиции — совершенно очевидны. Второе вкрапление «чужой речи», повторяющее только что сказанное, вряд ли можно однозначно идентифицировать как передразнивание. Следует отметить и разные функции изменения фонации, обозначенные в авторском комментарии. Если в первом случае намеренный переход на неестественно высокий тембр используется для имитации женского голоса, то повышение тона во втором случае, скорее всего неосознанное, происходит под наплывом сильной эмоции. Здесь выражен не менее решительный

протест против проповедуемых собеседником правил и принципов. Внимательно вчитываясь в приведенный отрывок, буквально слышишь, как используемое говорящим чужое слово переакцентируется, получая совершенно иное, «оппозиционное» звучание. Вряд ли можно найти более точное и образное описание этого процесса: «Второй голос, поселившийся в чужом слове, враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет его служить прямо противоположным целям. Слово становится ареной борьбы двух интенций» (Бахтин, 1994: 86).

Невозможно не заметить, как часто в авторском монологе, комментирующем речь персонажей при различных видах экспрессивной цитации, автор текста подробно описывает те или иные свойства голосов, легко создавая эффект непосредственного присутствия читателя при озвученном таким образом диалоге, например: *His voice was ready to pounce; She repeated in a cold voice; His tone became sharp; There was bitterness in his voice* и т. д. Голос и тон вообще относятся к важнейшим факторам, определяющим и организующим речевую коммуникацию. В ходе диалога голос служит чрезвычайно мощным инструментом воздействия, убеждения, подавления. Им можно выразить самые разные чувства и отношения – нежность и ласку, сострадание и покорность; презрение и ненависть; в голосе можно услышать иронию и насмешку, радость и сожаление, восхищение и боль. Давно замечено, что люди вообще крайне чутки к малейшим колебаниям в голосе собеседника. Они ловят неожиданные интонации, реагируют на изменившуюся силу, высоту или тембр голоса, внезапно наступающие паузы, всевозможные нюансы в голосовой игре. Голосу, как и лицу, можно придать определенное выражение. «Сам голос – это актер, имитатор, притворщик» (Крейдлин, 2000: 474).

Все сказанное относится и к тем случаям, когда повтор-переспрос выступает как спонтанная реакция не на содержание инициального высказывания, а на его форму, выражая несогласие адресата с выбором слов и выражений собеседника:

- (36) “I didn’t think it was worth bothering you.” “Bother? I wouldn’t have called it bother,” I say, giving a strange half-laugh to offset the tartness of my voice (Devotion, 230).

В некоторых ситуациях какое-то отдельное слово так привлекает внимание адресата, что отвлекает его от общего смысла речи своей необычностью, неожиданностью или несоответствием его представлениям об обсуждаемом предмете:

- (37) “Ah, what a comfort that would be!” “A *comfort*?” I stared. The word seemed to be a very extraordinary one to use (Christie, 14).

Как констативно-, так и квеситивно-ориентированные повторы могут иметь и невопросительную форму. По пунктуационному признаку их можно разделить на повторы-восклицания и повторы-невосклицания. Знаки препинания, стоящие в конце повтора, уточняют выполняемую ими функцию. Они становятся дополнительными сигналами, свидетельствующими о предполагаемой интонации, с которой данный повтор произносился бы в условиях реальной коммуникации.

Повторы-восклицания чаще всего являются спонтанной эмоциональной реакцией, выражающей, как правило, отрицательное отношение к содержанию или форме инициального высказывания. Все они, безусловно, относятся к экспрессивной цитации и звучат в эмоционально-насыщенных, подчас драматических ситуациях:

- (38) “Are you mad?” he cried. “Do you want everyone to suspect you?” “Suspect *me*!” screamed Jill. “He poisoned my father!” And she spat at Ronnie (Letter, 115).

Иногда адресат настолько потрясен услышанным, что даже не может завершить повтор:

- (39) “It also contains a covering note. Written by me to” – he paused. “To our father,” he added. “To our!” Angela broke off and breathed very quickly. She had gone very pale (Letter, 72).

Насмешливое недоверие, окрашенное иронией возражение – типичные эмоции, выражаемые восклицательными повторами:

- (40) “He tried to blackmail me,” said Nevil, still busy with the cups. “Blackmail! Reginald Myrtle! On your income! That’s a joke” (Letter, 65).

Столь же часто в повторе, спровоцированном каким-то оценочным компонентом инициального высказывания, звучит горькая ирония:

- (41) “It must be hard, I know.” “Hard!” He gave a caustic laugh (Devotion, 188).

Гораздо реже восклицательный повтор связан с выражением положительных эмоций – радости, восхищения (правда, спра-

ведливости ради, следует упомянуть о легком алкогольном опьянении автора повтора, объясняющем такой бурный энтузиазм):

- (42) “Isn’t that... Edward? Is he...?” “My brother.” “Your *brother!*” she cried. “*Edward!* Well, well... And her eyes took on an admiring light. “*Well!* Such a nice chap!” (Devotion, 139).

Для повторов второго типа трудно подыскать какое-то особое название; определим их «от противного» как повторы-невосклицания. Может показаться, что вместе с восклицательным знаком из повтора уходят и экспрессивность, и эмоциональность, однако многие из них кажутся не менее выразительными — часто благодаря авторскому контексту, в котором фиксируется невербальная сторона коммуникации:

- (43) “That may sound cynical – sorry – but I’m afraid that’s what the media are for. Visible emotion. Sincerity.” “Sincerity.” He gave an ugly chuckle. “Is that what it looked like?” (Devotion, 187).

Как и в большинстве других случаев, из исходного сообщения адресат выбирает наиболее значимое для него слово, зацепившее его своим несоответствием обсуждаемой ситуации. Повтор звучит как окрашенное иронией возражение: как можно понять из следующих за ним слов, сам персонаж расценивает свое поведение отнюдь не как проявление искренности.

Даже лишенный восклицательной интонации, повтор остается репликой экспрессивно реагирующей и эмоционально окрашенной. Иногда для расшифровки эмоции необходим авторский комментарий; например, в коротком Monday слышится разочарование, сожаление о том, что придется так долго ждать новостей:

- (44) “I’ll call as soon as I have anything from our investigator. Hopefully some time tomorrow, but Monday at the latest.” “Monday.” He made it sound an impossibly long way off (Devotion, 97).

Как известно, тихий голос может быть выразительнее громкого в плане передачи эмоций:

- (45) “How long it is?” “Twelve years, I think.” “*Twelve,*” he murmured. “God” (Devotion, 62).

За этим негромким, но получающим шрифтовое выделение *twelve* в сопровождении ситуативного междометия *God* стоит глубокое переживание. Говорящий поражен услышанным, он и представить не мог, что прошло уже столько лет. Часто создается

впечатление, что, произнося подобный повтор, его автор обращается скорее к себе самому, чем к собеседнику. Повтор фиксирует наиболее важный для него элемент исходного высказывания, тот «прагматический пик», который дает толчок размышлениям или воспоминаниям:

- (46) “When was this again?” “When Edward was nine.” “Nine...” (Devotion, 392).

и далее мысли героини обращаются к прошлому, к тому году, когда в жизни их семьи произошли драматические изменения. Многоточия вообще весьма выразительны; они, как и обозначаемые ими паузы, отражают различные состояния говорящего. Колебания, нерешительность, возможно, желание потянуть время, чтобы придумать, как уклониться от выполнения просьбы собеседника, когда он не решается ответить решительным отказом — вся эта гамма чувств передается сочетанием вербальных и невербальных средств:

- (47) “Just say it’s urgent. Offer to pay if necessary.” “Urgent, yes...” He clasped his neat white hands, he looked a little uncertain (Devotion, 355).

При этом формальное согласие с оценкой ситуации собеседником звучит весьма неубедительно, как-то автоматически.

Гораздо определеннее согласие выражено в следующем примере:

- (48) “I don’t know. It’s just — queer.” “Queer,” said Battle thoughtfully. “That’s what I feel about this case. It’s queer.” “Everything’s been queer. There’s been a feeling — I can’t describe it. Something in the air. A menace” (Zero, 142).

Привлекает внимание настойчивое повторение слова *queer*; подхваченное адресатом инициального высказывания, оно возвращается к автору оценки как бы в опосредованном виде. Слово, наиболее точно описывающее ситуацию, найдено и одобрено. Такое ключевое слово может оказаться совершенно неожиданным для автора инициального высказывания. Адресат, не дожидаясь, что последует за союзом *but*, буквально врывается в разговор, перебивая собеседника и выхватывая зацепившее его слово:

- (49) “Of course I’ve been happy, radiantly happy. But —” Kay cut in. “*But* — that’s it! There’s always been a “*but*” in this house. Some damned creeping shadow about the place” (Zero, 30).

Отметим, что повтор союза достаточно редок; нам встретился всего еще один такой случай, причем функция повтора иная: побуждение продолжить прерванное высказывание:

- (50) “Sure, I know that,” he said. “Sure, but —” I glanced at his steadfast face. “But?” “There’s talks,” he said uncomfortably (Deceit, 126).

Обычная схема ситуации с повтором такова: автор инициального высказывания выражает определенное мнение или оценку, его собеседник, используя повтор наиболее важного компонента, соглашается или, что значительно чаще, не соглашается (принимает/не принимает, одобряет/не одобряет услышанное). Иная схема представлена в ситуации, где говорящий не может по какой-то причине подобрать нужное слово; адресат приходит ему на помощь, подсказывая подходящее слово, принимаемое собеседником:

- (51) “All she wanted was to own him, to destroy his soul, his —” She lost the word. “Spirit?” “*Spirit*,” she affirmed with passion. “His spirit” (Devotion, 479).

Сравним ситуацию, где говорящий не удовлетворен избранной дескрипцией (многоточие показывает, что и она далась ему с трудом). Высказывание, в отличие от предыдущего примера, закончено; помощь адресата, предлагающего более точное слово, не обязательна, однако она также принимается:

- (52) “I would say she was a... *restless* spirit.” He frowned at the description, as though marginally dissatisfied with it, but appeared to find nothing better. I waited again, in case he said more. Finally I murmured, “A searcher, then.” We seemed to be getting each other’s drift. “Yes,” he replied quietly, “a searcher” (Devotion, 229).

В таких ситуациях хорошо виден в действии принцип кооперации Грайса: заинтересованность в предмете разговора, готовность пройти свою часть пути навстречу партнеру, да еще и помочь ему — действительно способствуют взаимопониманию и, следовательно, успешности коммуникации.

Однако коммуникативные намерения говорящих не всегда столь чисты и благородны. Следующий отрывок диалога — своего рода игра при разговоре героини, имеющей непосредственное отношение к гибели своего мужа, и инспектора полиции. Задача героини — показаться как можно более несведущей в вопросах управления яхтой, создать впечатление, что она совсем не разбирается во всех этих технических тонкостях, плохо себе представляет, как что

называется. В ходе своего рассказа она постоянно обращается за помощью к собеседнику, всячески акцентируя свою полную беспомощность, а значит, и непричастность к убийству, потребовавшему хорошей технической подготовки. Цепь повторов подсказанных слов создает видимость попытки запоминания, закрепления якобы совершенно незнакомых ей терминов:

- (53) “He was taking a pipe off some of those things that brings water into the boat – a sort of nozzle thing –?” “An inlet.” “An inlet. Anyway when he eventually got the hose off, the water gushed in. Just gushed in. He hadn’t turned the wheel thing off properly –” “The stopcock.” “The stopcock. It was jammed” (Deceit, 448).

Говоря о выборе слов в процессе общения, невозможно обойти следующий пример, где главная роль в отборе повторяемого элемента исходной реплики определяется не его коммуникативной значимостью, а действительно весьма ярким и необычным словосочетанием *pure crime*, которое адресат воспринимает как забавную игру слов и не упускает возможности продемонстрировать якобы присущее ему тонкое чувство юмора и умение оценить «острое словцо»:

- (54) “I take on quite a lot of family work,” I explained. “Child custody cases and so on. But I do pure crime, too.” “Pure crime. I like that.” He creased his face to show he could appreciate even the subtlest humour (Devotion, 84).

Подводя краткие итоги рассмотрения чужого слова во внешней речи, можно отметить следующее: основная масса повторов представляет собой непосредственную и всегда экспрессивно-окрашенную реакцию на высказывание собеседника. Воспроизводя инициальную реплику (или ее фрагмент), говорящий вкладывает в нее свою, новую интенцию, используя в иных по сравнению с исходным высказыванием коммуникативных целях: уяснения сказанного, выражения непонимания, несогласия и самых разных (главным образом, отрицательных типа отпора и протеста) эмоциональных реакций, вызванных такими параметрами воспроизводимой речи, как истинность, обоснованность, уместность, выбор слов и выражений и многое другое.

ГЛАВА 8

ЧУЖОЕ СЛОВО ВО ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ

Разнообразные коммуникативно-прагматические функции внутренней речи осуществляются в более или менее развернутых внутренних монологах, зачином которых служит чужое слово. Как правило, это индивидуальный монолог того или иного персонажа; значительно реже встречаются случаи коллективного монолога (см. пример (5)).

Переходя к рассмотрению использования чужого слова во внутренней речи, подчеркнем, что мы исходим из ее традиционного понимания как речи произнесенной, противопоставленной реально звучащему высказыванию. Эта оговорка необходима в связи с существующим неправомерно расширительным, на наш взгляд, подходом к этому явлению. Так, в уже упоминавшейся работе Ю. М. Сергеевой (Сергеева, 1996) предлагается трактовка понятия «внутренняя речь» как объединяющего все многообразие речевых процессов, возникающих в сознании индивида и не адресованных реальному собеседнику, а образующих процесс интраперсонального общения, т. е. общения индивида с самим собой. Трудно согласиться с безоговорочным отнесением к внутренней речи таких неоднородных явлений, как «громко произносимые, развернутые фрагменты речи; и речь, произносимая про себя; и речь, существующая на уровне обычных слуховых представлений, почти лишенных словесной оболочки (так называемая чистая мысль); и речь, представленная на уровне эйдетических образов со всеми особенностями звучащего голоса; и слуховые галлюцинации и псевдогаллюцинации» (Сергеева, 1996: 4).

Внутренняя речь — действительно весьма сложный и неоднородный феномен, в котором различают:

1) внутреннюю речь как планирование и контроль «в уме» речевых действий;

2) внутреннее проговаривание — беззвучная речь «про себя», выполняющая те же функции планирования и контроля и возни-

каюшая в определенных ситуациях деятельности (особенно при затруднениях в принятии решений, в условиях помех и т. д.);

3) один из этапов внутреннего программирования как фазы порождения речевого высказывания (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990: 85).

Важно то, что внутренняя речь как внутреннее проговаривание отличается от остальных видов по используемым средствам. При внутреннем проговаривании используется естественный язык, в других видах – определенным образом организованная система предметных значений, независимых от конкретного национального языка (Там же). Уже в силу этой особенности – использования естественного языка – внутреннее проговаривание представляется ближайшим аналогом воспроизводимой внутренней речи в художественном тексте.

Как писал М. М. Бахтин, все существенное в оценивающем восприятии чужого высказывания выражено в материале внутренней речи. «Ведь воспринимает чужое высказывание не немое бессловесное существо, а человек, полный внутренними слов. Все его переживания – так называемый апперцептивный фон – даны на языке его внутренней речи и лишь постольку соприкасаются с воспринимаемой внешнею речью» (Бахтин, 2000б: 448).

Чужое слово во внутренней речи персонажей художественных произведений достаточно часто встречается в форме небольших фрагментов – повторов только что прозвучавшей реплики (или ее части) собеседника. Это спонтанный мысленный отклик; он выступает как своеобразная переключка с внешними произнесенными словами, получающими в мыслях персонажа особый акцент:

(1) Will laughed. “Forgotten it all, Ali?” *Ali*. “Looks like it” (Devotion, 167).

Мысленный повтор обращения, выделенный курсивом – минимальное вкрапление внутренней речи во внешний, звучащий диалог – исключительно экспрессивен. Это коротенькое *Ali* находит в душе героини сильнейший эмоциональный отклик (так ее называл только Уилл). Можно лишь догадываться, какие чувства, переживания и воспоминания всколыхнулись в героине. Она отвечает на вопрос после едва уловимой паузы, никак не обнаруживая своих эмоций и не нарушая общего легкого тона разговора.

Как правило, мысленная переключка с чужим произнесенным словом носит комментирующий характер: персонаж по разным причинам не хочет вслух сообщить собеседнику о своих впечатлениях. Комментарий типа:

- (2) Encumbered. A strange archaic word. But I understand it well enough (Deceit, 63).

вклинивается во внешний диалог, не нарушая его течения и оставаясь тайной для партнера по коммуникации. Не высказанная вслух мысль может создавать своего рода «контрплан» диалога, имеющий корректирующую силу. Внутренняя речь персонажа, вызванная репликой собеседника и выражающая явное несогласие с самой постановкой вопроса, также строится на повторении слова из комментируемого высказывания:

- (3) He brightened. “You sure?” Sure? How could one be sure about ending something that had gone on for so long and which, for much of the time, had brought us both happiness. I forced a smile. “It’s probably the sensible thing” (Devotion, 460).

Пример интересен тем, что читателю предлагается как бы два варианта ответа на вопрос, поставленный перед героиней: внутренний (мысленный), отражающий то, что она действительно думает по этому поводу, но почему-то не хочет обсуждать, — скорее отрицательный и внешний (произнесенный вслух) — примерно такой и ожидает от нее собеседник — скорее положительный, хотя и без особого энтузиазма.

Во многих случаях довольно трудно с уверенностью сказать, почему рассказчик предпочитает не высказывать вслух свое отношение к форме или содержанию реплики собеседника и не прибегает к диалогической цитации. Однако есть вещи, о которых следует молчать, и внутренняя речь — единственный способ «высказаться»:

- (4) “You used the Zodiac, you obviously must have had some blood on your hands.” Blood on my hands. What a ring it has (Deceit, 458).

Собеседник и не догадывается о том, как могут быть восприняты его слова героиней: ведь у нее действительно руки в крови — и буквально, и фигурально (она не просто испачкалась, находясь на яхте, но самым непосредственным образом связана с убийством мужа). Менее хладнокровный и не умеющий держать себя в руках человек мог бы более бурно отреагировать на такие слова; героиня же ограничивается кратким, но выразительным внутренним комментарием.

В следующей ситуации мастерски обыгрывается более изощренный стилистический прием — введение чужой речи как во внутреннюю, так и во внешнюю речь. При этом внутренняя речь —

не индивидуальный, как обычно, а скорее «коллективный» монолог; внешняя речь — индивидуальная реплика одного из представителей данного «коллектива»:

- (5) “My God! He’s dead!” They did not take it in. Not at once. Dead? Dead? That young Norse god in the prime of his health and strength. Struck down all in a moment. Healthy young men didn’t die like that, choking over a whisky and soda... No, they couldn’t take it in (Christie, 190).

Каждый из присутствующих мысленно возвращается к тому моменту, когда Энтони Марстон впервые предстал перед ними, причем внутренняя речь почти дословно воспроизводит описание необыкновенно сильного впечатления, которое он тогда на них произвел. Пауза, вызванная сообщением доктора и заполненная коллективным внутренним монологом, заканчивается, когда один из присутствующих озвучивает их общую реакцию, используя во внешней речи повтор того же элемента инициального высказывания, который только что заставил всех буквально содрогнуться и вызвал единый мысленный отклик: “Dead? D’you mean the fellow just choked and — and died?” (Ibid.: 190).

Рассмотренные вкрапления чужого слова во внутреннюю речь персонажей по своей форме и коммуникативным функциям настолько сходны с диалогической цитацией как способом введения чужой речи в реплику внешнего, звучащего диалога, что можно, по-видимому, говорить об особой внутренней диалогической цитации. При этом тематический диапазон внутренней речи, вклинивающейся в звучащий диалог в виде коротких фрагментов текста, сравнительно узок: здесь нет длительной замены повествования ретроспективными размышлениями, нет развернутых экскурсов в предысторию персонажа или подробного описания его психологического состояния. Однако это вовсе не значит, что внутренней речи вообще не свойственны все эти функции; они осуществляются в более или менее пространственных внутренних монологах, зачином (да и поводом) которых служит чужое слово.

Если использование диалогической цитации практически в равной степени характерно для обеих форм традиционного нарратива — перволичной повествовательной формы (Ich-Erzählung, Ich-Roman) и аукторального повествования (иначе — нарратив третьего лица), то данная форма внутренней речи, как оказалось, значительно более распространена в первой из упомянутых форм. Нарратив первого и третьего лица различаются, как известно, типом повествователя. В перволичной форме он персонифици-

рован: совершает какие-то поступки, имеет хотя бы минимальную биографию и собственное имя. Это диегетический повествователь, принадлежащий миру текста. Экзегетический повествователь нарратива третьего лица, напротив, не принадлежит миру текста; его еще называют имплицитным, поскольку это рассказчик, не называющий себя. Диегетический повествователь в норме должен быть прагматически мотивированным, а не «всезнающим»: он либо рассказывает свою собственную историю, либо описывает события, которые он сам наблюдал (Падучева, 1996: 205). Как подмечено исследователями нарратива первого лица, активное самовыражение рассказчика подчиняет себе весь комплекс языковых и стилистических средств; характернейшая черта этого жанра – активная речевая деятельность рассказчика, господство его субъективного голоса и точки зрения. Еще М. М. Бахтин писал, что в «рассказе рассказчика» как композиционном замещении авторского слова «чужая словесная манера используется автором как точка зрения, как позиция, необходимая ему для ведения рассказа. <...> Ведь автору в нем важна не только индивидуальная и типическая манера мыслить, переживать, говорить, но прежде всего манера видеть и изображать: в этом его прямое назначение как рассказчика, замещающего автора» (Бахтин, 1994: 82–83).

Поскольку диегетический повествователь в интересующем нас в первую очередь нарративе первого лица не может наблюдать своих героев «изнутри», здесь возможна внутренняя речь только самого рассказчика. Обилие внутренней речи – от короткого фрагмента (вкрапления) до сравнительно развернутого монолога, представляющего собой «форму условной вербализации сложнейшего процесса внутреннего речетворчества» (Гаибова, 1986: 17), в некоторых произведениях, послуживших материалом исследования, легко объяснимо. Так, героиня, от лица которой написан роман современной английской писательницы С. Francis “Deceit” (London, 1993), в силу сложившихся драматических обстоятельств вынуждена жить в постоянном эмоциональном и психологическом напряжении, следить за каждым своим жестом и особенно словом, чтобы не навлечь подозрения в убийстве на свою невиновную дочь и не обнаружить собственную причастность к случившемуся; она особенно внимательно прислушивается к себе, буквально с протокольной точностью фиксируя все оттенки своих наблюдений и переживаний (недаром нарратив первого лица называют своего рода субъективной исповедью). Не проговориться, не сказать лишнего, никому не доверять и ни с кем не быть слишком откровенной – эта главная «установка»

героини не может не наложить отпечаток на ее коммуникативное поведение. Многие вопросы остаются незадаанными, эмоциональные реакции – вербально не выраженными. Все это находит выход в многочисленных внутренних монологах, коммуникативно-прагматические свойства которых, по справедливому утверждению М. Т. Гаиловой, как раз и отражают потребность информировать читателя о результатах вербального и эмоционального мышления и, наконец, воздействовать на эмоциональную и интеллектуальную сферу психики с целью регуляции поведения читателей (Гаилова, 1986: 17–18). Возможно, именно гипертрофированный самоконтроль героини проявляется в том, что ее внутренняя речь на редкость хорошо и четко организована; она мало чем отличается от сказанного вслух как в лексическом, так и в синтаксическом отношении. Различие заключается лишь в несколько большей отрывочности и эмоциональности. На память приходят герои английских реалистических романов XVIII–XIX вв., от которых авторы требовали не только членораздельной речи, но и логически последовательной мысли. По меткому наблюдению Е. И. Клименко, способность облекать ее в четкую форму не покидает персонажей и в минуты сильного волнения. «Даже когда душа героини полна смятения, во внутренней речи нет бессвязности: она логически абсолютно ясна, и каждое предложение остается синтаксически цельным» (Клименко, 1961: 184–185).

Из рассмотренного выше примера (4) видно, какого рода слова в высказывании собеседника «цепляют» героиню, вызывают у нее спонтанную эмоциональную реакцию, которую она не должна обнаружить вербально. В этом отношении весьма показателен еще один изолированный повтор чужого слова:

(6) He says gravely, “Be careful, won’t you?” Careful? I nod vaguely (Deceit, 23).

Слово *careful* в достаточно распространенном призыве побережь себя, т. е. позаботиться о себе (ср. *Take care*, употребляющееся в последнее время как формула прощания; см. Третьякова, 1995: 122), не содержит вообще-то намек на возможную опасность или угрозу: новый знакомый героини знает о ней лишь то, что она недавно потеряла мужа. Однако для нее это своего рода ключевое слово, сигнал опасности; она все время должна быть именно осторожной, быть настороже, следить за каждым своим словом, тщательно оберегая созданную ею легенду.

Как нам кажется, примеры (4) и (6) особенно наглядно показывают, как чужие слова, введенные в нашу речь, неизбежно

принимают в себя новую, нашу интенцию и становятся двуголосными. Героиня буквально повторяет инициальные высказывания (*Blood on my hands; Careful*), влагая, говоря словами М. М. Бахтина, в них новую интенцию и акцентируя по-своему: с выражением тревоги, беспокойства, настороженности.

Возвращаясь к выражению наиболее характерного для героини психоэмоционального состояния, приведем ее короткий внутренний монолог, начинающийся с повтора чужого слова:

- (7) “Oh, and Richard Moreland was hoping to see you.” ...Moreland. I am grateful for what he did yesterday, very grateful. But his attention worries me in some unidentifiable way (*Deceit*, 171–172).

Имя Moreland — новый сигнал опасности для женщины, не знающей, откуда ждать беды. Она все больше оказывается во власти страха — наиболее биологически обусловленной эмоции, в основе которой лежит пассивный или активный оборонительный рефлекс, определяющий астеническое или стеническое его проявление (Платонов, 1984: 144). Страх имеет различные формы, и все его разновидности — боязнь, испуг, тревожное ожидание, паника — постоянно проявляются в особенностях вербализации сознания героини: переходе субъективных явлений в слова внутренней и внешней речи.

Однако не только страх перед разоблачением движет героиней. Сложившаяся ситуация не может не сказаться на взаимоотношениях с сыном, который хочет уехать из дома и учиться в интернате. Для понимания внутреннего монолога героини очень важна вызвавшая его жизненная ситуация, поэтому придется привести достаточно объемный отрывок текста:

- (8) “But why, darling? You have to tell me why.” He pulls at the long thread that has prised loose from his shorts. He hunts for the words, almost speaks, hesitates again, and finally says in a voice that has almost faded away, “It’d be more fun, that’s all” (*Deceit*, 167).

Столь пристальное внимание героини к мельчайшим деталям поведения сына легко объяснить — «оборонительный рефлекс» получает новое направление: защитить своего ребенка, уберечь его от возможной опасности — и не потерять при этом его любовь и доверие. Слова тонкого знатока человеческой психологии М. М. Бахтина сказаны как будто об этой женщине: «Мы очень чутко угадываем малейший сдвиг интенции, легчайший перебой голосов в существенном для нас жизненно-практическом слове другого

человека. Все словесные оглядки, оговорки, лазейки, намеки, выпады не ускользают от нашего уха» (Бахтин, 1994: 94–95). И героиня мгновенно откликается на слова сына: *More fun. This takes me aback. Fun. It's not a word that has come into my vocabulary too often recently. It's not something I have considered in relation to Josh's future – or Katie's, for that matter. I've thought a great deal about the importance of being together, of supporting each other while we find our feet. But fun? I suppose he has a point. Neither Katie nor I have exactly been a barrel of laughs in the last two months* (Deceit, 167). Что же задевает героиню в словах сына, что оказывается для нее тем «существенным для нас жизненно-практическим словом другого человека», которое заставляет ее о многом задуматься? *Fun* – вот чего сын в первую очередь ожидает от интерната, вот чего ему больше всего не хватает дома. Возможно, это не совсем удачное и точное слово, но как еще может маленький мальчик объяснить, что ему тяжело и одиноко после гибели отца. Троекратное повторение слова *fun* во внутреннем монологе героини показывает, как оно ее задело, прежде всего своей неожиданностью, несоответствием ее собственным представлениям. Почему же ее спонтанная эмоциональная реакция не выражена вслух? Возможно, героиня понимает, что слишком бурный отклик мог бы обидеть мальчика, оттолкнуть, осложнить взаимоотношения, ведь, как мы могли убедиться, экспрессивный повтор чаще всего связан с выражением несогласия, неприятия высказанной точки зрения. Женщина сталкивается с определенным затруднением: она не готова обсуждать эту болезненную тему, ей нужно время все обдумать. Отсюда сбивчивый, поначалу уклончивый ответ, как бы подводящий итог ее внутренней речи и возобновляющий внешний, звучащий диалог: “*Well... okay. I mean... we'll talk about it, darling... I promise I'll we'll think about it okay? It's a big thing to decide just like that*” (Ibid.: 167). Не случайно приведенная выше цитата из М. М. Бахтина о словесных оглядках, оговорках, лазейках и т. п. заканчивается словами о том, что они «...не чужды и наших собственных уст». Действительно, мы не только очень чутко и тонко улавливаем оттенки в речи окружающих нас людей, но очень хорошо и сами владеем всеми этими красками нашей словесной палитры. Взяв себя в руки, героиня так заканчивает неприятный разговор: *I make a terrible stab at humour. “Not trying to get away from your old mum, are you?”* (Deceit, 167), высказав наконец вслух то, что ее больше всего пугает и тревожит, причем настолько, что ей легче спрятаться за шуткой, чем серьезно говорить об этом.

Болезненная тема на время забыта, но затем она вновь возникает – теперь уже в разговоре со старшей дочерью:

- (9) “What did he say?” “I think he’s hankering after the active life. Sport. Other kids. That sort of thing.” I glance away. Sport. Other kids. The sort of answer a boy would give if he didn’t want to admit to what was really bothering him (Deceit, 233).

Существенные для героини «жизненно-практические слова»: Sport. Other kids – в диалоге принадлежат дочери, но она, скорее всего, более или менее точно воспроизводит их как данное братом объяснение, т. е. это своего рода нейтральная цитация. Что касается матери, то, как следует из ее короткого комментирующего внутреннего монолога, она явно приписывает авторство этих только что прозвучавших слов сыну. Получается как бы двойная, или повторная, цитация, причем уже не такая нейтральная: чужие слова населяются чуждыми им интенциями, поскольку для матери «Sports. Other kids» звучит как пустая, но тревожная отговорка. Она по-прежнему не готова обсуждать эту проблему, она вновь сталкивается с тем же затруднением: ей нечего сказать дочери, реакция на прозвучавшие слова сосредоточена во внутренней речи героини.

Анализ показал, что герои перволичного нарратива чаще всего прибегают к внутреннему монологу, сталкиваясь с определенными затруднениями психологического, эмоционального и т. д. характера. Это позволяет провести аналогию между художественным изображением, т. е. известным образом организованной стилизацией внутренней речи, и возникновением аутентичной внутренней речи. В основу учения Л. С. Выготского легли его наблюдения за поведением ребенка трех-пяти лет в ситуации, когда он, встречаясь с затруднениями при выполнении какого-нибудь задания, начинал говорить. Эта речь ребенка, казалось бы, не была обращена к посторонним людям. Он говорил даже тогда, когда в комнате никого не было. Речь ребенка сначала описывала затруднения, а затем планировала возможный выход из них. Иногда ребенок начинал фантазировать, сталкиваясь с подобной задачей, и пытался разрешить ее в речевом плане. Специальные исследования подтвердили, что подобная «эгоцентрическая речь», не обращенная к собеседнику, действительно возникает при каждом затруднении: так, методом регистрации скрытых движений речевого аппарата было установлено, что при затруднении в решении задач не только у детей, но и у взрослых можно зарегистрировать слабо выраженные электромиографические реакции речевой мускулатуры, говорящие о повышении активности речевой моторики во время выполнения интеллектуальных задач.

Если у маленького ребенка «эгоцентрическая речь» носит развернутый характер, описывая ситуацию и планируя возможный выход, то с переходом к следующим возрастам она постепенно сокращается, а затем и совсем исчезает, превращаясь во внутреннюю речь (Лурия, 1998: 169–170).

Чужое слово во внутренней речи не ограничивается передачей спонтанной реакции на только что услышанную реплику собеседника, будь то мгновенное (в виде изолированного повтора) или сравнительно длинное (в форме более или менее развернутого внутреннего монолога) отступление от внешнего диалога с обязательным возвращением на уровень внешней, произнесенной речи.

Достаточно распространен так называемый дистанцированный повтор, отделенный от исходной ситуации значительным текстовым пространством. Такова, например, ситуация воспоминания, сопровождаемая достаточно полным ретроспективно-описательным внутренним монологом. Как правило, события прошлого всплывают в памяти не просто так, неизвестно почему (хотя возможно, наверное, и такое); в данном случае механизм памяти приводится в действие обнаружением использованных чековых книжек, в связи с чем героиня мысленно воспроизводит разговор с мужем, состоявшийся довольно давно. Интересно, что первичным оказывается зрительный образ; лишь затем вспоминаются сказанные слова:

- (10) In a rush of memory I saw Paul's knowing face in the mirror: Money's always important. I saw his mouth shaping the words with cynical relish, I heard my own vehement argument: These are country people. Money isn't that important to them (Devotion, 299).

Обращает на себя внимание то, как хорошо героиня запомнила описываемую ситуацию, которая как будто стоит у нее перед глазами. Точность воспроизведения проявляется не только в абсолютно буквальном повторе как чужой (Money's always important), так и своей собственной реплики (These are country people. Money isn't that important for them) (отметим, что в соответствии с принятым в работе определением это тоже вид чужой речи), причем это не отдельные слова, а довольно развернутые предложения. Выражение лица, манера говорить восстанавливаются детально: исходная ситуация – a curious glance in the mirror, a sardonic smile, ситуация воспоминания – Paul's knowing face in the mirror, cynical relish.

Единственное существенное отступление от «оригинала» – изменение порядка следования воспроизводимых реплик (своей и

собеседника). Такая «неточность» придает воспоминаниям большую естественность, а полемический характер исходной ситуации полностью сохраняется. Правда, как следует из продолжения внутреннего монолога, прежняя позиция героини, решительно отвергнувшей ранее вероятность финансовой подоплеки случившегося, уже не кажется ей правильной, и она пытается разобраться в причинах глубоко личного характера, побудивших ее выразить несогласие с мнением мужа: *It had been an absurd thing to say, no one is above money, <...> but I'd resented the way Paul had swept the whole population into the same greedy boat, the way he'd thrown in the people from my past, as if to diminish them in my memory* (Devotion, 299). При анализе диалогической цитации мы не раз могли убедиться в том, что предмет экспрессивно-оценочной передачи становится, как правило, речь, не принадлежащая говорящему, т. е. собственно чужая речь. В рассматриваемой ситуации представлен довольно редкий случай, когда объектом весьма строгой оценки становятся собственные слова рассказчика; возможно, в мыслях мы более критичны и менее снисходительны к себе, не боясь признать свои ошибки.

Несколько отличается от ситуации вспоминания следующий случай дистанцированного повтора:

- (11) The judge said: "There are five of us in this room. *One of us is a murderer*. The position is fraught with danger. Everything must be done in order to safeguard the four of us who are innocent (Christie, 254).

Слова судьи не вызывают ни у кого из присутствующих ни удивления, ни протеста. Что в доме убийца, им уже давно известно; гораздо страшнее то, что этот убийца — один из них. И хотя эта мысль уже не раз приходила в голову каждому, именно выразившие ее вслух слова судьи (выделенные в тексте курсивом как несущие логико-экспрессивную эмфазу) прочно закрепились в их сознании. Прошло уже много времени, а это страшное "one of us" продолжает преследовать участников событий: "*One of us... one of us... one of us...*" Three words, endlessly repeated, dinning themselves hour after hour into receptive brains (Ibid.: 257). Трудно сказать определенно, сами ли участники событий повторяют про себя засевавшие в памяти слова; скорее у них в ушах несмолкаемо звучит, гипнотизируя их, «чужой голос» (голос судьи). Как тут не вспомнить слова М. М. Бахтина об одном из героев Достоевского: «...власть в этом сознании захватило вселившееся в него чужое слово» (Бахтин, 1994: 114). Возвращаясь к началу примера, напомним, что за многозначительными, более того, прово-

кационными словами судьбы не последовало никакой спонтанной реакции. Конечно, и без ссылок на М. М. Бахтина известно, что далеко не всегда имеет место непосредственно следующий за высказыванием «громкий ответ на него». Однако трудно найти лучшее объяснение происходящих при этом процессов: «...активно-ответное понимание услышанного... может до поры до времени остаться молчаливым ответным пониманием, но это, так сказать, ответное понимание замедленного действия: рано или поздно услышанное и активно понятое откликнется в последующих речах или в поведении слышавшего» (Бахтин, 2000а: 260): ...Five people – five frightened people. Five people who watched each other, who now hardly troubled to hide their state of nervous tension (Cristie, 157) – вот как отразилось заполонившее сознание чужое слово на психоэмоциональном состоянии участников описываемой ситуации.

Принято считать, что внутренняя речь, в отличие от внешней, не принимает непосредственного участия в развитии событий, однако это не совсем так:

- (12) All the time I could hear the indistinct tones of a male voice being relayed through the tinny speaker of the answering machine. Passing the study door I could make out the words “...could call me back as soon as possible. As you can imagine we’re fairly desperate.” I stopped abruptly. The voice had jogged my memory in a place that belonged to a long time ago (Devotion, 16).

Несмотря на всю важность сообщения, звучащего как мольба о помощи и неизбежно привлекающего внимание, главное, что заставило героиню буквально замереть на месте, – это голос, всколыхнувший целый рой воспоминаний. Возможно, если бы не этот голос из прошлого, принадлежащий человеку, в которого тайно была влюблена героиня в юности, вряд ли даже такие выразительные слова столь упорно стали бы ее преследовать. Между тем чужое слово настойчиво, раз за разом всплывает в ее сознании, пробиваясь сквозь череду мелких домашних дел (*Fairly desperate...*), отесняясь на время тяжелым, неприятным разговором с мужем и вновь возникая в памяти, когда волнение уже улеглось (*As you can imagine we’re fairly desperate*). Не в силах больше противиться власти чужого голоса, героиня включает автоответчик: And then the voice which took me helplessly back to my past. “This is a message for Alex O’Neil”. Как видно из дальнейшего развития событий, чужое слово сыграло самую активную роль в развитии сюжета. Именно эти слова, даже не произнесенные

живым голосом, а прозвучавшие с автоответчика, нарушают размеренное течение жизни героини. Это толчок, первое звено в цепи драматических событий, перевернувших всю жизнь героини, откликнувшейся на «захватившее власть в ее сознании» чужое слово и нажавшей на кнопку автоответчика.

Использование внутренней речи с вкраплениями чужого слова отмечено, хотя и в меньшей степени, и за пределами перволичного нарратива. Так, в романе М. Walters “The Dark Room” (London, 1996), представляющем собой нарратив третьего лица, внутренняя речь героини играет исключительно важную роль и составляет существенную часть повествования. После тяжелой аварии девушка постепенно приходит в себя, она страдает частичной потерей памяти. Автор использует разнообразные приемы для изображения смазанности, неясности ее сознания; так, внутренняя речь героини получает последовательное шрифтовое выделение, включая все чужие голоса, звучащие у нее в голове. Это очень выразительный прием: такое чередование шрифтов оказывается весьма эффективным для передачи особого психоэмоционального состояния героини, поддерживает общее впечатление сбивчивости, нестабильности.

Поначалу героиня вообще не вступает во внешний диалог с окружающими:

- (13) She answered them in her head but never out loud. ...*When I'm ready... when I want to remember...* (Walters, 5–6).

Но все же она отвечает им мысленно, про себя, ведь воспринимает чужие высказывания не немое бессловесное существо, а человек, полный внутренних слов. Почти ничего не помня, героиня тем не менее чувствует, что, помимо аварии и тех ужасных событий, о которых ей постепенно рассказывают (гибель жениха и подруги), случилось что-то еще более страшное. По существу, все содержание романа сводится к постепенному восстановлению памяти героини, идущему параллельно с полицейским расследованием; «вспомнить все» — и тогда перестанут звучать эти навязчивые, пугающие чужие голоса в сознании героини. Процесс вспоминания отражен во внутренней речи девушки, наполненной чужими словами, только что услышанными или вдруг всплывающими в памяти. Реакция на высказывание собеседника часто оказывается неожиданной для читателя, не посвященного в тонкости весьма запутанных взаимоотношений персонажей. Трудно предугадать, какой именно элемент инициального высказывания заденет героиню и заставит ее вступить с ним в мысленную полемику:

- (14) “You’ve no idea how badly Daddy’s taken it all. He sees it as an insult to him, you know. He never thought anyone could make his little girl do something so” – she cast about for a word – “silly”. *Little girl? What on earth was Betty talking about? She had never been Adam’s little girl – his performing puppet perhaps – never his little girl. She felt very tired suddenly* (Ibid.: 18).

По воле автора героиня совершенно бессознательно в первую очередь откликается на то, что для нее является самым главным – отношения с отцом, пропуская мимо ушей, казалось бы, гораздо более важную информацию. Явный протест вызывает у девушки «неправильная», с ее точки зрения, дескрипция *his little girl*, совершенно не отражающая суть этих отношений. Троекратное мысленное повторение зацепившего ее выражения подчеркивает остроту неприятия; взаимоотношения между ее собственной речью и введенной в нее чужой речью напоминают отношения между репликами диалога. Но в своей внешней речи героиня все же просит объяснить, что произошло:

- (15) “I don’t understand.” “You got drunk and tried to kill yourself, my poor baby!” (Ibid.: 18).

Слова мачехи настолько глубоко задевают героиню, что впоследствии несколько раз всплывают у нее в памяти как внутренний отклик на слова других людей, как только речь заходит о ее предполагаемом опьянении. Это еще один пример «молчаливого ответного понимания замедленного действия», при котором услышанное и активно понятое рано или поздно откликается в последующих речах либо в поведении или, добавим, в мыслях слышавшего. Как навязчивый мотив, чужие слова преследуют героиню, присутствуя как «немые», неслышные реплики во внешнем диалоге:

- (16) “We specialize in addiction therapy,” he told her. “But we do offer convalescent care as well.” “I’m not addicted to anything.” “You got drunk.” “No one’s saying you are” (Ibid.: 26).

Эти чужие слова героиня воспринимает как опасные и враждебные; никто не верит, что в них нет ни капли правды. Не меньший протест вызывают в героине и преследующие ее слова все той же мачехи: “You tried to kill yourself” (Ibid.: 18). Хотя героиня практически ничего не помнит, все в ней восстает против самой мысли о самоубийстве; с той минуты, когда она еще только начинает приходить в себя, она твердо знает, что не могла совершить ничего подобного. И тем не менее чужие слова,

задевшие ее за живое, так прочно завладели ее еще не окрепшим сознанием, что могут посеять там тень сомнения: а вдруг?...

На протяжении всего романа, до самой развязки, в диалоги героини с другими персонажами то и дело врываются посторонние голоса. Иногда это, скорее всего, внутренний голос самой Джинкс:

- (17) Do me a favour, said the intrusive voice of cynicism, Leo look after you? Ha, ha, ha! Instead, she said nothing and continued looking out of the window (Ibid.: 68).

Чаще это голос какого-то другого человека, не участвующего в разговоре, но его можно идентифицировать с большой степенью вероятности:

- (18) “Did Leo go out to work each day?” He certainly went somewhere each day. “He spends his time in the City.” I want to marry Meg... “Keeping his finger on the pulse, as he calls it” (Ibid.: 187).

Реакция героини на заданный вопрос – тонкое переплетение внутренней и внешней речи, осложненное включением чужого слова. Девушка говорит о своем женихе, а в голове у нее звучит посторонний голос, произносящий слова, никак не связанные с текущим диалогом: I want to marry Meg. Кто референт личного местоимения I? Где и когда слышала Джинкс эти слова, внезапно всплывшие в ее памяти? Пока читатель может лишь предполагать, что воспоминание вызвано именем Лео и чужие слова, скорее всего, принадлежат ему. Еще труднее поддается идентификации посторонний голос, грубо и бесцеремонно врываются во внутреннюю речь героини в следующем случае:

- (19) “He wants to marry Meg instead.” “Meg?” she echoed. “You mean Meg Harris?” Why would Leo want to marry Meg? Meg was a whore. You whore... you whore... YOU WHORE! (Ibid.: 19).

Кому принадлежат слова о Мэг, не ясно ни читателю, ни самой героине, в голове которой надрывается чужой голос.

Подобное вторжение посторонних голосов, в самые неожиданные и неподходящие моменты буквально обрушивающих на героиню лавину страшных, непонятных слов (Meg is a whore... please... please... help me, Jinx... such fear... Oh God, such terrible fear; They'd had a row... Anthony and Philippa had been there... I want to marry Meg... Meg's a whore...), причиняет героине боль, вызывает тревогу, страх, панику – до самого

конца романа, когда она наконец все вспомнит. Все эти голоса, введенные во внутреннюю речь героини, приходят в ней в своеобразное сопрокосновение, невозможное между голосами в реальном диалоге. «Здесь, — как отмечает М. М. Бахтин, — благодаря тому, что они звучат в одном сознании, они становятся как бы взаимопроницаемы друг для друга. Они сближены, надвинуты друг на друга, частично пересекают друг друга, создавая соответствующие перебои в районе пересечений» (Бахтин, 1994: 137).

Подобная картина «надвинутости» друг на друга, сближения и пересечения чужих слов в сознании героини, невольно фиксирующей в своей памяти задевшие ее высказывания, с частью которых она вступает в страстную полемику, максимально полно представлена в следующем отрывке внутренней речи, причем связи с инициальными ситуациями и репликами прослеживаются достаточно четко:

- (20) There was no pattern to Jinx's thoughts. Bits of remembered conversation plagued her weary brain. <...> Do your brothers resent you? Yes, yes, YES (Room, 194).

Сравните разговор с врачом, в котором Джинкс иронически воспроизводит неоднократно пройденную ею процедуру психологического анализа:

Do they resent you? No (Ibid.: 194).

You were so condescending she wanted to slap you... She had been seven years old. A baby, still, the perfect child already in residence with pictures of her perfect mother all over the walls... (Ibid.: 194).

Сравните неприятный разговор со сводным братом:

“We've always known you were a snobbish bitch, Jinx,” he said idly. “What the hell do you suppose it was like for Mum moving into a house with the perfect child already in residence and pictures of her perfect mother all over the walls? She says you were so condescending she wanted to slap you (Ibid.: 166).

Relationships don't have to be disappointing, Jinx... (Ibid.: 195).

Сравните разговор с врачом:

“Relations don't have to be disappointing, Jinx” (Ibid.: 159).

She had never known one that wasn't (Ibid., 195).

Промучавшись так всю ночь со знакомыми, но такими чужими и беспощадными голосами, утром Джинкс честно отвечает на вопрос доктора о ее самочувствии:

"I'm a mess" (Ibid., 195).

При чтении этого несколько сумбурного, намеренно сбивчивого и бессвязного отрывка вновь возникает аналогия между взаимоотношениями внутренней речи самой героини и введенной в нее чужой речи, с одной стороны, и теми отношениями, которые существуют между репликами диалога: отношениями вопроса—ответа, утверждения—возражения, утверждения—согласия и т. д., с другой. Отзвук смены речевых субъектов и их диалогических взаимоотношений слышится здесь особенно отчетливо.

В рамках проведенного исследования вряд ли удалось выявить все коммуникативно-прагматические цели введения чужого слова во внутреннюю речь, составляющую речевую партию персонажа художественного произведения наряду с внешней, произнесенной речью.

Несмотря на то что внутренняя речь в силу своей специфической безадресатности и самонаправленности, имеет отличную от внешней речи прагматику, функции повтора чужого слова в этих двух формах речи довольно близки. В наибольшей степени данная близость проявляется в случаях, которые можно назвать скрытой диалогической цитацией. С одной стороны, из внутренней речи ушел живой человеческий голос, тон, индивидуальная манера; с другой стороны, как уже было сказано, воспринимает чужое высказывание не немое бессловесное существо, а человек, полный внутренних слов.

Повтор во внутренней речи — это чаще всего спонтанный мысленный (т. е. не произнесенный по каким-то причинам вслух) эмоциональный отклик. Он выступает как своеобразная переключка с внешними, произнесенными собеседником словами, наполняясь при этом новыми, часто противоположными, интенциями и получая в мыслях персонажа особый, отличный от исходного, акцент.

Иногда чужое слово появляется во внутренней речи в виде изолированного повтора, вклинивающегося в звучащий диалог, никак не обнаруживая своего присутствия для собеседника. Гораздо чаще оно дает толчок короткому фрагменту внутренней речи или выступает в качестве зачина достаточно развернутого внут-

ренного монолога. Важно, что все это происходит в рамках внешнего, звучащего диалога и воспринимается как мгновенное или сравнительно длинное отступление от него с обязательным возвращением на уровень внешней речи.

Специфическим для внутренней речи оказался дистанцированный повтор, отделенный от исходной ситуации более или менее значительным текстовым пространством; он характерен для ситуаций вспоминания, сопровождающихся воспроизведением услышанных ранее слов, получающих в новых обстоятельствах иное звучание.

Исключительно выразительно чужое слово, «вселившееся» в сознание другого человека и захватившее власть над ним; оно преследует, гипнотизирует его, заставляет совершать самые неожиданные поступки.

Наконец, постоянное вторжение чужих, посторонних голосов в сознание персонажа создает, по воле автора, сильнейшее психологическое напряжение, вынуждая то принимать эти чужие слова, то вступать с ними в бурную полемику.

В заключение отметим: переплетение «своей» и «чужой» речи, явное и имплицитное, как уже было сказано, принимает самые разнообразные формы, в том числе повтора чужого слова во внешней и внутренней речи, обладающего несомненным коммуникативно-прагматическим потенциалом.

ГЛАВА 9

РИТОРИКА МНОЖЕСТВЕННОГО ОТРИЦАНИЯ

1. Грамматическое отрицание в свете риторики и прагматики. Риторика всегда представляла собой синкретическую область гуманитарного знания. Если в XIX в. она в значительной степени утратила статус центральной теоретической науки и методологии, то с середины XX в. в лингвистике и смежных дисциплинах отмечается так называемый «риторический Ренессанс», или возрождение риторики (Князькова, 1998: 204). Современная риторика обращается к общим закономерностям человеческого общения, к сочетанию средств вербальной и невербальной коммуникации и уделяет особое внимание путям оптимизации убеждения и воздействия за счет усиления выразительности речи.

К важным средствам усиления выразительности традиционно относят тропы и фигуры речи (см., например, Зарецкая, 1999: 376–436). Исходя из современных позиций лингвистики фигуры речи можно охарактеризовать как факультативные в структурном и семантическом отношении, но существенные в прагмалингвистическом отношении приемы построения дискурса или его фрагментов, активизирующие восприятие речи адресатом и имеющие своей целью обеспечение общности знаний и солидаризации мнений автора и адресата речи. Монологическая речь, лишенная каких бы то ни было риторических фигур, притупляет внимание адресата. Она скорее окажется приемлемой в институционализированных ситуациях и, соответственно, в клишированных формах дискурса. Для публичных ораторских выступлений, для непосредственного повседневного общения и для дискурса художественной литературы такая речь малоэффективна. Говоря о различных формах дискурса, необходимо отметить, что в лингвистике намети-

лись две тенденции в определении этого понятия. Первая группа определений соотносит дискурс с текстом (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990: 136–137), вторая соотносит его с когнитивным процессом реального речепроизводства, с созданием речевого произведения (Кубрякова, 1997: 19) и его пониманием (Падучева, 1996: 196). Как нам представляется, первый подход может оказаться более продуктивным при рассмотрении результирующих структур в ретроспекции, а второй – при рассмотрении механизмов их порождения и воздействия в проспекции.

Чрезвычайно важную группу риторических фигур, или приемов, составляют случаи так называемого «усиления формой» в дискурсе. Как отмечает И. Н. Кузнецов, «слушателю каждая новая высказанная мысль трудна для понимания. Ему нужно время, чтобы вдуматься, усвоить, сосредоточить на этой мысли внимание... Чтобы избежать повторов, оратор описывает предмет с разных сторон, создает стереобраз» (Кузнецов, 2000: 26). В более общем виде: интенсификация смысла, необходимая для его оптимального усвоения адресатом, может достигаться при помощи линейной последовательности языковых средств, индивидуальные смыслы которых остаются в пределах заданной темы.

Развивая эту мысль, естественно предположить, что отрицательные структуры, которые станут предметом рассмотрения в настоящей главе, самой своей языковой природой словно предназначены для создания такого «стереобраза».

В грамматической семантике разграничиваются случаи нейтрального и противопоставительного отрицания, ср. «ребенок не спит» (не подразумевается «а делает что-то другое») и «ребенок не спит» (подразумевается «а делает что-то другое») (см., например, Богуславский, 1986: 73–81; Кобозева, 2000: 285–286). Нейтральное отрицание, в частности, широко используется при выражении эмоций и оценочного отношения говорящего (Leech, 1983: 101; Арутюнова, 1988: 309). С точки зрения риторики особый интерес представляет противопоставительное отрицание.

Высказывание с противопоставительным отрицанием в целом менее информативно, чем утвердительное высказывание. Его употребление нацелено не на привнесение нового сообщения, а на выполнение задач риторического характера.

В философии отрицание рассматривается как «необходимый момент развития, условие качественного изменения вещей» (Философский словарь, 1987: 349). Отрицание выражает преемственность, связь нового мыслительного образа со старым. Оно становится движущим началом всякого развития, в том числе и разви-

тия мысли. Отрицаемое не отбрасывается, а сохраняется в преобразованном виде. Отрицание — это одна из свойственных всем языкам мира исходных, семантически неразложимых смысловых категорий, которые не поддаются определению через более простые семантические элементы (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990: 354). Данная языковая универсалия проявляется на разных иерархических уровнях языковой системы (Leech, 1983: 159). Семантическое содержание категории отрицания отражает отсутствие предметов, явлений и их признаков, а также отсутствие определенного вида связей между предметами объективной действительности (Бондаренко, 1983: 75–78). Через отрицание одного высказывания порождается новое, опровергающее предыдущее.

В лингвистической прагматике отрицание связывают преимущественно с ремой (Чахоян, 1979: 11), поскольку опровержение имеющейся информации создает коммуникативный фокус. При этом, согласно Н. Д. Арутюновой, отрицательные высказывания выражают реакцию на неупорядоченность мыслей, мнений и представлений или сигнализируют о несоответствии ожидаемого действительному (Арутюнова, 1988: 309 и след.). Чрезвычайно плодотворным оказывается исследование интеракциональных характеристик отрицания (Cheshire, 1998).

В стилистике декодирования подчеркивается, что отрицание в целом более экспрессивно, чем утверждение. Поскольку отрицательные высказывания встречаются во много раз реже, чем утвердительные, само их включение в дискурс обращает на себя внимание. С другой стороны, всякое отрицание подразумевает контраст между возможным и действительным, что и создает его экспрессивный потенциал (Арнольд, 1973: 173 и след.).

Под экспрессивностью понимается такое свойство дискурса или его фрагмента, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью. Экспрессивность есть признак дискурса, его качественная характеристика; интенсивность — это количественная характеристика экспрессивности, мера ее градуальности (Туранский, 1990).

Если все вышесказанное справедливо для отрицания в целом, то еще в большей степени это относится к случаям множественного отрицания, которые как раз и создают линейную последовательность языковых единиц, в конечном счете аккумулирующихся в вышеупомянутом риторическом «стереообразе». При анализе этого явления мы будем опираться на метод идентификации, разработанный Ш. Балли. Этот метод заключается в сопоставлении изучаемого явления с логически эквивалентным ему явлением, но стилистически и эмотивно нейтральным.

2. Типы грамматического отрицания и их корреляция. Множественное экспрессивное отрицание. В англистике принято различать два типа грамматического неаффиксального отрицания: отрицание, выраженное при помощи частицы *not* (или *n't*), и отрицание, выраженное при помощи отрицательных местоимений и наречий *never, neither, nobody, no, none, nor, nothing* и *nowhere* (Quirk et al., 1985: 782; Tottie, 1991); попутно отметим, что к последним примыкает также *no place*, зафиксированное в нестандартной американской речи. Отрицания второй группы считаются более «сильными», экспрессивными по сравнению с их *not*-коррелятами: *He knew nothing – He did not (didn't) know anything.* Первая разновидность была названа отрицанием типа *Not*, вторая – отрицанием типа *No*. Именно на них будет обращено основное внимание в данной главе.

Прежде всего следует отметить, что перечисленные единицы коррелируют друг с другом в определенных грамматических структурах. Так, в простом (и крайне редко в сложносочиненном) предложении используется коррелирующее отрицание, состоящее из единиц второй группы *neither... nor*: *The film was neither well-made nor well-acted; He neither smiled, spoke, nor looked at me* (Swan, 1995: 359). Такие структуры знаменуют риторичность монологической письменной речи (ср. более характерное для устной речи: *He didn't smile, speak or look at me*). К ним примыкают сложные высказывания с множественным отрицанием, создающие эффект весомости, значимости, причем в устной речи – с оттенком старомодности: *Not a day passes when I don't regret not having studied music in my youth* (ср. с более естественным, но лишенным экспрессивности парафразом: *Every day I regret not having studied music in my youth, или I wish I had studied music when I was young*) (Swan, 1995: 357).

Ряд однородных членов может также скрепляться при помощи сочетания отрицания первой группы, *not*, с отрицанием второй группы, *nor*: *She didn't phone that day, nor next day; Our main need is not food, nor money. It is education* (Swan, 1995: 359). Эти структуры, в свою очередь, оказываются эффективными в риторике не только письменной, но и официальной устной речи, особенно когда они подкрепляются эффектной ораторской паузой перед *nor*.

Далее, двойное и даже более кратное отрицание в пределах одной предикативной единицы отмечается в тех случаях, где сочетание отрицания с последующей единицей выражает единый концепт: *Don't say nothing (=Don't be silent). Tell us what the problem is* (Swan, 1995: 357).

В сложносочиненном предложении наличие отрицания типа Not в первой предикативной единице создает контекстные условия для употребления отрицаний neither и nor (то есть единиц группы No) во второй предикативной единице: Ruth didn't turn up, and nor did Kate (Swan, 1995: 358). Парцеллированные фрагменты, такие как: not my brother; not now; not yet, равно как и структуры с двойной парцелляцией типа: She's dead – not for me, she's not, – также предполагают наличие предшествующего отрицания типа Not в основной части предложения.

Наконец, в неофициальном устном дискурсе отмечены структуры сложного предложения, в которых появляется «дополнительное», факультативное отрицание, сигнализирующее о неуверенности говорящего: I shouldn't be surprised if they didn't get married soon (=if they got married soon); She hasn't got much chance of passing the exam, I don't think; We won't be back before midnight, I don't suppose (Swan, 357). Можно заметить, что в таких случаях говорящий имплицитно сигнализирует о нежелательном характере упоминаемых событий.

Рассмотренные модели с множественным отрицанием заложены в структуре языка и, соответственно, являются рекуррентными. Наряду с этим в речи используются и другие типы множественного отрицания, обладающие значительным риторическим потенциалом.

3. Риторический аспект повторного отрицания и полинегативности высказывания. Самым очевидным способом множественного отрицания является простой повтор: *Don't! Don't!* (L.C., 24); *Oh but you won't, Mr Tumnus... You won't, will you?* (Ibid.: 17). В обоих случаях повтор побудительной формы (выражающей запрет и просьбу соответственно) свидетельствует о ситуации со стремительным развитием событий, в гущу которых могло бы затеряться высказывание с однократным отрицанием, и имеет целью убедить адресата речи в целесообразности прекращения действия. Роль повтора как риторического приема отмечается практически во всех исследованиях соответствующего направления. Повтор создает избыточность смысла, которая выражается в представлении сообщения большим числом знаков, чем это было бы необходимо при нейтральном изложении. Избыточность, в свою очередь, создает экспрессию. Например: *He said it didn't matter, said Ma having just passed away didn't matter!* (B. O., 15). Дословный повтор отрицательного выражения создает риторический коммуникативный фокус; автор речи ищет у собеседника поддержки в осуждении позиции третьего лица.

Другая разновидность множественного отрицания, традиционно называемая полинегативностью (мы сохраняем этот термин в силу его общеупотребительности, однако заметим, что по сути дела все высказывания с многократно выраженным отрицанием могли бы быть охарактеризованы как полинегативные), является стереотипной чертой просторечия и принадлежит к неофициальному регистру речи. Полинегативности нередко сопутствуют и другие признаки нестандартной речи. Следует отметить изменение оценочного отношения социума к полинегативности: если до середины XX в. эта черта была резко осуждаемой (Fowler, 1965), то в последние годы наблюдается более терпимое отношение к этой языковой форме. В немалой степени этому способствовал подъем массовой культуры, «проницаемой» для социальных и территориальных диалектных форм. Например, М. Суон цитирует отрывок из текста популярной американской песни: *I ain't never done nothing to nobody, and I ain't never got nothing from nobody no time* (Swan, 1995: 357). Интенсивность смысловой репрезентации свойственна неофициальной речи в целом. Полинегативные высказывания дают говорящему уверенность в том, что отрицание будет замечено и принято во внимание слушателем (Арнольд, 1981: 174 и след.), например: *Mr Street don't know nothing about you, and don't care nothing about you* (М.Т., 163). Полинегативные высказывания, включенные в авторское повествование, свидетельствуют о том, что рассказ о событиях ведется от первого лица, причем от лица человека с низким образовательным уровнем. Полинегативные высказывания, включенные в прямую речь литературных героев, также служат средством маркирования социального статуса соответствующих персонажей. Как будет показано ниже, полинегативность не является препятствием для риторического использования отрицания персонажами в их монологах.

4. Прагматический и риторический аспект кумулятивного и параллельного отрицания. При переходе от уровня высказывания к уровню сверхфразового единства можно отметить специфические случаи скопления контактно расположенных или малоудаленных друг от друга отрицательных высказываний либо со свободной структурой, либо с параллелизмом или повтором, либо смешанного характера. Так, например, в следующем примере находим трехкратный повтор коннектора *not that* в сочетании с несколькими негаторами той же группы *Not*: *I'd sit and laugh like a horse over what I'd done, at the wonderful sight of gaffers and machines <...> Not that I've got owt against them, but that's just how I feel now and again. Me, I couldn't care less if the world did blow up tomorrow,*

as long as I'm blown up with it. *Not that* I wouldn't like to win ninety-thousand quid beforehand. But I'm having a good life and *don't care* about anything, and it'd be a pity to leave Brenda, all said and done, especially now Jack's been put on nights. *Not that* he minds <...> (S. A., 40). В речевом потоке обычно доминируют утвердительные высказывания, поэтому такие «пучки» отрицательных единиц неизбежно приковывают внимание читателя. Например: The manuals *didn't mention* the QRA at all, or at least she *couldn't find* any reference. But the manuals she kept in her office were her personal copies; Casey *wasn't directly involved* in maintenance and she *didn't have* the latest versions (C. M., 304). В данном случае в каждом из высказываний, различных по структуре, содержится отрицание типа Not. Малоинформативные, статичные отрицательные высказывания не добавляют значительно нового содержания логико-информативного характера и замедляют событийный ритм повествования. Однако за счет этого обсуждаемая тема воспринимается адресатом как существенная, неслучайная, предвещающая новый поворот событий. Адресат ждет раскрытия смысла, скрытого за повторяющейся негацией.

Такой риторический прием – назовем его кумулятивным отрицанием – способствует также реализации функции убеждения. Рассмотрим следующий пример: Aunt Loma had already declared he *couldn't live* with her. She said she *didn't have* a room. I *don't know* how she could say such a thing as that when her daddy had given her husband a job and provided them a house to live in. Mama *couldn't have said* it – even if he *didn't own* our house, too, and even if Papa *didn't work* for him (B. O., 11). Совершенно ясно, что такое построение не случайно; оно имеет определенную риторическую задачу. С каждым последующим шагом адресат-читатель все более убеждается в том, что действие, выраженное в самом первом высказывании, заслуживает отрицательной оценки.

Это риторический тип убеждения, основанный, в отличие от аргументации, не на логических постулатах, а на иных принципах. Обычно он представляется в виде риторического треугольника, вершинами которого являются (пользуясь терминами античной риторики) логос, этос и пафос. В этом триединстве логос предполагает апелляцию к разуму, к здравому смыслу адресата, этос объединяет интеллектуально-нравственные качества автора речи, которые проявляются им в ходе убеждения, а пафос означает апелляцию к чувствам, ценностям и убеждениям адресата речи (см., например, Vesterman, 1993: 14–18, 327–328).

В целом употребление интенсифицирующего отрицания в дискурсе, по нашим наблюдениям, довольно часто непосред-

ственно связывается с прагматическим значением оценочности. Интенсифицирующее кумулятивное отрицание придает дискурсу стилистическую окраску, а все то, что при анализе дискурса квалифицируется как стилистически отмеченное, есть результат оценочного отношения автора речи к самому себе, к адресату, к теме дискурса, к ситуации общения (Винокур, 1990: 53 и след.).

Как правило, микродискурс с кумулятивным отрицанием выражает субъективно-эмоциональную характеристику и формирует негативный оценочный фокус. В нем выявляется риторический пафос убеждения: *I didn't like to think about that. I didn't like to think about mill children at all, and never had to...* (В. О., 106).

Именно в силу своей выразительности структуры с кумулятивным отрицанием выступают носителями скорее эмоциональной, нежели интеллектуальной оценки. Оценка задает определенные параметры дискурса. Как подтверждают вышеприведенные примеры, оценочные предикаты информативно недостаточны. По наблюдениям Н. Д. Арутюновой, в дискурсе вслед за оценочным предикатом обычно эксплицируется то, что говорящий считает эталоном или фактическим положением вещей. Иными словами, говорящий сначала сообщает аксиологический итог, а потом переходит к фактической характеристике объекта. Дискурсные отношения между оценкой и дескрипцией аналогичны катафоре (Арутюнова, 1988: 215 и след). Роль оценки, по Н. Д. Арутюновой, состоит в том, чтобы соотнести предметы и события с идеализированной, то есть нормативной, картиной мира (Там же: 8). «Ценностная картина мира в представлении говорящих соотнесена с нормативной картиной мира, с ее стереотипными ситуациями и их характеристиками и с соответствующими шкалами оценок, где признаки движутся в сторону “плюс” или “минус” с учетом нормативных свойств объектов» (Вольф, 1988: 126).

Структуры с кумулятивным отрицанием, образующие оценочный фокус убеждения, обладают значительным потенциалом смыслового развертывания. Эта валентность предопределена их информативной недостаточностью. Дескриптивное развертывание микродискурса с кумулятивным отрицанием проявляется в том, что вслед за оценочным предикатом эксплицируется реальное, с точки зрения говорящего, положение вещей. Отрицательные оценки, по справедливому утверждению Н. Д. Арутюновой, обладают более сильным валентностным, то есть текстообразующим, потенциалом, чем положительные (Арутюнова, 1988: 96). Например: *Loma and Pa, they're just alike. They don't ever consider anybody else. Neither of them. When I think of the nice widders (=widows) Pa's age who'd be happy to marry him, I don't see*

why he had to pick an old maid from Up North who'd had to work for a livin' (В. О., 17).

Многократное кумулятивное отрицание, как правило, включает в себя элементы обеих групп — группы Not и группы No. Однако возможно и гомогенное кумулятивное отрицание за счет единиц первой или второй группы.

Структуры с кумулятивным отрицанием обладают разной степенью информативности. Так, например, в следующем случае одно и то же, по сути дела, смысловое содержание выражено троекратно: *My experience is limited. I've never defended a client against a charge of murder in a trial. I'm not confident I could represent you competently* (О. Р., 60). В связи с этим уместно еще раз обратиться к концепции Н. Д. Арутюновой, которая считает, что чем менее информативно высказывание, тем более оно иллокутивно. В данном случае совокупность отрицательных высказываний выполняет единую интерактивную функцию отказа: адвокат отказывается заняться расследованием дела об убийстве, хотя не заявляет об этом прямо. Вместо этого он предпочитает убедить собеседника, что тот сделал неверный выбор, обратившись именно к нему.

Одной из структурных разновидностей кумулятивного отрицания является соположение синтаксически однородных структур с одинаково оформленным отрицанием: *We figure she must be ashamed of her folks. If she don't write them and don't hear from them and don't ever say pea-turkey about them to anybody, something's wrong* (В. О., 16). Эта разновидность относится к параллельным отрицаниям. Синтаксический повтор, и в частности повтор указанных структур, относится в риторике к «фигурам прибавления», как и все случаи множественного отрицания.

Приведем примеры параллельного отрицания и с использованием элементов группы No: *No newspapers in this house. No radio either. Any news we get have to be from somebody telling it face-to-face* (М. Т. 1, 41). Повтор отрицания в начальной позиции позволяет автору речи активизировать внимание адресата, настроить его на прогнозирование смысла.

5. Прагматика и риторика кумулятивного отрицания в микродискурсе. В большинстве рассмотренных примеров кумулятивное отрицание имеет проспективную направленность, обуславливая смысловое развертывание дискурса. Однако возможно и обратное положение, при котором речевые образования с множественным отрицанием служат для подведения итога, апелляции к предшествующему опыту и логическому мышлению адре-

сата. К ним, в частности, принадлежат устойчивые выражения типа *No pains, no gains; Nothing ventured, nothing gained*, употребление и восприятие которых основывается на общем фонде знаний собеседников о положении дел в мире. Множественное отрицание имеет ретроспективную направленность, если оно подытоживает имплицитное или сказанное ранее либо закрывает тему. Конечное интенсифицирующее отрицание становится заключительным аккордом, закрепляя ранее высказанную мысль: *Peg's house was dark, the shade of the picture window still down. Complete quiet. The lawn, edged and close-cut, looked like a carpet of expensive wool. Nothing moved, neither the tiny windmill nor the ivy surrounding it* (М. Т. 1, 27–28). Ретроспективно направленное множественное отрицание структурирует повествование, плавно закрывая тему. Оно убеждает адресата речи в значимости содержания предшествующих смысловых компонентов дискурса.

Наблюдения показывают, что в монологической речи преобладает ретроспективное, или анафорическое, множественное отрицание, тогда как в диалоге доминирует проспекция, или катафора. Начальное интенсифицирующее отрицание дает автору речи время на размышление, обуславливает концентрацию внимания адресата на теме сообщения. Конечное интенсифицирующее отрицание акцентирует мысль на сказанном ранее, настраивает на мысленное возвращение к прошлому опыту или позволяет осуществить плавное закрытие микротемы.

Множественное отрицание создает ритм текста убеждения: *If you couldn't say yessir, you sure-dog didn't say no sir. Not out loud* (В. О., 20). Особенно наглядно ритмообразующая роль отрицания выступает в тех случаях, когда отрицание многократно коррелирует с утверждением как тезис и антитезис: *He had been ordained as a deacon, and not as a minister, yet he ministered. He was not ordained as a preacher, yet he preached. He did not push himself into prominent positions, but his talents naturally brought him there* (Н. Л., 15).

Благодаря многократному отрицанию в сочетании с другими риторическими фигурами автор создает впечатляющий эффект многогранности характера героя. Представляется, что риторический фокус в данном случае ориентирован в направлении пафоса: адресат прежде всего испытывает чувство уважения к персонажу.

Придавая дискурсу отчетливый ритмический рисунок, игра отрицательными структурами одновременно обеспечивает связность рассуждений автора речи. В лингвистике текста высказы-

ваются мнение, что основными единицами текста служат предложения и коннекторы (Дресслер, 1978: 123). Оперируя понятиями коммуникативного уровня, можно утверждать, что интенсифицирующее отрицание выполняет в дискурсе роль средства связности. Оно фокусирует внимание и обеспечивает преемственность между составляющими дискурса, создавая его реляционную структуру. Через отрицание осуществляется связь между фрагментами дискурса. Последующая отрицательная структура, подавая предыдущую мысль в ином ракурсе, открывает перспективу для дальнейшего развития повествования.

Организирующая роль множественного интенсифицирующего отрицания состоит также в членении дискурсного пространства на фрагменты, в выделении нужных говорящему смыслов и затушевывании нежелательных, ненужных. Структуры с множественным интенсифицирующим отрицанием расположены в системе основных дейктических координат речи: пространство, время, личность. Оно расставляет не только ритмические, но и смысловые акценты, регулирует смену микротем, тематическую прогрессию и тема-рематическую динамику дискурса. Рассмотрим следующий отрывок: *She could not stand still and there was no retreat. Mavis went forward. Not running, not tripping. Head down, searching her purse for a twenty-dollar bill. Back in the car, waiting for the attendant to collect the money, she examined her surroundings in the rear- and side-view windows. Nothing* (М. Т. 1, 36). Очевидно, что кумулятивное отрицание интенсифицирует смысл. Но при этом оно также видоизменяет временное пространство действия. Каждое отрицательное высказывание – это остановка в мыслях повествователя, подчеркивание ранее изложенного и одновременно ступень к последующему изложению. Финальное *nothing* подводит общий итог, выполняя ретроспективную функцию. Нетрудно заметить, что границы рассмотренного микротекста маркированы отрицаниями: в начальной позиции оказывается высказывание с отрицанием группы *Not*, причем в полной форме, которая более экспрессивна по сравнению со стяженной, а в конечной позиции – «сильное» отрицание из группы *No*, причем в изолированном употреблении. Таким образом, здесь создается своеобразное «отрицательное обрамление», которое четко маркирует границы микродискурса.

В качестве эксперимента можно попытаться убрать из данного отрывка отрицательные структуры: *Mavis went forward. Head down, searching her purse for a twenty-dollar bill. Back in the car, waiting for the attendant to collect the money, she examined the surroundings in the rear- and side-view windows.* Без малоинформа-

тивного интенсифицирующего отрицания дискурс не утратил логического смысла, но лишился выразительности, динамизма и интригующего момента. Более того, микротекст стал «рыхлым», лишившись отрицательного обрамления.

Рассмотрим теперь больший по объему микродискурс с комбинацией различных видов отрицания, включая не только грамматические, но и лексические средства: *With only a few thousand left, there was now nothing to do but commit himself wholeheartedly to the plan. He didn't give a moment's thought to changing his mind, because he knew he could never hope to repay the money. He hadn't forgotten that the man he had replaced on Cavalli's payroll had once neglected to repay a far smaller sum after making certain promises. Once had been enough: Cavalli's father had had him buried under the World Trade Center when he'd failed to secure the promised contract for the building. A similar departure did not appeal to Butterworth (A. J., 118).* Накопление отрицаний и варьирование их типов усиливает картину смятения, которое охватило героя. Существенно, что отрицание, как и в предыдущем случае, формирует отрицательное обрамление. Начальная и финальная позиции маркированы усиленным отрицанием: вначале находим отрицание типа *No (nothing)*, а в конце – полную форму отрицания типа *Not (did not appeal)*, которая использована вместо более обиходной, привычной стяженной формы *didn't*. Таким способом автор подкрепляет впечатление серьезности сложившейся ситуации и категоричности решения.

На приведенном примере можно видеть, как отрицание также структурирует временное пространство микродискурса. Мысли героя носят затяжной характер. Каждое отрицательное высказывание – это дополнительная, дискретная фаза в его размышлениях. Герой не торопится делать неутешительный для себя вывод; читатель же получает возможность убедиться, что опасения героя небеспочвенны: они основаны на предшествующем опыте. Достижению этого понимания способствует дополнительный риторический прием аналогии с событиями прошлого.

Экспериментальный парафраз данного микродискурса с утратением из него грамматических отрицаний еще раз демонстрирует существенные потери в экспрессивности, внутренней напряженности повествования: *With only a few thousand left, the only thing he could do was to commit himself wholeheartedly to the plan. He was, throughout, single-minded in this because he knew he had lost hope to repay the money. He remembered that the man he had replaced on Cavalli's payroll had once neglected to repay a far smaller sum after making certain promises. Once had been*

enough: Cavalli's father had had him buried under the World Trade Center when he'd failed to secure the promised contract for the building. Butterworth was afraid of a similar departure. Преобразованный вариант дискурса по-прежнему доносит до читателя первоначальное информативное содержание, но делает это иным способом. Повествование становится заметно более отстраненным, оно лишается эмпатии. Утрачивается и первоначальная дискретность размышлений, острота и драматизм выражения чувства.

6. Прагматика и риторика множественного отрицания за пределами сверхфразового единства. Множественное отрицание способно выходить за пределы конкретного сверхфразового единства. В таких случаях оно становится стержневым организующим моментом протяженных отрывков дискурса. Приведем (с сокращениями) отрывок из романа Т. Моррисон "The Bluest Eye": Three merry gargoyles. Three merry harridans. They *did not belong* to those generations of prostitutes created in novels <...>. *Nor* were they from that sensitive breed of young girl, gone wrong at the hands of fate <...> *Neither* were they the sloppy inadequate whores who, unable to make a living at home, turn to drug consumption <...> these women hated men, all men, without shame, apology, or discrimination <...>.

Neither did they have respect for women, who, although *not* their colleagues, so to speak, nevertheless deceived their husbands regularly or irregularly, it made *no* difference <...>.

Nor were they protective and solicitous of youthful innocence. They looked back on their own youth as a period of ignorance, and regretted that they *had not made* more of it <...> (цит. по: Eastman, 1980: 229–230).

Для характеристики героинь автор использует почти исключительно общеотрицательные высказывания. Экспрессивное множественное отрицание различных типов дополняется другим грамматическим средством экспрессивности – многократной эмфатической инверсией. С точки зрения риторического этоса, автор обнаруживает свой нонконформистский дух, нестандартность мышления. Характеристика персонажей строится, вопреки распространенному способу, не на констатации каких-либо качеств, а на констатации, причем многократной, отсутствия таковых. Опираясь на знания адресата о мире, о гендерных и социальных стереотипах, то есть актуализируя риторический логос, автор тут же опровергает возможность причисления героинь к какой-либо известной социальной группе. Апеллируя к моральным ценностям и этическим оценкам читателя, то есть актуализируя ритори-

ческий пафос, автор не позволяет читателю распространить на героинь избитые, стереотипные оценки. В результате для читателя создаются условия напряженного ожидания, своеобразный *suspense*. Истинная сущность характеров остается трудноуловимой, но их непредсказуемость, свобода от условностей, независимость заставляют читателя пересмотреть привычные критерии оценки и отнестись к персонажам если не с симпатией, то по крайней мере с пониманием. Таков результат использования разнотипных отрицаний большой кратности.

7. Риторика «дефиниции через отрицание» и отрицательных общих суждений. В рассмотренном выше отрывке преобладали отрицательные высказывания характеристики. Этот прием имеет черты сходства с другим риторическим приемом – определением (дефиницией) через отрицание. Одни исследователи отмечают его риторическую действенность (Eastman, 1980: 671; Rottenberg, 1997: 100–102), другие незаслуженно обходят его стороной (например, Vesterman, 1993). В основе отрицательной дефиниции часто лежит сравнение или метафора, например: «Путь человеческого прогресса – не гоночный трек» (Кузнецов, 2000: 107). Как и характеристика через отрицание, отрицательная дефиниция, а тем более дефиниция через множественное отрицание – это чрезвычайно яркий риторический прием, поскольку он вызывает интерес к обычному, заставляет читателя свежим взглядом посмотреть на окружающий мир и, возможно, отойти от стереотипного восприятия материальной и идеальной действительности. Наряду с дефиницией через отрицание, можно выделить и сходный прием: отрицание общих суждений. Оба эти приема служат маркерами жанра эссеистики. Рассмотрим следующий пример: <...> good sense is not conscience, refinement is not humility, nor is largeness and justness of view faith. Philosophy <...> gives no command over the passions, no influential motives, no vivifying principles. Liberal Education makes not the Christian, not the Catholic, but the gentleman (цит. по: Eastman, 1980: 224). Отрицательная дефиниция и отрицание общих суждений служат исходным тезисом рассуждений; эти приемы зачастую парадоксальны и обладают значительным текстообразующим потенциалом, поскольку нуждаются в утвердительном антитезисе – собственно дефиниции в традиционном понимании этого термина: словарной (то есть универсальной) или иной. Отрицательная дефиниция может, наоборот, служить антитезисом к неотрицательной, но парадоксальной дефиниции; в таких случаях она отвергает самые существенные признаки предмета: One critic, defining rock music, argued that the distinguishing characteristic of rock

music was noise — *not* the beat, *not* the harmonies, *not* the lyrics, *not* the vocal style, but noise... (цит. по: Rottenberg, 1997: 98). Риторический эффект, производимый множественным экспрессивным отрицанием, усиливается за счет обрамляющего повтора существительного.

Наконец, можно наблюдать случаи, когда множественное отрицание служит организующим принципом построения законченного дискурса. Но поскольку отрицание малоинформативно, такие речевые произведения скорее будут носить игровой, ludic характер.

Например:

THE BILL OF NO RIGHTS

<...> We hold these truths to be self-evident, that a whole lot of people were confused by the Bill of Rights and are so dim that they require a Bill of No Rights.

ARTICLE I

You *do not have* the right to a new car, big-screen color TV or any other form of wealth. More power to you if you can legally acquire them, but *no one* is guaranteeing anything.

ARTICLE II

You *do not have* the right to *never* be offended. This country is based on freedom, and that means freedom for everyone — *not just you!* You may leave the room, turn the channel, express a different opinion, etc., but the world is full of idiots, and probably always will be.

ARTICLE III

You *do not have* the right to be free from harm. If you stick a screwdriver in your eye, learn to be more careful, *do not expect* the tool manufacturer to make you and all of your relatives independently wealthy.

ARTICLE IV

You *do not have* the right to free food and housing. Americans are the most charitable people to be found, and will gladly help anyone in need, but we are quickly growing weary of subsidizing generation after generation of professional couch potatoes who achieve *nothing* more than the creation of another generation of professional couch potatoes.

ARTICLE V

You *do not have* the right to free health care. That would be nice, but from the looks of public housing, we're just *not interested* in public health care.

ARTICLE VI

You *do not have* the right to physically harm other people. If you kidnap, rape, intentionally maim or kill someone, *don't be surprised* if the rest of us get together and kill you.

ARTICLE VII

You *do not have* the right to the possessions of others. If you rob, cheat, or coerce away the goods or services of other citizens, *don't be surprised* if the rest of us get together and lock you away in a place where you still *won't have* the right to a big-screen color TV or a life of leisure.

ARTICLE VIII

You *do not have* the right to demand that our children risk their lives in foreign wars to soothe your aching conscience. We hate oppressive governments and *won't lift a finger* to stop you from going to fight if you'd like. However, we *do not enjoy* parenting the entire world and *do not want* to spend so much of our time battling each and every little tyrant with a military uniform and a funny hat.

ARTICLE IX

You *do not have* the right to a job. All of us sure want you to have one, and will gladly help you along in hard times, but we expect you to take advantage of the opportunities in education and vocational training laid before you to make yourself useful.

ARTICLE X

You *do not have* the right to happiness. Being an American means that you have the right to pursue happiness — which, by the way, is a lot easier if you are unencumbered by an overabundance of idiotic laws created by those around you who were confused by the Bill of Rights (Nap.)

Множественное отрицание выступает, по сути дела, непреложным условием существования такого текста. Пародируя «Билль о правах», этот дискурс повторяет его структуру и принципы

организации. Поскольку культурная традиция англоязычного социума включает в себя эстетику абсурда, адресат без труда вычленит здесь игровое начало и включится в игру. Риторический логос такого произведения апеллирует к знанию адресатом определенных фактов истории, этос характеризует автора речи как «человека играющего» (*homo ludens*), а пафос апеллирует к чувству юмора адресата.

Подведем некоторые итоги. Множественное грамматическое отрицание включает в себя рекуррентные, устойчивые структурные (главным образом двухчастные) единицы, предусмотренные стандартной и субстандартной подсистемами языка, и свободные «скопления» негаторов, кратность которых теоретически не ограничена. Чем выше иерархический уровень, тем выше кратность отрицательных единиц. Множественное отрицание является факультативным элементом речи и относится к фигурам прибавления или усиления формой. Их описание мы проводили с использованием аппарата лингвостилистики, прагматики и риторики. Фрагменты речи и целые речевые произведения с множественным отрицанием служат чрезвычайно гибким и многогранным средством риторического воздействия. Они взаимодействуют с лексическими средствами отрицания и участвуют в создании разнообразных фигур, таких как повтор, обрамление, параллелизм и др. Поэтому функция убеждения вполне естественно достигается за счет множественного отрицания. Риторический фокус множественного отрицания подвижен. В тех случаях, когда в монологическом дискурсе используется множественное отрицание общих истин или множественная дефиниция через отрицание, в речи прежде всего актуализируется риторический этос; при этом автор речи предстает как неординарная, авторитетная, смелая в суждениях личность. Если множественное отрицание используется для членения пространственных, временных или предметных координат речи, это способствует актуализации риторического логоса, поскольку требует активизации знаний говорящего о внешнем мире. Множественное отрицание обладает людическим потенциалом и вовлекает адресата в игровое взаимодействие с автором. В таких случаях в первую очередь актуализируется риторический пафос, который активизирует эмоции говорящего.

ГЛАВА 10

СООТНОШЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕКСТА

Цель данной главы заключается в том, чтобы рассмотреть монологический аспект речи и те языковые средства, которые обеспечивают звучание бахтинского «моего слова» в структуре художественного текста. За последние тридцать лет диалогическому аспекту уделялось пристальное внимание лингвистов и литературоведов, в то время как монолог и его роль в структуре художественного текста оказались практически преданными забвению. И все же монологическая составляющая остается существенной частью всех жанров художественной литературы, а в научной и публицистической прозе монолог доминирует.

Основным свойством монолога является то, что он выступает как средство самовыражения говорящего. В структуре художественного текста в монологе мы находим сокровенные мысли, взгляды героя или автора. Перефразируя М. М. Бахтина, можно сказать, что *слово равно принадлежит слушающему и говорящему*. Сложность анализа монолога состоит, прежде всего, в том, где провести границу между монологической и диалогической составляющими текста.

В классической теории речевой деятельности Ф. де Соссюра передаваемые смыслы характеризуются постоянным объемом информации, своеобразной семантической массой, не меняющейся при их поступательном движении от говорящего к слушающему, а речевой акт представляет собой сочетание активных процессов отправления массы информации и пассивных процессов ее приема—восприятия (Соссюр, 1977: 51). Априорно утверждается, что сообщение говорящего должно дойти до адресата и быть им понято. При этом можно проследить и траекторию его движения, и те помехи, которые встречаются на его пути, но суть остается неизменной: *что отправлено, то и получено* (за ми-

нимальными исключениями, связанными с потерями информации вследствие помех).

Однако характер смыслов адресата зависит от типа коммуникаций и порождаемых ими текстов. По мнению Ю. Лотмана, следует различать два типа коммуникаций и, соответственно, два типа текстов. В коммуникации первого типа текст без каких-либо потерь или искажений передается от говорящего к слушающему и представляет собой «некий пассивный носитель вложенного в него смысла..., который в абстракции предполагается существующим еще до текста», т. е. текст воспринимается как своеобразная упаковка смысла (Лотман, 1992: 25–26). Для такой коммуникации максимально приближенным к идеальному является научный текст, написанный на метаязыке символов и формул — квинтэссенция речевого произведения нейтрального стиля, лишённого всякой образности и характеризующегося одно-однозначными отношениями между формой и смыслом.

Во втором случае целью коммуникации становится выработка новой информации. При этом происходит «нетривиальный сдвиг значения» в процессе перехода текста от передающего к принимающему, при котором значение становится однозначно не предсказуемым и не заданным определенным алгоритмом трансформации текста (Там же: 26). В результате у адресата (принимающего) создается новый текст.

Процессы преобразования смысла в пространстве восприятия высказывания сопоставимы с действием принципа неопределенности в квантовой теории, где импульс и координата частицы — это понятия, взаимно конкурирующие: «...если имеется состояние частицы с определенным, т. е. точно данным, значением импульса, то к такой реальности неприменимо понятие определенного положения. И наоборот, если известно, что частица находится в данный момент в данном месте, т. е. известна ее координата, то к частице неприменимо понятие точного определенного импульса» (Марков, 1988: 11). На наш взгляд, конкуренция импульса и координаты частиц аналогична реальным процессам передачи смыслов от говорящего к слушающему (а не лабораторным, как в классической теории Соссюра).

Попробуем применить только что описанную аналогию к сопоставлению монологического и диалогического текстов. Обратимся сначала к определениям. Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, под монологической речью следует понимать форму (тип) речи, образуемую в результате активной речевой деятельности, рассчитанной на пассивное и опосредованное восприятие (Лингвистический энциклопедический сло-

варь, 1990: 310). Для монологической речи типичны значительные по размеру отрезки текста, состоящие из структурно и содержательно связанных между собой высказываний, имеющие индивидуальную композиционную построенность и относительную смысловую завершенность. Как видно из определения, современное понимание монолога мало чем отличается от соссуровского взгляда на процесс коммуникации в целом.

Исследователи драматического жанра отмечают, что монолог является средством выражения лингвистической индивидуализации. В речи персонажа драматического произведения он всегда противопоставлен диалогу. «Язык персонажа монологичен ровно в той степени, в какой он отклоняется от диалогических канонov речи» (Frieden, 1989: 7). Таким образом, за исходную немаркированную коммуникативную ситуацию принимается диалог с равной активностью его участников.

Ни то, ни другое определение, по всей вероятности, не удовлетворило бы М. М. Бахтина. В тридцатые годы монолог и монологическое слово были для него крайней отрицательной точкой на шкале диалогизма. По мнению американских исследователей творчества М. М. Бахтина Г. Морсона и К. Эмерсон, бахтинское понимание монолога определяется его неприятием «прямого объектного слова», представляющего собой результат превращения «живого языкового средства в мертвое». Сама монологическая форма есть «способ мышления, превращающий диалог в пустую форму речевого взаимодействия» (Morson, Emerson, 1990: 56–57).

В своих более поздних рассуждениях о монологе М. М. Бахтин отмечал, что перемежающиеся монологические высказывания в диалоге представляют собой мини-монологи, включающиеся в «большой диалог» той или иной сферы коммуникации. Согласно его новому определению, «монолог – это форма речи, никому не адресованная и не предполагающая ответа. Степень монологизма может варьироваться» (Бахтин, 1979: 296).

М. М. Бахтин подчеркивал, что в большом диалоге существует связь между интерпретацией текста и позицией наблюдателя, что позволяет считать, что любое монологическое высказывание имеет своего диалогического партнера. М. М. Бахтин настаивал на том, что понимающий (в том числе и исследователь) сам становится участником диалога. Создание нового смысла адресата отражает действие принципа дополнительности и уподобляет адресата экспериментатору-микрофизику, задающему параметры интерпретации: «У наблюдающего нет позиции вне наблюдаемого мира, и его наблюдение входит как составная часть в наблюдаемый предмет» (Бахтин, 1979: 305). Такое понимание

монолога созвучно современной драматургии, где зрители становятся участниками действия, а не просто аудиторией, следящей за развитием сценических событий пьесы.

И все же значит ли это, что монолог в романе или драме несущественен сам по себе и лишь выступает как часть диалога? Скорее всего, нет. Отсутствие немедленной реакции на монолог не мешает читателю активно вторгаться в сферу монолога и интерпретировать монологическую речь персонажа или автора. Воспринимая монолог со сцены или читая монологический текст, адресат создает новый текст, в процессе порождения которого, как уже упоминалось, происходит «нетривиальный сдвиг значения».

Все это позволяет считать, что как литературный, так и драматический монолог являются результатом взаимодействия диалогической и монологической составляющих. Каждая из них способна в тот или иной момент занимать главенствующую роль, способствуя реализации стратегии автора, «оркеструющего текст».

Ниже будет показано, что существуют, по крайней мере, два отчетливо выделяемых типа такой оркестровки текста в зависимости от того, какая из составляющих, диалогическая или монологическая, выбирается говорящим или автором в качестве исходной.

Если развитие текста направлено от диалога к монологу, то конечный текст становится результатом монологизации диалога. К числу таких текстов можно отнести монологи в произведениях Джейн Остин и Ф. М. Достоевского, содержащие как внутренний диалог героя, так и включенные в монолог голоса других персонажей, легко узнаваемые читателем. Соотношение этих голосов, как известно, создает полифонический эффект романов Достоевского. Наблюдения над структурой романов Дж. Остин показывают, что английская писательница XVIII века также создавала многоголосие в своих романах.

Что же касается современных, особенно модернистских и постмодернистских произведений, то для них характерна противоположная тенденция. В качестве начальной точки выступает монолог, который диалогизируется в процесс развития текста.

Рассмотрим первый тип соотношения между монологической и диалогической составляющими, остановившись кратко на известных примерах из романов Достоевского, а также на нашей выборке примеров из романа Дж. Остин «Эмма». Согласно М. М. Бахтину, всякое слово существует для говорящего в трех аспектах: как нейтральное и никому не принадлежащее слово языка, как чужое слово других людей, полное отзвуков чужих вы-

сказываний, и, наконец, как мое слово, ибо, поскольку я имею с ним дело в определенной ситуации, с определенным речевым намерением, оно уже проникается моей экспрессией. Слово выступает как выражение некоей оценивающей позиции индивидуального человека, как аббревиатура высказывания (Бахтин, 1979: 268).

Самым наглядным примером монологизации диалога у Достоевского является присвоение чужого слова и превращение его в «мое» с помощью модификации вопросов. Цитированные в монологическом тексте чужие вопросительные высказывания нередко превращаются в риторические вопросы: «А я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил себе на похмелье! И пью-с! И уж пропил-с!.. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? ась? Жаль вам теперь меня сударь, аль нет? Говорите сударь, жаль али нет?» (Достоевский II: 20).

Анализ приведенного примера следует начать с того, что всякий риторический вопрос содержит отрицание общей презумпции вопроса, которое усиливается его культурно-обусловленной этической пресуппозицией. В данном случае заведомо негативный ответ обеспечивается принятым в обществе морально-этическим кодом, что позволяет рассматривать риторический вопрос как аксиологическое высказывание. Для того чтобы усилить навязываемую вопросом отрицательную оценку поведения персонажа, вопрос повторяется, но уже не как риторический, а как прямой вопрос, обращенный к конкретному адресату.

Аналогичные процессы монологизации вопросительных высказываний можно проследить и в текстах Дж. Остин: *There can be no doubt of your being much more engaged with company than you used to be. Witness this very time, here am I come down for only one day, and you are engaged with dinner party! – When did it happen before, or any thing like it? Your neighbourhood is increasing, and you mix more with it. A little while ago a letter to Isabella brought an account of fresh gaieties; dinners at Mr Cole’s, or balls at the Crown...*

Upon my word, exclaimed Emma you amuse me! I should like to know how many of all my numerous engagements take plice without your being part of the party; and why I am to be supposed in danger of wanting leisure to attend to the little boys. These amazing engagements of mine – what have they been? Dining once with Coles – and having a ball talked of, which never took place (Austen, 803).

Той же цели – монологизации вопроса – служит и функционально-семантический сдвиг частновопросительных высказываний, превращающий локативный вопрос в причинный. Так как такие вопросы ограничены кругом отрицательно-оцениваемых

ситуаций, то, подобно риторическому вопросу, причинный вопрос также звучит как отрицательно-оценочное высказывание: «Воротился! Колодник! изверг!... А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! где твое платье? где деньги?» Вопрос «Где деньги?» интерпретируется как «дурно, что X пропил деньги».

В обоих случаях, на наш взгляд, происходит монологизация самого яркого диалогического средства – вопросительного высказывания, из запроса об информации он превращается в средство выражения оценки и эмоционального состояния говорящего.

Вторым характерным способом присвоения чужого слова являются отраженные оценки. Собственные оценки говорящего интерферируют с оценками других лиц. Соположение и конкуренция этих оценок создают диалогическое напряжение внутри монологического текста.

В качестве примера рассмотрим тот самый отрывок из письма матери Раскольников, который М. М. Бахтин анализирует как пример диалогических отношений. Мы же рассмотрим тот же отрывок, но с точки зрения взаимодействия диалогической и монологической составляющих текста. «Многое и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтобы его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало что поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек порядочный, хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый... К тому же он человек очень расчетливый...» (Достоевский II, 44).

Нельзя не согласиться с М. М. Бахтиным, что участие в приведенном отрывке двух голосов с их разными оценками одного и того же объекта (Лужина) создает диалог персонажей. В то же время нельзя не заметить и расположение оценочных высказываний в законченном фрагменте письма. Хотя мать Раскольникова и приводит слова сестры Дуни, которые должны составлять положительный противовес ее собственным суждениям (порядочный, умный, добрый), все же сильные позиции в начале и конце фрагмента занимают ее собственные оценки с явной негативной доминантой.

Столкновение диалогической и монологической составляющих в письме матери Раскольников прослеживается еще четче в тех случаях, когда конкурируют персональные и социальные оценки. Социальные оценки вводятся персонажем в текст непосредственно, без всяких оговорок. Что же касается персональных оценок, то неуверенность и желание хоть как-то скрыть неприязнь заставляют ее окружать свои оценки целым сонмом модификато-

ров, пропозициональных глаголов и т. п. элементов типа *кажется, немного, вообще, довольно, немного только*.

Накопление подобных элементов способствует оценочному сдвигу и созданию диалогической доминанты противоречащих друг другу оценок: от тщетных попыток создать положительный образ — к легко прослеживаемому отрицательному. «Петр Петрович Лужин: Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и имеет свой капитал, правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще он человек весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда <...> по крайней мере, по многим признакам человек весьма почтенный...» (Достоевский II. Там же).

Рассмотрим аналогичные примеры из англоязычного текста:

“Mrs Churchill, *as we understand*, has not been able to leave the sofa for a week together. In Frank’s last letter she complained he said, of being too weak to get into her conservatory without having both his arm and his uncle’s! This, you know speaks of a great degree of weakness — but now she is so impatient to be in town, that she means to sleep only two nights on the road. — So Frank writes word. Certainly, delicate ladies have very extraordinary constitutions...” (Austen, 897).

В литературе XVII—XIX вв. прослеживается тенденция к монологизации диалога, к включению конкурирующих голосов, где равноправие голосов обуславливается авторским замыслом. Различно направленные диалогические векторы голосов персонажей взаимодействуют в монологическом пространстве речи персонажа.

В литературных текстах XX в. картина кардинально меняется. Одиночество и непонятость личности и, соответственно, литературных героев выводят на первый план монолог. Желание героя высказаться, пусть в пустоту, где его голос не будет услышанным, реализуется в пространных текстах с доминантной монологической составляющей.

Если представить себе текст как векторную величину, то в случае монологов XX в. можно проследить направленность речи персонажа непосредственно к читателю, за пределы текста. Именно этим, на наш взгляд, объясняется значительное количество пьес-монологов. Превалирующей тенденцией становится диалогизированный монолог. Наиболее ярким примером такого диалогизированного монолога является роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».

На первый взгляд Б. Пастернака можно было бы обвинить в стилистической небрежности при создании образов романа. Создается впечатление, что автору безразличен стилистический регистр речи его героев: Юрий, Тоня, Лара — все говорят одинаковым языком, без характерных речевых особенностей. Вихрь революции сметает речевые различия. У всех одна манера, одинаковые синтаксические структуры высказывания, одинаковый словарь. Небрежность эта особенно четко прослеживается при передаче речи Лары: учитывая ее социальное происхождение и образование, трудно представить себе, что ее речь практически ничем не отличается в стилистическом отношении от речи Юрия или Тони. И именно в этом случае кажущаяся небрежность Б. Пастернака становится подозрительной. А не скрывается ли за ней особая авторская стратегия:

Л а р а: «Я буду шить, но вы не обращайтесь на это внимания, Симочка. Я вся превратилась в слух. Я на курсах все время слушала историю и философию. Построения вашей мысли очень по душе мне. Кроме того, слушать вас для меня такое облегчение. Мы последние ночи недосыпаем вследствие разных забот. Мой долг матери перед Катенькой обезопасить ее на случай возможных неприятностей с нами» (Пастернак, 203).

Приведенный пример наглядно демонстрирует фигуры речи, характерные для образованных людей того времени. И вместе с тем некоторая монотонность, если не сказать стереотипность, построения речи заставляет задуматься, зачем автору потребовалось заставлять своих героев говорить одним голосом. Думается, что весь роман «Доктор Живаго» есть звучание одного голоса — голоса крушения мира. Текст романа столь же монолитичен, сколь и беккетовский роман “The Unnamable”, в котором потеряна вся система координат личности. Сохраняется лишь способность к речевому самовыражению и неспособность это самовыражение прекратить: “Where now? Who now? When now? Unquestioning. I, say. Unbelieving, Questions, hypotheses, call them that. Keep going, going on, can that going, call that on. Can it be that one day, off it goes on, that one day I simply stayed in, in where, instead of going out, in the old way, out to spend day and night as far away as possible, it wasn't far, perhaps that is how it began. You think you are simply resting, the better to act when the time comes, or for no reason, and you soon find yourself powerless ever to do anything again. No matter how it happened. It, say it, not knowing what...” (Beckett, 342).

И для Беккета, и для Пастернака характерно построение художественного текста с монологической доминантой. Диалог выполняет лишь техническую функцию.

Еще более существенную роль монолог играет в произведениях писателей и драматургов — наших современников. Эта тенденция сильна в английской драме 1960–1970-х годов, например в творчестве Гарольда Пинтера. В России монологическая форма центральна для пьес и повестей Л. Петрушевской, которые и носят название монологов. Ее рассказы, как правило, направлены на историю отдельной человеческой жизни, отдельной судьбы. Преобладание монологической составляющей, однако, не означает полного подавления диалогизма текста; по мнению Е. Гасило, в монологах Петрушевской двуголосие создается взаимодействием эксплицитного и имплицитного компонентов текста (Gascilo, 1995: 32).

Остановимся на мысли Е. Гасило более подробно, и попробуем развить ее исходя из нашей основной посылки о конкуренции диалогической и монологической составляющих текста. Итак, в отличие от Достоевского или Дж. Остин, в современной прозе конкурирующий голос — это уже не голос другого персонажа или персонажей — это alter ego самого героя. Мы слышим этот голос не из уст других героев, а вычитываем его в собственной речи персонажа, декодируя описания событий, оценки, рассуждения, пространство текста оказывается разомкнутым для читателя, ибо теперь — это его задача услышать второй голос героя. Из адресата, воспринимающего завершённое полифоническое произведение XIX в., он превращается в человека, пытающегося сыграть партию вместе с героем.

Второй характерной чертой современного художественного текста является постоянное повторение тем в репликах диалога. Каждый из персонажей проигрывает свою тему подобно рондо. Бахтинская идея взаимной ненаходимости вопроса и ответа, создаваемая конкурирующими голосами (Бахтин, 1979: 371), сменяется взаимной глухотой персонажей. Неуслышанность ведет к безнадежному повторению одной и той же мысли, самоцитированию, самокоррекции, появлению противоречащих друг другу высказываний в рамках монолога персонажа. Это отход от полифонии и движение в направлении к какофонии.

Если мы согласимся с Е. Эткиндо в том, что герои романов XIX в. общаются, не слушая друг друга и как бы случайно, говорят каждый о своем (Эткиндо, 1999: 118), то в прозе и драме XX в. этот признак усиливается *нежеланием* слышать друг друга и

бесконечным назойливым повторением своей точки зрения или своих разных точек зрения. Примером тому может служить монологическая пьеса Л. Петрушевской «Сети и ловушки».

- (1) То положение, в котором я находилась, было абсолютно простым и ясным, то есть оно было бы простым, чистым и ясным, если бы у меня на руках был бы документ, подтверждающий, что я – жена Григория (Петрушевская, 190).
- (2) Он с величайшей простотой сел и написал своей матери письмо, когда я сказала, что поеду рожать к ней, потому что на Дальний Восток ехать нет денег. Он написал это письмо не только потому, что я встала перед ним на колени, но и потому, как мне показалось, что ему самому было нужно, чтобы я поскорее уехала куда угодно и как угодно, но чтобы уехала (Петрушевская, 191).

Отметим, что в каждом из приведенных примеров корректирующая реплика содержит обоснование в тексте, нагромождающая противоречащие друг другу высказывания, каждое из которых содержит внутреннюю логику развития мысли. В этом отношении монологи Петрушевской уходят корнями в литературу абсурда и оказываются близкими по построению к произведениям Беккета, таким как, например, “The Unnamable”, где читатель терзается в повторяющихся отрицаниях каждого предыдущего высказывания: *The best thing would be not to begin. But I have to begin. That is to say I have to go on* (Beckett, 292).

В примерах, подобных этому, прослеживается общность с внутренним диалогом Ф. М. Достоевского, где герой также нагромождает противоречащие друг другу утверждения и оценки. Существенной разницей, на наш взгляд, является то, что Достоевский, оставаясь верным идее диалогизма, вводит в текст эксплицитного оппонента, к которому герой и обращается: «Вы скажете, что пошло и подло выводить все это на рынок после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе недурно составлено; не все же происходило на озере Комо. А впрочем, вы правы; действительно и пошло и подло. А более всего то, что я начал теперь перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да, довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь: все будет одно другого подлее» (Достоевский I, 181).

В рассуждениях человека из подполья оценки его мечтаний колеблются от «недурно составлено» до «пошло и подло». При этом есть и некоторая промежуточная оценка, предназначенная для того, чтобы убедить возможного оппонента и самого себя в том, что он не стыдится своих мыслей, потому что они не «глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни».

Монолог как жанр характеризуется обилием эксплицитных и имплицитных оценок, обеспечивающих связь между говорящим и его высказыванием. Одна из важнейших идей, высказанных М. М. Бахтиным в его работе «Марксизм и философия языка», заключается в следующем: «Всякое высказывание, какой бы ни была его цель — обозначать, задавать вопрос, повелевать — всегда является оценочным — нет высказывания без оценки» (Волошинов, 1993: 134). Для М. М. Бахтина высказывание неотделимо от оценки.

В пьесах и рассказах Петрушевской героини постоянно занимаются оценкой друг друга и самооценкой, причем каждая новая оценка противоречит предыдущей. В постоянно тлеющих конфликтах между матерями и дочерьми взрывы взаимной ненависти сменяются периодами прекращения огня. Кроме того, оценки, высказываемые персонажами, нередко зависят от адресата (что характерно для циничной прямоты реализма Петрушевской). В пьесе «Три девушки в голубом» мать одной из героинь, Мария Филипповна, то гневно обрушивается на дочь: «Ты слабый человек! Ты всем веришь, у всех идешь на поводу!.. Обнаглела совсем. Я тут сижу волнуюсь, а она даже не позвонила, ни как Павлик, ни как я. Погоди, еще будешь горько сожалеть! Я в конце концов умру-таки!» (Петрушевская, 40). Однако тут же, в разговоре с подружкой по телефону, ее оценка кардинально меняется: «Я прямо смеюсь от счастья. *(Вытирает слезы.)* ...Я так рада! Нашлись, нашлись! Они, оказывается, болели и не подавали весточек! Они — это единственное, что у меня в жизни есть...» (Петрушевская, 41).

В таких примерах одна и та же тема *приезд дочери и внука* повторяется в двух оценочных рамках: первый раз с оценкой минус, а во второй раз плюс.

Наибольшего накала конфликт оценок достигает в рассказе (монолог) дочери Марии Филипповны, Иры, о том, как она увязалась в Крым за своим любовником, в планы которого ее поездка не входила. Ире пришлось срочно вернуться в Москву, так как ее мать должна была лечь в больницу, а сына Павлика не с кем было оставить. Ира рассказывает эту историю соседям по даче. Особенно страшен момент, когда ей приходится ползать на коленях перед аэропортовскими чиновниками, чтобы полу-

чить билет в Москву. Однако, рассказывая это, Ира безудержно хохочет. Цинизм ее рассказа шокирует даже видавших виды ее соседок. Сам рассказ служит гротескным повтором только что увиденной нами сцены в аэропорту, где мы слышим голос служащего аэропорта: «Девушка, не ползайте за мной на коленях! Вам сказано, девушка!» (Петрушевская, 62).

Как мы уже отмечали выше, герои современной литературы говорят не друг с другом, а, по сути, назло друг другу, повторяя одно и то же — то ли для собеседника, то ли для самих себя.

Именно это мы прослеживаем в пьесе Петрушевской «Любовь», где молодожены Толя и Света постоянно возвращаются каждый к своей версии отношений, не обращая практически никакого внимания на то, что говорит собеседник. По Толиной версии, он неспособен любить, но ему нужна спутница жизни. Света удовлетворяет его требованиям, потому что она не вызывает у него чувства неприязни. У него есть деньги, и он способен содержать семью. По ходу пьесы Толя повторяет свою историю не менее четырех раз с очень малыми вариациями. Она сопровождается авторскими ремарками: монотонно.

Светина версия совершенно иная. По ее мнению, Толя пытался жениться на всех ее более привлекательных подругах, но получал отказ, поэтому и выбрал ее, Свету: все отказали, а она не отказала. Вопрос о том, почему она не отказала, т. е. вопрос о ее чувствах, даже не поднимается. В результате их диалог оказывается противопоставлением двух монологов, многократно проигрываемых каждым из участников.

В своей статье «Трудные пьесы» М. Туровская приходит к заключению, что основная сила Л. Петрушевской заключена в способности целиком и полностью выразить себя через язык (Туровская, 1988: 24). В пьесе «Любовь» оба персонажа, особенно Толя, нередко отклоняются от темы разговора, иронически названной Туровской «выяснилочка», для чисто лингвистических рассуждений о смысле слов и высказываний (прием, характерный для литературы постмодернизма):

Толя: Я честно тебе все сказал: не люблю никого, но я хочу жениться на тебе. Хотел вернее.

Света: Теперь не хочешь?

Толя: Теперь женился с сегодняшнего дня (Петрушевская, 138).

В приведенном отрывке речь идет не о чувствах, испытываемых Толей, а о значении прошедшего времени употребленного им глагола.

Еще одним примером лингвистических рассуждений является абсурдное рассуждение о прагматическом различии между предложением и советом: «Это дело интонации и обстановки, я тебе сказал: “Выходи замуж”, ты сказала: “За тебя?”, я сказал “Да”, а Кузнецовой я совет дал: “Выходи замуж”, она сказала: “Да кто меня возьмет”, а я промолчал, эта формула — она двойная из двух моих фраз. “Выходи замуж” и “да” в случае моего предложения. А в случае простого совета я вторую фразу не говорю, я многим так советовал выходить замуж» (Петрушевская, 141). Имплицитная часть высказывания состоит в том, что значение совета проявляется в ответе адресата, а совсем не в его собственной коммуникативной интенции. Здесь мы вновь наблюдаем взаимную вневходимость вопроса и ответа. Сама функция вопросов как прямых, так и риторических резко меняется по сравнению с их функцией в романах Достоевского, так как здесь адресат либо вообще не существует, либо становится нерелевантен.

Поскольку слушателя либо нет вообще, либо он теряет свою релевантность, героине остается обращать вопросы лишь к самой себе. В одном из наиболее сложных монологических текстов-откровений Л. Петрушевской «Время ночь» главная героиня рассказывает о том, как преданно она любила своих детей, сына и дочь, как много сил отдала им. Она признается в том, что любовь для нее — самое важное в жизни, и все же дети ненавидят ее. В отчаянии мать спрашивает себя: *Чем я заслужила все это?* Этот вопрос можно интерпретировать двояко — и как прямой, и как риторический — в зависимости от принятой нами точки зрения. Риторическим вопрос является для самой героини, уверенной в том, что она честно выполнила материнский долг; внимательный же читатель, скорее всего, заметит, что вопрос прямой и ответом на него является вся совокупность имплицитных смыслов исповеди героини, все ядовитые ремарки в адрес сына и дочери, все годами копившиеся взаимные обиды, описанные в ее монологе. Если мы сравним соотношение прямого и риторического вопросов в текстах романов XIX в. с текстами современных монологов, то мы увидим, что в первом случае прямой и риторический вопросы соседствуют, а во втором накладываются друг на друга.

Средства лингвистической индивидуализации речи являются одним из основных признаков стиля Л. Петрушевской. Как пишет Е. Гессен: «Язык для нее важнее всего. Поначалу кажется, что слова, которые она употребляет, знакомые, повседневные, даже заезженные. Однако они так хорошо сочетаются друг с другом, что время от времени просто нельзя удержаться от радост-

ного смеха. В этом-то и есть истинный талант художника, который дает нам радость сам по себе, вне зависимости от того, что события или люди, которые этими словами описываются, очень далеки от веселых и счастливых» (Гессен, 1989: 177).

В прозе Л. Петрушевской эффект индивидуализации достигается за счет легких грамматических и лексических отклонений, придающих речи ее персонажей особый колорит, не являющийся ни диалектным, ни просторечным, скорее — это ни с чем не связанные ошибки или странности словоупотребления. Мы наблюдаем семантические, лексические и грамматические отклонения.

Например:

1. Смена референтной ситуации. Федоровна: «Блюм Изабелла Мироновна была у меня в детском садике музработником. Слабый была музработник, еле ползала, придет, отдышитесь, над супом плачет — обтереться нечем» (Петрушевская, 10).

Читатель ожидает, что далее будет рассказано о слабой профессиональной подготовке учительницы, на самом же деле оказывается, что речь идет о ее пошатнувшемся здоровье и психологических проблемах.

2. Грамматические отклонения, такие как сочетание семантически несовместимых актантов на основании однотипного глагольного управления: «Я надела туфли желтые, зубы, плащ синий, полушалок с розами синий, невестка подарила раз в жизни» (Петрушевская, 13). Речь Толи в пьесе «Любовь» выделяется грамматическими странностями, а не грамматическими или лексическими ошибками, характерными для носителей русского языка. М. Туровская видит в этих странностях своеобразную «коррозию речи», которая является показателем растущей социальной энтропии (Туровская, 1988: 249). Например: «У меня зубы отличные, ни разу не болят».

3. Лексическая сочетаемость: детские оценки отличаются особой лингвистической экспрессивностью благодаря тому, что автор черпает их из случайно подслушанных реальных диалогов. Л. Петрушевская пишет: «Мое рабочее место среди людей на рынке, на улице или на пляже; сами того не сознавая, они диктуют мне темы, а иногда и целые предложения» (Петрушевская, 248). Отсюда примеры типа: «Павлик, как ты себя чувствуешь? Немножко хорошо».

Диалог используется автором примерно так же, как текстовые примеры в лингвистических статьях, то есть диалог служит примером, подтверждающим правильность гипотезы, посылки или оценки. Например, Федоровна: «У меня шуба каракулевая с

какой поры у невестки в шкафу висит, сапоги на цигейке стоят. Я к тебе как-нибудь в Москву приеду, как принцесса цирка. Моя кума, невесткина мать, все хвастает: “А у вас сколь на книжке?” А я: “А у вас? небось цифра пять?” Она говорит: “Да хитрить не буду. Около того и выше”. Она одевает на работу бриллиантовые серьги, она кассиршей в “Суперсаме” работает...» (Петрушевская, 13).

Таким образом, цитаты из высказываний сына Федоровны и тещи сына выступают в качестве обоснования, наглядных примеров, доказывающих материальное благополучие семьи Федоровны.

В современной английской драме прослеживаются те же явления диалогизации монолога за счет создания противоречивых, если не парадоксальных, соположений высказываний. Структура, организованная по принципу «рондо», столь же характерна для Гарольда Пинтера, как и для Людмилы Петрушевской. В одноактной пьесе, которая так и называется «Монолог», герой вспоминает прошлое: “Sometimes I think you’ve forgotten the black girl, the ebony one. Sometimes I think you have forgotten me” – и далее, подобно тому, как это делает С. Беккет, та же тема проигрывается с отрицанием: “You haven’t forgotten *me*. Who was your best mate, who was your truest mate? Who got you going on Tristan Tsara, Breton, Giacometti and all that lot? Who bought you both all those custard tins cut price? I say both. I was the best friend either of you ever had and I an still prepared to prove it” (Pinter 1, 272).

В приведенном примере мы вновь встречаемся с использованием вопроса в функции несобственно-вопросительного высказывания: “Who was your best mate, who was your truest mate?”. При этом весь дальнейший текст строится как обоснование единственно возможного ответа на вопрос: самым верным другом был главный герой, произносящий монолог. Вопрос, по сути дела, оказывается композиционным средством, позволяющим перечислить события, которые подтверждают мысль героя. И вновь диалогические элементы выступают лишь как вспомогательные средства, способствующие созданию монологического текста.

В пьесе “Old Times” наблюдаются языковые игры, очень напоминающие те, что мы находим в монологах Л. Петрушевской. Это лишь самое начало постмодернистской деконструкции языка художественной литературы. И все же игра с грамматическими и логическими смыслами знаменует отход от смыслов содержательных. Наступает момент, когда сама форма становится содержанием диалога, а каждый из входящих в него «мини-монологов»

замыкается в себе. Например, в диалоге между мужем (Deeley) и женой (Kate) решается вопрос о том, как определить слово «друг» и сочетание «единственный друг»:

Deeley: Was she your best friend?

Kate: Oh, what does that mean?

Deeley: What?

Kate: The word friend when you look back all that time.

Deeley: Can't you remember what you felt?

* * *

Deeley: Do you think of her as your best friend?

Kate: She was my only friend.

Deeley: Your best and only.

Kate: My one and only. If you have one of something you can't say it's the best of anything.

Deeley: Because you have nothing to compare it with.

Kate: Mmnn.

Deeley: She was incomparable (Pinter 2, 4–5).

Логика и грамматика учат нас, что употребление сравнительной или превосходной степени невозможно без объекта сравнения. Именно на этом рассуждении и замыкается монолог героини: если подруга была единственной, то ее нельзя назвать лучшей, ибо сравнивать не с кем. Всякие попытки ее собеседника перевести диалог в «качественное» русло оказываются безуспешными (ср.: Pinter 2, 18).

Наше исследование монологической составляющей текста позволяет сделать следующие выводы: роль и функция монолога в современной драме и прозе стали гораздо более существенными, чем в прошлом веке, особенно в связи с вниманием к отдельной личности и потерей ею связи с внешним миром. Диалог с другими, конкуренция голосов, уступает место разговору или даже спору с самим собой и самокоррекции. Страстное желание современного героя высказаться приводит к смене приоритетов диалогической и монологической составляющих художественного текста, превращая диалог во вспомогательное средство, поддерживающее монологический текст.

ГЛАВА II

МОНОЛОГ И РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Традиционно исследования монолога как вида речевой деятельности занимают подчиненное положение в лингвистике. Дело в том, что диалогическая природа речи признается в лингвистической традиции одним из основных ее речевых свойств. Действительно, язык, определяемый, в частности, как средство общения, кажется, не может быть употреблен, если акт употребления не предполагает сообщение о чем-либо какому-либо получателю информации (читателю или слушателю). В связи с этим диалогичность понимается как универсальный, родовой признак говорения, обусловленный самой природой коммуникативного акта. Разграничение понятий «диалог» и «монолог» осуществляется в рамках данного подхода чисто формально и практически выводится из сферы интересов лингвистики. «Монологичность» — периферийное явление, оно иногда относится к отдельной речевой сфере, например художественной, и рассматривается как структурный элемент целого текста, обладающего диалогической природой (Ковтунова, 1986: 180–188). Монолог также может рассматриваться как отрезок речи одного субъекта, не прерываемый другими субъектами, или как внутренняя речь (Выготский, 1934: 279–302). Во всех случаях монологизм трактуется как явление, подчиненное универсальной диалогической природе речи и недостаточно существенное для определения ее родовых свойств.

Показательным для такого подхода к пониманию места монолога в речевой деятельности является и то, что во многих трудах, отражающих функционально-коммуникативный подход к языку, проблема диалогизма/монологизма в речи не ставится вообще. Типичным текстом, отражающим такую методологию, можно считать, например, обстоятельную монографию *Discourse Analysis* (Brown, Yule, 1986).

Вместе с тем признание за монологизмом лишь условной значимости с точки зрения коммуникативной природы языка — с определенной точки зрения может оказаться значительным

ограничением, не позволяющим раскрыть ряд аспектов сущности речевой деятельности.

В данной главе предпринимается попытка обосновать принципиальную значимость разграничения диалога и монолога как двух различных типов речи, оформляющих различные по своей природе сферы коммуникации.

На первый взгляд, монолог и коммуникация могут показаться несовместимыми. Причина этому кроется в традиционном разграничении языка как системы кодов «информации/сообщения», с одной стороны, и мышления, понятийной системы человеческого сознания – с другой. Данная традиция имеет глубокие корни в структурном языкознании XX в. и наиболее четко выражена в известной формуле коммуникативного акта Р. Якобсона. (Jakobson, 1960: 350–377). Любой текст, любое высказывание должно сообщать что-то, и, с этой точки зрения, оно, по сути, диалогично, поскольку предполагает передачу информации от посылателя А получателю Б. Совпадение отправителя и получателя информации либо обуславливает возникновение специфической внутренней речи (речь для себя), не достигающей полной вербализации (Выготский, 1934: 301–302), либо является патологией. В обоих случаях мы имеем дело с периферийными явлениями речевой деятельности.

Вместе с тем соотношение монологизма и диалогизма в речевой деятельности может получить и принципиально другую трактовку, если мы попытаемся рассматривать язык не как способ кодирования мысли, но как способ существования мысли как таковой. Данный антропологический подход к языковой деятельности, впервые последовательно представленный еще в работах Л. Витгенштейна в тридцатых годах XX в., например: *Philosophische Untersuchungen, The Blue and Brown Books* (Wittgenstein, 1953), получает в последнее время все большее развитие, особенно в трудах американских исследователей – когнитивистов Дж. Лакоффа, М. Джонсона и М. Тернера (Lakoff, Johnson, 1999).

В основе лингво-антропологического подхода к языку лежит идея о том, что язык выполняет в существовании человека более широкую функцию, чем обеспечение кодирования сообщений от одного субъекта к другому. Язык исследуется как способ удовлетворения человеческих потребностей, которые не могут быть удовлетворены иначе, как с помощью вторичной сигнальной системы.

В рамках данного подхода основным принципом классификации речевых высказываний является определение результата, ко-

торый достигается при произведении того или иного конкретного речевого акта.

С точки зрения результативности речевой деятельности, ее можно разделить на две широкие сферы. К одной сфере следует отнести все речевые акты, производство и восприятие которых не вызывает изменений во внешней предметной действительности. К другой сфере следует отнести речевую деятельность, направленную на преобразование окружающей человека среды. Анализ специфики речевых актов в данных двух сферах способен по-новому раскрыть природу диалогизма и монологизма в языке.

Основной потребностью человека, обеспечивающей его самобытность и отличающей его от других живых существ, является потребность в самопознании. Основным свойством самопознания является постоянное моделирование системности человеческого опыта, закрепленной в памяти. Проблема самопознания по своей сути философская и психофизиологическая. Вместе с тем роль языка в обеспечении самопознания является ключевой, поскольку именно язык является универсальным средством категоризации опыта. О роли языка в обеспечении мыслительного процесса и формировании целостного самоощущения личности в последнее время говорится все больше и больше. Особый интерес представляют высказывания ученых-лингвистов, которые приходят к выводу о конституирующей роли языка в процессе формирования человеческого сознания. Характерным примером можно считать недавно изданную монографию группы философов из Санкт-Петербургского государственного университета под названием «Проблемы индивидуального и коллективного разума». В разделах, посвященных когнитивным функциям сознания (Васильев, Зобов, Келасьев, 1998: 52–63), авторы четко определяют лингвистическую природу любой категоризации опыта и любой системности на уровне сознания. Там же, анализируя ограниченность существующих научно-познавательных моделей, опирающихся на абсолютизацию логико-рационалистического метода, авторы указывают, что источником любых знаний, любой системности является язык. Проблемы, стоящие перед любым конкретным научным направлением, по сути, являются проблемами лингвистическими, проблемами «языка» в терминологии авторов (Там же: 106, 109–112).

Новый взгляд на язык как на способ существования сознания предполагает новый подход к оценке роли языковой деятельности. В качестве универсального способа категоризации опыта язык обеспечивает возможность формировать устойчивые модели ситуаций, связанных с решением возникающих в про-

цессе жизнедеятельности человека задач. Весь комплекс таких моделей обладает для каждого конкретного субъекта относительной стабильностью. Модели, закрепляющие отношения, с помощью которых человек способен мыслить о мире как о чем-то «данном», «стабильном», «таком, как он есть», являются, собственно, ценностной основой языковой личности. Если для конкретного субъекта ценностная система является чем-то приобретенным, усвоенным в процессе длительного речевого общения (семья, школа, весь комплекс речевого опыта «ребенка», еще не сложившейся языковой личности), то на уровне коллективного сознания ценностная система является способом его существования.

Изучение самостоятельности коллективного сознания как образования, обладающего собственной природой, является сегодня одной из наиболее интересных и актуальных проблем, стоящих перед гуманитарной наукой (Там же: 106–117). Принципиально важным для лингвистики является то, что коллективное сознание, существующее как ряд закономерностей в формировании целостности мировосприятия для какого-то конкретного социума, реализует данные закономерности в «многочисленных письменных текстах, языке» (Там же: 109).

Исследователи-философы ограничиваются предельно общими замечаниями о лингвистической природе коллективного сознания. Суть этого явления может быть плодотворно выявлена на уровне лингвистических исследований. В связи с этим многообещающим может быть анализ природы функционирования речи во всех сферах, в которых производство и восприятие текстов не предполагает какого-либо изменения в мире вещей, окружающем человека.

Тексты, порожденные потребностями, не связанными с конкретным воздействием на вещественное окружение субъекта, обладают целым рядом общих признаков. Прежде всего, моменты производства высказывания и его восприятия не имеют жесткой временной взаимообусловленности. Это означает, что при производстве конкретного текста в данной речевой сфере его организация не предполагает, что он должен быть воспринят другим(и) субъектом (субъектами) в течение какого-либо конкретного периода времени.

Второй признак высказываний такого типа – отсутствие конкретной направленности от отправителя к адресату. Конкретное авторство обладает чисто условной значимостью; невозможно у данных текстов определить и сколько-нибудь конкретный, ограниченный круг получателей-адресатов.

Третий важный признак рассматриваемых текстов – специфическая природа процесса их понимания. Понимание данных высказываний, в сущности, представляет собой реконструкцию системности, целостности данного текста. Понимание является как бы вторичным порождением данного текста конкретным субъектом. Результатом непонимания будет отторжение высказывания как единицы, не обладающей смысловой системностью.

Данные признаки достаточно четко просматриваются у целого ряда текстов. Прежде всего, к данному типу следует отнести научные тексты. Действительно, порождение и восприятие научных текстов не обладают жесткой временной взаимообусловленностью. Актуальность научного текста, то есть интерес к его прочтению, существует до тех пор, пока в конкретном социуме – на уровне коллективного сознания – существует потребность в словесном разрешении какой-либо проблемы, вызванной к жизни определенным конфликтом между уже сложившимися системными отношениями внутри какого-либо элемента ценностной системы и какой-либо моделью (гипотезой), нарушающей устойчивую системность. Актуальность текста утрачивается в тот момент, когда гипотеза – понятийная модель, вызывающая конфликт в ценностной системе – полностью адаптируется к данной системе и входит в нее как элемент ценностной структуры. Мы видим, что временные рамки «актуальности» научных текстов полностью определяются векторным развитием коллективного сознания и никак не связаны со временем, характеризующим вещественные отношения.

Не обладают научные тексты и конкретной направленностью от автора – конкретного субъекта к получателю – конкретному субъекту. Можно говорить о том, что и «автор», и «получатель» в сфере научной речи один и тот же – коллективное сознание, носителями которого выступает неопределенное множество субъектов, индивидуальные сознания которых включены в непрерывный процесс разрешения конфликтности в определенных элементах коллективного сознания. О том, что этот процесс обладает собственной векторной направленностью, независимой от специфики конкретных индивидуальных сознаний, свидетельствует тот факт, что определенные научные гипотезы формулируются в определенные периоды в ряде текстов, которые могут производиться конкретными субъектами независимо друг от друга.

Относительно условной значимостью обладает индивидуальное авторство научных текстов. Субъектная отнесенность научного текста лишена непосредственной связи с реальным субъектом – автором, с физиологической действительностью его суще-

ствования. Признание авторства в научной сфере есть признание степени эффективности произведенного текста с точки зрения формирования новой системности в сфере понятийного конфликта. Точно так же и получатель научного текста — не конкретный субъект, обладающий реальным физиологическим существованием в мире вещей, а любой носитель коллективного сознания, индивидуальное сознание которого способно ассимилировать предлагаемый научный текст как новый тип системности.

Понимание в сфере научной деятельности является процессом ассимиляции «новой» системности на уровне индивидуального сознания. Процесс этот не произволен и определяется векторной направленностью познавательной деятельности коллективного сознания, с точки зрения бытия которого весь цикл научного познания является рефлексивным процессом, процессом самопознания.

Сходной природой обладают тексты художественной сферы. Любой художественный текст — это высказывание по поводу зависимости событийной стороны человеческой жизни и душевного состояния людей от базовых ценностей. Художественное высказывание осуществляет метафоризацию описываемых событий или состояний, представляя их как функции тех или иных ценностных отношений. Как и сфера научной речевой деятельности, художественная сфера определяется, прежде всего, характером состояния ценностной системы на уровне общественного сознания. Об этом свидетельствует поступательный, преемственный характер развития литературы. Системность литературного процесса, обусловленность каждого конкретного художественного текста состоянием общественного сознания языкового коллектива — положение, не вызывающее сомнения у исследователей художественного творчества. Однако лингвистическая природа данной обусловленности изучена явно недостаточно. Представляется, что подход к художественным текстам как к монологичным высказываниям, направленным на разрешение ценностных проблем, актуальных для данного языкового коллектива, позволил бы определить модельность формирования художественных смыслов как единиц, порождаемых общественным сознанием в процессе постоянного моделирования ценностной системы (самопознания).

Действительно, процессы порождения и восприятия художественного текста не предполагают непосредственного взаимодействия «отправителя» и «адресата» в реальном времени. Как и научные тексты, тексты художественные продолжают существовать и оставаться актуальными высказываниями до тех пор, пока зна-

чимым остается описываемое в художественном тексте отношение между элементом ценностной системы и тем или иным событием/состоянием. Процесс понимания художественного текста – это деятельность индивидуального сознания, в процессе которой осуществляется реконструкция изображенного отношения уже на уровне конкретного, субъективного мировосприятия. Непонимание художественного текста – это неспособность конкретного индивида осуществить моделирование изображаемого текстом ценностного отношения. Результатом непонимания, как и в сфере научной речи, будет отторжение конкретного текста конкретным субъектом как чего-то «бессмысленного», «бессистемного».

Закономерный характер понимания художественного текста – интересная культурологическая проблема. Для лингвистики актуальной задачей является выявление речевой системности, обеспечивающей возможность понимания художественного текста. Судя по всему, источником системности являются прототипические вербальные модели, описывающие ценностные отношения. Изучение динамики развития таких моделей на уровне общественного и индивидуального сознания может дать интересный материал для описания языковой природы художественного высказывания, а также для выявления речемыслительной основы эволюции литературного процесса.

Несмотря на ту значимость, которую современная культурная традиция приписывает авторству в сфере художественного творчества, можно утверждать, что с лингвистической точки зрения конкретное авторство художественного текста в такой же степени условно, как и авторство текста научного. Принципиальным здесь является то, что художественное высказывание не предполагает установления какой-либо зависимости высказывания от состояния конкретного субъекта в момент производства данного высказывания. Процесс восприятия также «оторван» от параметров конкретной ситуации. Художественный текст, таким образом, может существовать для любого индивидуального сознания только как акт рефлексии, самопознания, обладающий, по сути, монологической природой.

Как видим, высказывания, относящиеся к научной и художественной сферам, демонстрируют большое количество сходных признаков, на основании которых возможно их системное описание как смысловых единиц, обеспечивающих процесс самопознания. Монологичность данных текстов является ключевым фактором, определяющим их организацию на всех уровнях. Данные тексты существуют как высказывания, порожденные еди-

ным сознанием по поводу тех его ценностных элементов, для которых необходимо установление системности. Порождение и восприятие таких текстов на уровне индивидуальных субъективных сознаний возможно постольку, поскольку данные сознания перестают функционировать как определенные единицы и в момент порождения/восприятия таких текстов превращаются в элементы трансцендентного сознания, обладающего надындивидуальной природой. Снятие субъективного начала в процессе монологических речевых актов предполагает отключение речемыслительной деятельности от индивидуальных физиологических особенностей автора/получателя текста и от конкретных условий предметной действительности, в которых находится индивид, осуществляющий акт речевого монолога. Речевая системность такого типа текста определяется, прежде всего, теми вербальными моделями, которые оформляют базовые ценности. Установление зависимости реальных текстов монологической сферы от ценностных моделей сознания позволит выявить закономерный характер их организации и описать системность речевой деятельности в лингвистических терминах, покончив с практикой отсылки к «экстралингвистическим» факторам при анализе конкретных текстов.

Очевидно, что научная и художественная сферы речевой деятельности не охватывают целиком всю сферу речевого монолога. К сфере самопознания, обеспечивающей стабильное существование ценностной системы, следует отнести и всю речевую деятельность, обслуживающую религиозно-культурные потребности человека, а также и сферу массовой коммуникации. И в этих сферах конкретные тексты демонстрируют те же основные родовые признаки монолога, указанные выше.

Прежде всего очевидна независимость любого текста данных сфер от конкретного индивида и условность субъективного авторства. Порождение и восприятие данных текстов осуществляются в соответствии с закономерностями, существующими на уровне общественного сознания. В сфере религиозной речевой деятельности — это прежде всего замкнутость речевого акта на каждом отдельном субъекте, принимающем участие в культорелигиозном акте. Коммуникация происходит при возможности для субъективного сознания осуществить посредством определенных речевых схем разрешение каких-либо ценностных бытийных проблем. Модели речевых актов, разрешающих данные проблемы, могут быть использованы субъектом только при условии принадлежности сознания субъекта к определенному коллективному сознанию — носителю данных моделей. Для любого человека, в

сознании которого отсутствуют подобные схемы, религиозно-культовый акт будет представляться «непонятым», «бессмысленным». Актом непонимания будет отторжение сознанием, не обладающим определенной системностью, содержательности религиозного высказывания.

Очевидно отсутствие направленности религиозно-культовых текстов на непосредственный контакт с окружающей вещественной средой и отсутствие конкретного адресата. Результатом воздействия таких текстов является изменение внутреннего состояния субъекта, который является одновременно и «автором» и «получателем» высказывания.

В сфере массовой коммуникации осуществляется преобразование факта-события в реальной действительности в «новость». Следует отметить, что в этой сфере временной фактор играет другую роль, чем в любом из рассмотренных выше типов текстов. Включение в структуру высказывания реального события-факта предполагает определенные временные рамки, в которых данный текст будет представлять интерес для слушателя/читателя/зрителя. Эта черта является единственной, отличающей данные тексты от высказываний в других сферах монологичной речи. Однако представляется, что собственно монологичная природа высказывания в сфере массовой коммуникации при этом не претерпевает каких-либо изменений.

Действительно, содержанием сообщения в сфере массовой коммуникации является интерпретация факта-события с точки зрения определенной идеологической ценностной системы. Данные высказывания не направлены на конкретных физических субъектов; их целью является воспроизводство целостности идеологической ценностной системы, позволяющей индивиду стабильно и предсказуемо реагировать на эмоциональном и рациональном уровне на разрозненные события — факты в окружающей действительности. Понимание/непонимание высказывания в сфере массовой коммуникации определяется подобием в идеологической ценностной системе у конкретного субъекта — получателя текста и в механизме ценностной интерпретации «факта», задаваемом текстом. Монологичность данного речевого акта состоит в том, что его суть заключается в воспроизводстве в сознании субъекта данного интерпретационного механизма в соответствии с его ценностной системой. Непонимание может проявиться при отсутствии точек соприкосновения между предлагаемой текстом интерпретацией и ценностными установками индивида. В данном случае текст отторгается и оценивается как «ложь» или «вражеская пропаганда». Понимание же предполагает интериориза-

цию воспринятого механизма интерпретации и превращение сообщения в «свое» видение конкретного события, что, в свою очередь, обеспечивает воспроизводство системности определенной идеологии.

Как видим, и в этой сфере суть речевого процесса замыкается на отдельном субъекте. Речевой акт не предполагает каких-либо контактов с окружающей вещественной действительностью; авторство текста в высшей степени условно, в связи с тем что результатом речевого воздействия является интериоризация предлагаемых текстом оценочных механизмов.

Даже столь краткое описание сущности монологизма, понимаемого как специфический характер речевой деятельности, обеспечивающий языковую системность ценностных установок индивидуального сознания, показывает значимость данного подхода для разработки методологий изучения целостного текста. Различие между монологичными и диалогичными речевыми актами проявляется на уровне текстопорождающих структур и обусловлено принципиально различными потребностями, которые удовлетворяются в процессе речевой деятельности.

Диалогические речевые акты, которые можно определить как речевое сотрудничество субъектов по поводу их совместного воздействия на объекты внешнего мира, обладают природой, принципиально отличной от монологичных высказываний. Если рефлексивные по своей сути монологичные высказывания обеспечивают функционирование целостной системы сознания за счет постоянного уточнения и определения базовых ценностей, являющихся, судя по всему, элементом языковой системы, то диалогическую речь можно рассматривать как прикладное использование языка, как его «приложение» к объектам внешней действительности. Значимость конкретного авторства, момента времени произнесения и внеязыкового окружения будет очень высокой для диалогических высказываний. Соответственно принципы их классификации и анализа должны учитывать эти факторы.

Изначальное отнесение реального текста к монологической или диалогической речевой сфере может способствовать более четкому выявлению принципов организации текста и может обеспечить создание системной классификации текстовых смыслов.

Представляется, что для современной лингвистики наиболее актуальной является задача перехода от грамматики формальных структур к грамматике смыслов. Такой переход позволил бы создать системное описание языка не только на уровне абстрактных гипотетических структур, но и выявить системность реального речевого общения. При этом данная системность может быть сфор-

мулирована в терминах, раскрывающих реальную природу наблюдаемого явления: своеобразие языкового выражения может быть описано как схема (модель) конкретной человеческой потребности.

Очевидно, что рефлексивная монологическая речь является базовым видом речевой деятельности, поскольку именно она обеспечивает целостность мироощущения индивида, поддерживая и развивая его ценностную систему. В сфере монологичной речи любой текст – стимул, воспринимаемый индивидом – становится его «собственным» высказыванием в процессе понимания текста. Результатом интериоризации текста становится активация того или иного элемента системы базовых ценностей и одновременно его развитие, что является необходимым условием процесса самопознания.

Выявление и системное описание лингвистической природы человеческих потребностей и может стать основой для создания грамматики смыслов, основным принципом которой должно стать четкое разделение речевой деятельности на две сферы: сферу монолога, являющуюся способом осуществления самопознания, и сферу диалога, представляющую собой использование языка для сотрудничества индивидов в процессе воздействия на вещественную реальность.

ЛИТЕРАТУРА

- Александрова О. В.* Единство прагматики и лингвопоэтики в изучении текста художественной литературы // Проблемы семантики и прагматики / Отв. ред. В. И. Заботкина. – Калининград, 1996.
- Аннушкин В. И.* История русской риторики. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. гуманитарных факультетов вузов. – М., 1998.
- Аристотель.* Поэтика. Риторика. – М., 2000.
- Арнольд И. В.* Стилистика современного английского языка. – Л., 1973.
- Арнольд И. В.* Стилистика декодирования – Л., 1974.
- Арнольд И. В.* Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: Сб. статей / Научн. ред. П. Е. Бухаркин. – СПб., 1999.
- Арутюнова Н. Д.* Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. – М., 1981. Т. 40. № 4.
- Арутюнова Н. Д.* Диалогическая цитация: (к проблеме чужой речи) // Вопросы языкознания. 1986. № 1.
- Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М., 1988.
- Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. – М., 1998.
- Арутюнова Н. Д.* Наивные размышления о наивной картине мира // Язык о языке / Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой. – М., 2000.
- Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В.* Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI / Под общ. ред. Е. В. Падучевой. – М., 1985.
- Банару В. И.* Оценка, модальность, прагматика // Языковое общение: Единицы и регулятивы. – Калинин, 1987.
- Барляева Е. А.* Средства актуализации автора научного текста (на материале английского языка): Дис. ... канд. филол. наук. – СПб., 1993.
- Баскова М. Е.* Прагматические и интеракционные характеристики высказывания несогласия (на материале современного английского диалога): Автореф. дис. ... канд. филол. наук – СПб., 1994.

- Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики (Исследования разных лет). — М., 1975.
- Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
- Бахтин М. М.* Марксизм и философия языка. — М., 1993.
- Бахтин М. М.* Проблемы творчества Достоевского. — М., 1994. — (Бахтин под маской. Маска четвертая).
- Бахтин М. М.* Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. — СПб., 2000а.
- Бахтин М. М.* Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. — М.: Лабиринт, 2000б.
- Белых А. В.* Реализация прагматических установок монографического предисловия: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Л., 1991.
- Бехерт И.* Эргативность как исходный пункт изучения прагматической основы грамматических категорий // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрик. — М., 1982.
- Библер В. С.* От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в XXI век. — М., 1991.
- Богуславский И. М.* Исследования по синтаксической семантике. — М., 1986.
- Бондарева Л. М.* Прагматика авторского комментария в текстах ретроспективной направленности // Когнитивно-прагматические аспекты лингвистических исследований: Сб. науч. тр. — Калининград, 1999.
- Бондаренко В. Н.* Отрицание как лексико-грамматическая категория. — М., 1983
- Борхес Х. Л.* Письмена Бога / Сост., вступ. ст. и прим. И. М. Петровского. — М., 1994.
- Бюлер К.* Теория языка. Репрезентативная функция языка / Пер. с нем., общ. ред. и коммент. Т. В. Булыгиной; Вступ. ст. Т. В. Булыгиной и А. А. Леонтьева. — М., 1993.
- Валуева Л. И.* Коммуникативно-прагматический аспект аргументации (на материале немецких научно-технических статей по радиоэлектронике): Дис. ... канд. филол. наук. — Л., 1989.
- Варгина Е. И.* Убеждение как функция пропозиций знания и мнения в англоязычной научной прозе: Дис. ... канд. филол. наук. — СПб., 1995.

- Варшавская А. И.* Смысловые отношения в структуре языка (на материале современного английского языка). — Л., 1984.
- Варшавская А. И.* О человекоцентрическом аспекте грамматики (на материале английского языка) // Вестник ЛГУ. Сер. истор., яз. и лит. Вып. 2. — Л., 1989.
- Варшавская А. И., Карташкова Ф. И., Кузьмина Т. Е., Сафронова Т. Н.* Естественное языковое обеспечение процедуры классификации (на материале современного английского языка). — Л., 1991.
- Васильев Г. Н., Зобов Р. А., Келасьев В. Н.* Проблемы индивидуального и коллективного разума. — СПб., 1998.
- Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. — М., 1997.
- Виноградов В. В.* О языке художественной прозы. Избранные труды. — М., 1980.
- Винокур Г. О.* Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. М., 1990.
- Винокур Т. Г.* Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.
- Винокур Т. Г.* К характеристике говорящего. Интенция и реакция // Язык и личность / Отв. ред. акад. Д. Н. Шмелев. — М., 1989.
- Витгенштейн Л.* Об определенности. — М., 1994.
- Витгенштейн Л.* Философские исследования // Философские работы. Ч. 1 / Сост., вступ. ст., примеч. М. С. Козловой. — М., 1994.
- Вишаренко С. В.* Принципы структурирования концепта “hope” и текстовая реализация его ядерных компонентов.: Дис. ... канд. филол. наук. — СПб., 1999.
- Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. — М.: Лабиринт, 1993. — (Бахтин под маской. Маска третья).
- Волошинов В. Н.* Философия и социология гуманитарных наук. — СПб., 1995.
- Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. — М., 1985.
- Вольф Е. М.* Субъективная модальность и семантика пропозиции // Прагматика и проблемы интенциональности / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — М., 1988.
- Вygотский Л. С.* Мышление и речь. — М., 1934.
- Вygотский Л. С.* Мышление и речь. Психологические исследования. — М., 1996.

- Гадамер Г. Г.* Истина и метод. Основы философской герменевтики. — М., 1988.
- Гадамер Г. Г.* Актуальность прекрасного. — М., 1991.
- Гаибова М.Т.* Коммуникативный аспект изображения речемыслительной деятельности персонажа в структуре художественного текста: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — Тбилиси, 1986.
- Гак В. Г.* Языковые преобразования. — М., 1998.
- Гальперин И. Р.* Стилистика английского языка. — М., 1977.
- Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981.
- Гессен Е.* Побег из соцреализма, или другая проза? // Страна и мир. 1989. № 6.
- Гийом Г.* Принципы теоретической лингвистики. — М., 1992.
- Гордеева О. Н.* Членение текста: структурно-статический и динамический подходы // Диалектика текста: В 2 т. Т. 1 / Под ред. проф. А. И. Варшавской. — СПб., 1999.
- Грайс Г. П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI / Под общ. ред. Е. В. Падучевой. — М., 1985.
- Гумбольдт В.* О различении строя человеческих языков и его влиянии на развитие человеческого рода // История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях / Под ред. А. В. Звегинцева. Ч. 1. — М., 1960.
- Гумбольдт В.* О различении строения человеческих языков и его влиянии на развитие человеческого рода // Избранные труды по языкознанию. — М., 1984.
- Гуссерль Э.* Картезианские размышления. — СПб., 1998.
- Данильченко Н. В.* Прагматический анализ публицистических текстов периода английской буржуазной революции: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — СПб., 1992.
- Диалектика текста: В 2 т. Т. 1 / Под ред. проф. А. И. Варшавской. — СПб., 1999.
- Дорофеев Д. Ю.* Предмет и содержание самосознания // Метафизические исследования. — СПб., 1997.
- Дресслер В.* Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. — М., 1978.
- Елисеева В. В.* Анализ литературного текста. — СПб., 1998.

- Емельянова О. В.* Коммуникативные неудачи при идентификации референта // Трехаспектность грамматики (На материале английского языка) / Отв. ред. В. В. Бурлакова. — СПб., 1992.
- Ермакова О. Н., Земская Е. А.* К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект / Отв. ред. Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев. — М., 1993.
- Зарецкая Е. Н.* Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. — М., 1999.
- Зеленецкий К. П.* Риторические труды // История русской риторики. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. гуманитарных факультетов вузов. — М., 1998.
- Зеленщиков А. В.* Модально-темпоральная классификация текстов // Материалы Российской межвузовской конференции. Англистика: Современные достижения и традиции. Тезисы докладов. — СПб., 1998.
- Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г.* Теоретическая грамматика современного английского языка. — М., 1981.
- Ильина Н. А.* Геогностика сквозь призму языка. — М., 1994.
- Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
- Караулов Ю. Н., Красильникова Е. В.* Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. — М., 1989.
- Каспранский Р. Р.* Место норм реализации в теории речевой коммуникации // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. — Горький, 1989.
- Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса* / Пер. с фр. и португ.; Общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; Предисл. Ю. С. Степанова. — М., 1999.
- Китайгородская М. В.* Чужая речь в коммуникативном аспекте (на материале устных текстов) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект / Отв. ред. Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев. — М., 1993.
- Клименко Е. И.* Традиции и новаторство в английской литературе. — Л., 1961.
- Князькова А. А.* Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. — М., 1988.
- Кобозева И. М.* Лингвистическая семантика. — М., 2000.
- Ковтунова И. И.* Поэтический синтаксис. — М., 1986.

- Кожина М. Н., Титова Л. М.* К вопросу об авторской индивидуальности в научном стиле речи // Исследования по стилистике. Вып. 5. — Пермь, 1976.
- Козловская Л. А.* Фатическая функция языка: социолингвистический и структурно-грамматический аспекты.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Минск, 1993.
- Котюрова М. П.* Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста (функционально-стилистический аспект). — Красноярск, 1988.
- Кошанский Н. Ф.* Риторические труды // История русской риторики. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. гуманитарных факультетов вузов. — М.: Академия, 1998.
- Крейдлиг Г. Е.* Голос и тон в языке и речи // Язык о языке / Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой. — М., 2000.
- Кубрякова Е. С.* Виды пространств текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — М., 1997.
- Кузнецов И. Н.* Риторика. — Минск, 2000.
- Кустова О. Ю.* Письмо как самостоятельный текст и как композиционная часть художественного произведения.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — СПб., 1998.
- Кухаренко В. А.* Интерпретация текста. — М., 1988.
- Лабов У.* О механизме языковых изменений // Новое в лингвистике. Вып. VII / Общ. ред. и вступ. ст. Н. С. Чемоданова. — М., 1975.
- Леви-Строс К.* Первобытное мышление / Пер., вступ. ст. и примеч. А. Б. Островского. — М., 1994.
- Лингвистический энциклопедический словарь* / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1990.
- Локк Дж.* Сочинения: В 3-х томах. Т. 1. — М., 1985.
- Лотман Ю. М.* Динамическая модель семиотической системы // Избранные статьи: В 2 т. Т. 1. — Таллинн, 1992.
- Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996.
- Лурия А. Р.* Язык и сознание. — Ростов-на-Дону, 1998.
- Ляпон М. В.* Предикативность // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.

- Мальцева Н. Б.* Ассертивные высказывания и их контекст в английской научной дискуссионной прозе: Дис. ... канд. филол. наук. — Л., 1988.
- Марков М. А.* Размышления о физике. — М., 1988.
- Мегентесов С. А.* В пространстве субъектно-предикатных форм // Философия языка: в границах и вне границ / Пред. ред. кол. Ю. С. Степанов. — Харьков, 1994.
- Минченков А. Г.* Russian Particles in English Translation. — СПб., 2001.
- Монтегю Р.* Прагматика и интенциональная логика / Семантика модальных и интенциональных логик. — М., 1981.
- Насырова Г. Н.* Интегральные характеристики малоформатного текста «деловое письмо» // Studia Linguistica. 1996, № 3.
- Недобух А. С.* Вербальные сигналы мены коммуникативных ролей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Саратов, 1990.
- Ортега-и-Гассет Х.* Веласкес. Гойя / Вступ. ст. И. В. Ершовой и М. Б. Смирновой. — М., 1997.
- Остин Дж. Л.* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII / Под общ. ред. Б. Ю. Городецкого. — М., 1986.
- Отье-Ревю Ж.* Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме Другого в дискурсе // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; Общ. ред. и вступит. ст. П. Серии; Предисл. Ю. С. Степанова. — М., 1999.
- Падучева Е. В.* Семантика нарратива. Семантические исследования. — М., 1986.
- Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. — М., 1996.
- Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Сост. Князькова А. А. — М., 1988.
- Пешков И. В.* Введение в риторику поступка. — М., 1998.
- Плаксин В. Т.* Учебный курс словесности // История русской риторики. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. гуманитарных факультетов вузов. — М., 1998.
- Платонов К. К.* Краткий словарь системы психологических понятий. — М., 1984.
- Портнов А. Н.* Язык и сознание: Основные парадигмы исследования проблемы в философии XIX–XX вв. — Иваново, 1994.

- Поспелова А. Г.* Функциональный аспект изучения речевых актов: иллюкативно-интерактивная характеристика // Трехаспектность грамматики (На материале английского языка) / Отв. ред. В. В. Буракова. – СПб., 1992.
- Поспелова А. Г.* Речевые приоритеты в английском диалоге: Дис. в виде науч. докл. на соиск. уч. ст. д-ра филол. наук. – СПб., 2001.
- Потебня А. А.* Психология поэтического и прозаического мышления // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2. Вып. 2. – Харьков, 1910.
- Рождественский Ю. В.* О термине «риторика» // Риторика. – М., 1995. № 1.
- Рождественский Ю. В.* Теория риторики. – М., 1999.
- Руберт И. Б.* Становление и развитие английских регулятивных текстов. – СПб., 1995.
- Руденко Д. И.* Философия жизни: в поисках новых пространств // Философия имени: в поисках новых пространств / Отв. ред. Ю. С. Степанов. – Харьков, 1993.
- Руднев В. П.* Прочь от реальности: Исследования по философии текста. – М., 2000.
- Русская грамматика:* В 2 т. / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. Т. 2: Синтаксис. – М., 1980.
- Рябцева Н. К.* Ментальные перформативы в научном дискурсе // Вопросы языкознания. 1992. № 4.
- Сватко Ю. И.* Мир имени: явленность смысла // Философия имени: в поисках новых пространств / Отв. ред. Ю. С. Степанов. – Харьков, 1993.
- Свинцов В. И.* Истинностные аспекты коммуникации и проблемы совершенствования речевого сообщения // Оптимизация речевого воздействия / Отв. ред. Р. Г. Котов. – М., 1990.
- Сергеева Ю. М.* Внутренний диалог как языковое явление и как литературно-художественный прием: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1996.
- Серио П.* Как читают тексты во Франции: Вступ. ст. // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; Общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; Предисл. Ю. С. Степанова. – М., 1999.

- Серль Дж.* Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов / Под общ. ред. Б. Ю. Городецкого. — М., 1986.
- Скат Т. Н.* Метакоммуникация как средство организации диалога (на материале оппозитивного диалога): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1991.
- Славгородская Л. В.* Научный диалог (лингвистические проблемы). — Л., 1986.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. — М., 1988.
- Сотникова А. А.* Фактор реципиента и способы его экспликации в различных типах текстов // Языковые единицы в речевой коммуникации: Межвуз. сб. — Л., 1991.
- Топоров В. Н.* Риторика // Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1998.
- Третьякова Т. П.* Английские речевые стереотипы. — СПб., 1995.
- Туранский И. И.* Семантическая категория интенсивности в английском языке. — М., 1990.
- Туровская М.* Трудные пьесы // Новый мир. 1988. №
- Философский словарь / Гл. ред. И. Т. Фролова. — М., 1987.
- Форманюк Г. А.* Структура и семантика диалога в художественном тексте: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1995.
- Франк Д.* Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов / Под общ. ред. Б. Ю. Городецкого. — М., 1986.
- Хайдеггер М.* Время и бытие. — М., 1993.
- Чахоян Л. П.* Синтаксис диалогической речи современного английского языка. — М., 1979.
- Чернышевский Н. Г.* Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории // Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 10. — М., 1951.
- Чхетиани Т. Д.* Лингвистические аспекты фатической метакоммуникации: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Киев, 1987.
- Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. — М., 1960.
- Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы). — М., 1977.

Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь (Очерки психоэтики русской литературы XVIII–XIX веков). – М., 1999.

Barch E. Nouns and Noun Phrases // Logic of Grammar / Ed. By D. Davidson, etc. – California, 1975.

Barthes R. Introduction to the structural analysis of narratives. – London, 1977.

Brown G., Yule G. Discourse Analysis. – Cambridge, 1986.

Burke K. Language as Symbolic Action. Essays on Life, Literature, and Method. – Berkeley, Los Angeles; 1966.

Burke K. A Rhetoric of Motives. – Berkeley; Los Angeles; London, 1969.

Burns T. C. Children's Acquisition of NP-type nouns // Language and Cognitive Processes, 2000. – Vol. 15. № 1.

Chafe W. Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing. – Chicago, 1994.

Cheshire J. English Negation from an Interactional Perspective // The Sociolinguistics Reader. Vol. 1: Multilingualism and Variation / Eds. P. Trudgill and J. Cheshire. – N.Y., 1998.

Chomsky N. Language and Problems of Knowledge // The Philosophy of Language / Ed. by A. P. Martinich. – N.Y., Oxford, 1990.

Coates J. The Semantics of Modal Auxiliaries. – Bechenham, 1983.

Coates J. Women, men and language. – London, 1986.

Coates J. Gossip revisited: language in all-female groups // Women in their speech communities / Ed. J. Coates, D. Cameron. – London, 1989.

Coates J. Language, gender and career // Language and gender: Interdisciplinary perspectives / Ed. S. Mills. – London, 1995.

Cooper R. Class. A View from Middle England. – London, 1999.

Eastman A. The Norton Reader: An Anthology of Expository Prose. – N.Y.; London, 1980.

Fine G. Rumours and gossiping // Handbook of discourse analysis / Ed. by T. A. van Dijk. – London, 1985. Vol. 3.

Foss K. A., Foss S. K., Griffin C. L. Feminist rhetorical theories. – Thousand Oaks, 1999.

Francis W. N. The structure of American English. N.Y., 1958.

Frieden K. Dramatic Monologue. – N.Y., 1989.

- Gascilo H.* Mother as Mothra // The Female Protagonist in Russian Literature / Ed. by Sona Stephan Hoisington. – Northwestern University Press, 1995.
- Grice H. P.* Meaning // Philosophical Review. Vol. 66, 1957.
- Halliday M. A. K., Hasan R.* Cohesion in English. – Longman, 1976.
- Harre R.* The Singular Self: An Introduction // Psychology of Personhood. – London, Thousand Oaks, New Delhi, 1998.
- Hervey S., Higgins I.* Thinking Translation. – Routledge, 1999.
- Hook J. N.* Modern American Grammar and Usage. – N.Y., 1956.
- Jakobson R.* Linguistics and Poetics // Style in Language / Ed. by Th. Sebeok. – Cambridge, 1960.
- Frieden K.* Dramatic Monologue. – N.Y., 1989.
- Labov W.* Language in the inner city: Studies in the Black English vernacular. – Philadelphia, 1972.
- Lakoff G., Johnson M.* Philosophy in the Flesh. – N.Y., 1999.
- Landsbergen J.* Montague Grammar and Machine Translation // Linguistic Theory and Computer Application / Ed. By P. Whitelock. – London, 1987.
- Langacker R.* Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisites. – Stanford, 1987.
- Langacker R.* Reference-Point Constructions // Cognitive Linguistics. 1993. Vol. 4, № 1.
- Leech G. N.* Principles of pragmatics. – London; N.Y., 1983.
- Levinson S.* Pragmatics. – Cambridge, 1994.
- Lyons J.* Semantics. 2 Vols. – Cambridge, 1977. – Vol. 2.
- Lyons J.* Language, meaning and context. London, 1981.
- Morson G. S., Emerson C.* Michail Bakhtin. Creation of Prosaics. – Stanford University Press, 1990.
- Nuyts J.* Epistemic Modal Adverbs and the Layered Representation of Conceptual and Linguistic Structure // Linguistics. 1993, № 31.
- Palmer F. R.* A Linguistic Study of the English Verb. – London, 1970.
- Petofi J. S.* Representation Languages and Their Function in Text Interpretation // Text Processing / Ed. By S. Allen. – Stockholm, 1982.
- Polanyi L.* Conversational storytelling // Handbook of discourse analysis / Ed. by T. A. van Dijk. – London, 1985. – Vol. 3.

- Polanyi L.* Telling the American story. A structural and cultural analysis of conversational storytelling. – Norwood, 1985b.
- Prince G.* A grammar of stories: An introduction. – The Hague, 1973.
- Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J.* A Grammar of Contemporary English. – London, 1972.
- Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J.* A Comprehensive Grammar of the English Language. – London, 1985.
- Rottenberg A.* Elements of Argument. – Boston, 1997.
- Sanders J., Spooner W.* Perspective, Subjectivity, and Modality from a Cognitive Linguistic Point of View // Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics / Ed. by Wolf-Andreas Liebert, G. Waugh. – Amsterdam; Philadelphia, 1997.
- Sapir E.* Culture, Language, and Personality. Selected Essays / Ed. by D. G. Mandelbaum. – Berkeley; Los Angeles, 1966.
- Schiffrin D.* Tense variation in narrative // Language, 1981. Vol. 57. № 1.
- Schiffrin D.* Discourse Markers. – Cambridge, 1987.
- Searle J. R.* Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind. – Cambridge, 1983.
- Swan M.* Practical English Usage. – Oxford, 1995.
- Tannen D.* The oral / literal continuum in discourse // Spoken and written language. Exploring oracy and literacy / Ed. by D. Tannen. – Norwood, 1982.
- Toolan M.* Narrative: A critical linguistic introduction. – London, 1988.
- Tottie G.* Negation in English Speech and Writing: A Study in Variation. – London, 1991.
- Vesterman W.* Reading and Writing Short Arguments. – London; Toronto: Mountain View, 1993.
- West C.* Against our will: male interruptions of females in cross-sex conversations // Language, sex and gender. Does *la difference* make a difference? / Ed. by J. Orasanu. – N.Y., 1979.
- West C., Zimmerman D.* Gender, language and discourse // Handbook of discourse analysis / Ed. by T. A. van Dijk. – London, 1985. – Vol. 4.
- Wierzbicka A.* English speech act verbs. A semantic dictionary. – Sydney; N.Y., 1987.
- Wittgenstein L.* Philosophical Investigations. – N.Y., 1953.
- Wolfson N.* CHP, The conversational historical present in American English narrative. – Cinnarminson, N.J., 1982.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- AC** — *Christie A.* The Seven Dials Mystery. — Bantam Books, 1981
- A.J.** — *Archer J.* Honor among Thieves. — N.Y., 1994
- Austen** — *Austen J.* The Complete novels of Jane Austen. — London; N.Y.: Penguin Books, 1983
- Beckett** — *Beckett S.* The Unnamable. — N.Y., 1965
- B.O.** — *Burns O.* Cold Sassy Tree. — N.Y., 1994
- Cato** — *Cato N.* All Rivers Run. — N.Y., 1979
- CEC** — *Svartvik J., Quirk R.* A corpus of English conversation. — London; Lund, 1980
- Christie** — *Christie A.* Selected Detective Prose. — Moscow, 1972
- C.M.** — *Crichton M.* Airframe. — N.Y., 1997
- Deceit** — *Francis C.* Deceit. — London; Sydney; N.Y., 1993
- Devotion** — *Francis C.* A Dark Devotion. — London, 1997
- DFr.** — *Francis D.* In the frame. — London 1978
- DL** — *Lodge D.* Small World. — Penguin Books, 1985
- E.M.** — *Ehrlich M.* The Reincarnation Of Peter Proud. — Toronto, 1975
- F** — *Fowles J.* The Magus. — Dell Publishing, 1978
- Forster** — *Forster M.* Lady's Maid. — London, 1987
- H.L.** — *Harding L.* The Victors. — Ontario, 1982
- I.Sh.** — *Shaw I.* Four Complete Novels. — N.Y., 1981
- KA** — *Amis K.* Lucky Jim. — Penguin Books, 1976

- Kellerman** – *Kellerman J.* Devil's Waltz. – N.Y., 1993
- L.C.** – *Lewis C.* The Lion, the Witch and the Wardrobe. – N.Y., 1993
- Letter** – *Clarke A.* A Letter From The Dead. – N.Y., 1989
- M.T.** – *Morrison T.* Tar Baby. – Vintage, 1997
- M.T. 1** – *Morrison T.* Paradise. – Vintage, 1998
- Nap.** – *Napper L.W.* The Bill of No Rights // Internet, Humor List, 30 Sept. 2001
- O'Henry** – *O'Henry.* Selected Stories. – M., 1998
- O.P.** – *O'Shaughnessy P.* Motion of Suppress. – N.Y., 1996
- Pinter 1** – *Harold Pinter.* Monologue. Complete Works, Vol. 4. – N.Y., 1990
- Pinter 2** – *Harold Pinter.* Old Times. Complete Works, Vol. 4. – N.Y., 1990
- Plays** – Three American Plays. – Moscow, 1972
- PM** – *Mandler P.* The Fall And Rise Of The Stately Home. – Yale University Press, 1997
- Pr.** – *Priestly J.* Time and The Conways And Other Plays. – Penguin Books, 1987
- Rendell** – *Rendell R.* Harm Done.– London, 2000
- Room** – *Walters M.* The Dark Room. – London, 1996
- S.A.** – *Sillotoe A.* Saturday Night and Sunday Morning. – London, 1994
- Sheldon** – *Sheldon S.* Tell Me Your Dreams. – N.Y., 1998
- Stout** – *Stout R.* Where There's a Will. – N.Y., 1940
- Walters** – *Walters M.* The Dark Room. – London, 1996
- WAS** – *Underwood M.* What a story! – Oxford, 1976
- Zero** – *Christie A.* Towards Zero. – London, 1985
- Достоевский I** – *Достоевский Ф. М.* Преступление и наказание // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1956. – Т. 5
- Достоевский II** – *Достоевский Ф. М.* Записки из подполья // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1956. – Т. 4

- КП.К.217** – Контрактное право. Мировая практика: Собрание документов: В 3-х т. / Под. ред. и с предисл. Г. В. Петровой. Т. 2. Компании. – М., 1992 (на русск. и англ. яз.).
- Пастернак** – *Пастернак Б.* Доктор Живаго. – М., 1992
- Петрушевская** – *Петрушевская Л.* Песни XX века. – М., 1988

**Л. В. Архипова, А. И. Варшавская, О. В. Емельянова,
А. В. Зеленщиков, Н. О. Магнес, А. А. Масленникова,
А. Г. Минченков, Е. С. Петрова, В. Н. Пилатова,
И. В. Толочин, Е. Г. Хомякова**

РИТОРИКА МОНОЛОГА

Художественный редактор *А. А. Неклюдова*
Компьютерная верстка *С. А. Шараев*
Корректор *Н. В. Найденова*

Подписано в печать 04.04.2002. Формат 60×90¹/₁₆
Гарнитура Times. Бумага писчая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15. Тираж 1000 экз. Заказ 189.

198097, Санкт-Петербург, а/я № 67
тел.: (812) 186-4543, 186-8355
sales@chimera.ru
129224, Москва, п. Шокальского, д. 67, корп. 2
тел.: (095) 479-2543
chimera_trade@mtu-net.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов